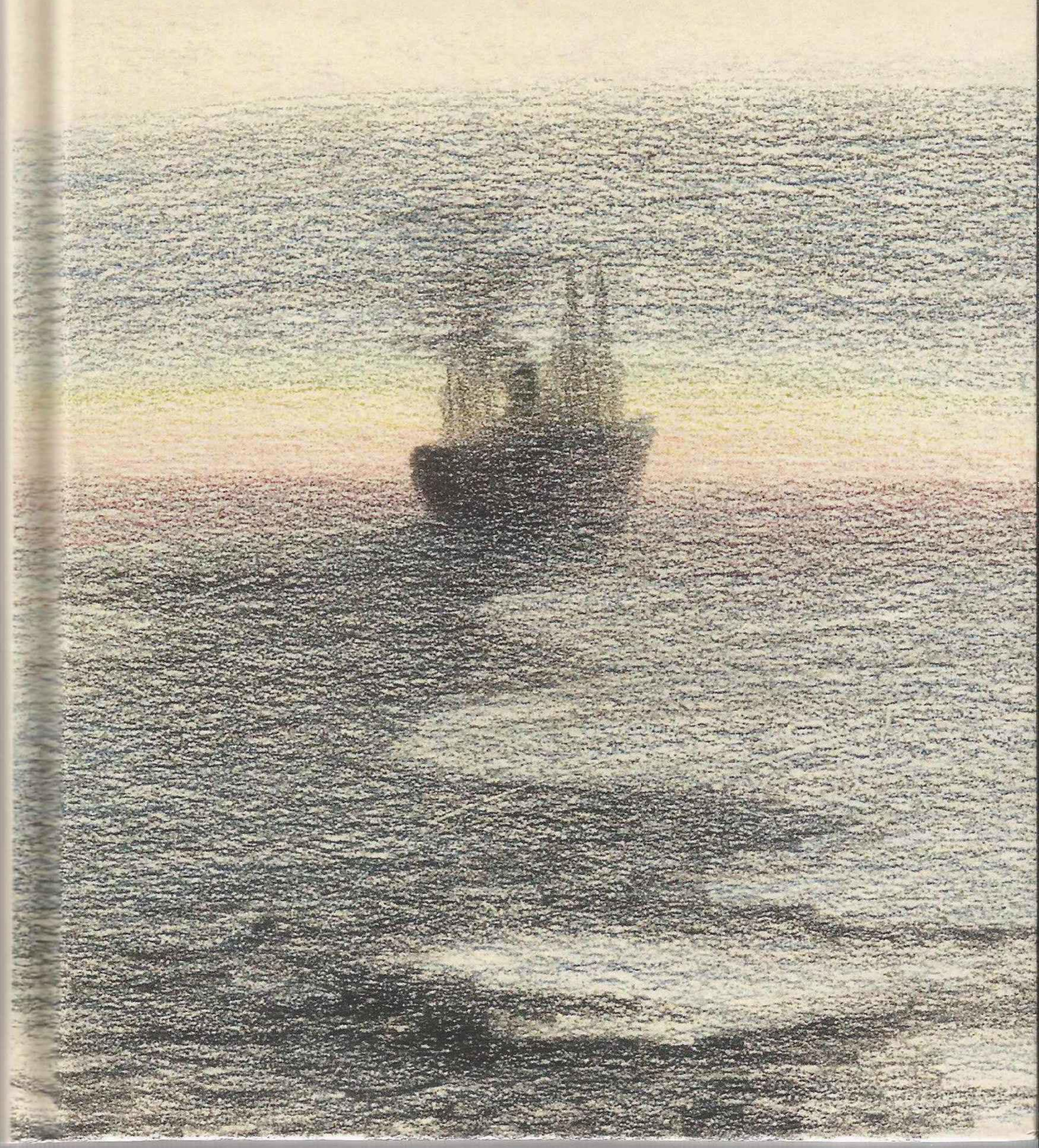
Ада ФЕДЕРОЛЬФ

Колыма. Первый рейс
1938–1947



Наверно, многие пишут об этом времени, очень многие и каждый по-своему. Но не писать, если только человек в какой-то мере владеет пером, нельзя. Внутренний голос требует этого в память погибших, искалеченных, морально уничтоженных и ради ныне живущих, чтобы знали, осуждали и этим помогали предотвратить повторение, хотя мне кажется: «такого» второй раз быть не может...

Москва, декабрь 1964 г. А.А. Федерольф





К 90-летию со дня рождения
основателя и бессменного председателя
Московского историко-литературного
общества «Возвращение»
поэта, узника Колымы, издателя
Семёна Самуиловича Виленского
(1928–2016)



Ада ФЕДЕРОЛЬФ

Колыма. Первый рейс
1938–1947

Москва
Возвращение
2018

УДК 821.161.1-3
ББК 84(2Рос=Рус)6-4
Ф32

*Рукопись хранится
в Музее истории ГУЛАГа (Москва).
Фонд № 6. Коллекция воспоминаний
и других документов узников ГУЛАГа,
собранная С. С. Виленским*

Ф32 **Федерольф А. А.**
Колыма. Первый рейс. 1938–1947 / Ада Федерольф. – М. : Возвращение, 2018. – 312 с. : ил.
ISBN 978-5-7157-0302-6

Впервые публикуются воспоминания Ады Александровны Федерольф (1901–1996) о первом аресте и годах, проведённых на Колыме. Её имя (по мужу Шкодина) известно читателям по воспоминаниям «Рядом с Алей» – об Ариадне Сергеевне Эфрон. Они познакомились в 1949 году в рязанской тюрьме, где обе оказалась как «повторницы», вместе переживали «вечную» ссылку в Туруханске, а после реабилитации приехали в Москву, совместно построили дачу в Тарусе. До смерти А. С. Эфрон в 1975 году Ада Александровна была ей верным другом.

Рассказ об аресте, московских тюрьмах, этапах и колымских лагерях наполнен бытовыми подробностями жизни женщин в нечеловеческих условиях. Этот рассказ о непосильном труде на лесоповале и в сельхозлагерях, о людях, о стремлении выжить и вернуться дополняет новыми свидетельствами уже известные читателю мемуары авторов, прошедших Колыму.

УДК 821.161.3
ББК 84(2Рос=Рус)6-4

ISBN 978-5-7157-0302-6

Вместо предисловия

К Аде Александровне Федерольф меня привела Зоя Дмитриевна Марченко – они вместе отбывали срок на Колыме.

Гладко причёсанная, в сером полушалке, слепая женщина долго не отпускала мою руку. Она знала, зачем я приехал, – на столе лежали подготовленные для меня папки. На каждую из них был прикреплён тетрадный лист, на котором крупно, синим карандашом: «Ариадна Эфрон» и название произведений.

Мы сели за стол. Я объяснил, что сборник «Доднесь тяготеет» из произведений репрессированных женщин в основном подготовлен, и мне надо несколько дней, чтобы ответить, что из этих рукописей может в него войти.

И в ответ: «Пишите расписку!» До сих пор мне не предлагали такого. За хранение подобных «клеветнических» рукописей совсем недавно грозила тюрьма. Я поднялся, чтобы уйти, но женщины удержали меня.

В 1989 году в издательстве «Советский писатель» стотысячным тиражом вышел сборник «Доднесь тяготеет». В нём среди 23 авторов – узниц ГУЛАГа – были и Ариадна Эфрон, и Ада Федерольф.

С тех пор я навещал Аду Александровну много раз. Она рассказывала, а я обсуждал с ней и записывал вставки к её воспоминаниям «Рядом с Алей» – так называли Ариадну самые близкие. <...> Из-за слепоты Ады Александровны мне приходилось читать ей рукописи вслух. Иногда, за вечер – всего несколько абзацев. И начиналась свободная игра памяти. Она вспоминала Алю. То Аля на утлой лодчонке переправляется через Енисей на покос и Ада смотрит ей вслед и молит Бога, чтобы на стрежне не перевернуло лодку, то Аля в Париже, участница каких-то тайных встреч, детективных историй... И подруга всё это слушала и запоминала в долгие зимние вечера в одиноком домике на берегу Енисея...

С. С. Виленский

Из предисловия к трехтомнику: Ариадна Эфрон. История жизни, история души. (М.: Возвращение, 2008)

Об авторе

Ада Александровна Федерольф родилась в 1901 году. Отец – доктор медицины, мать – преподаватель музыки, оба коренные петербуржцы. В 1920-х годах Ада познакомилась с англичанином, преподававшим на курсах иностранных языков, вышла за него замуж и уехала в Англию. Он остался там, а она вернулась в Москву в 1927 году и преподавала английский язык в институтах. Второй раз вышла замуж.

В марте 1938 года была арестована и осуждена заочным совещанием по 58-й статье – ПШ (подозрение в шпионаже) на восемь лет исправительно-трудовых лагерей. Отбывала срок в колымских лагерях. В 1947 году в Магадане оформила брак с Д. О. Шкодиным, который помог ей выехать с Колымы. Не имея права вернуться в Москву, поселилась в Рязани, где преподавала английский язык в désинституте.

Осенью 1948 года повторно была арестована в Рязани без предъявления обвинения. В начале 1949 года в рязанской тюрьме состоялось знакомство Ады Александровны с Ариадной Сергеевной Эфрон. Оно переросло в дружбу, длившуюся до конца дней дочери М. И. Цветаевой – до 1975 года. Они вместе пережили «вечную» ссылку в Туруханске и вернулись в Москву после реабилитации; Ада Александровна – в 1956 году. Совместно построили дачу в Тарусе. И похоронены рядом на тарусском кладбище. Ада Александровна ушла из жизни в 1996 году, увидев напечатанными свои воспоминания об Ариадне Сергеевне (*А. Эфрон.* Мироедиха. *А. Федерольф.* Рядом с Алей. М.: Возвращение, 1996). Спустя годы вышло второе издание (*А. Эфрон.* «А жизнь идет, как Енисей...». *А. Федерольф.* Рядом с Алей. М.: Возвращение, 2010).

Настоящее издание знакомит читателя с воспоминаниями А. А. Федерольф о годах, проведённых на Колыме. Рукописи, когда-то переданные ею Семёну Самуиловичу Виленскому, хранятся сейчас в московском Музее истории ГУЛАГа.

ТЕТРАДЬ ПЕРВАЯ

Прошёл 1937 год. С утра до вечера жили механически, выполняя свои обязанности, глушили внутренние страхи, даже шутили и смеялись, мгновенно обрывая смех и настораживаясь от чьей-то брошенной вполголоса фразы: «Сегодня ночью, около часа; мы уже думали, что ночь пройдёт спокойно...» – «А за что?» (хотя спрашивать было глупо). – «Неизвестно, но, знаете, у него брат за границей». И хотя шёпот касался каких-то совершенно чужих людей, в мозгу проносилась мысль: «А что будет завтра?» Люди исчезали бесследно. В Институте странно заболевал вчерашний директор, а через день-два новый созывал экстренное собрание, где в молчаливой притихшей аудитории говорили о бдительности и принципиальности. В воздухе повисали слова: «Проглядели врага, были беспечны, надо проследить, куда тянутся нити...» Молчали потрясённые. Ещё один... Потом в коридоре, оглядываясь – не следят ли? – небольшими кучками, чаще по двое, по трое – реже, так как в те годы уже боялись третьего, то есть свидетеля: «Вы верите в его виновность?» – «Я ничего не понимаю, ведь это какой-то кошмар...»

Расходились по домам, чтобы, лёжа в постели, облегчить натянутые нервы правдивыми словами, страшными сомнениями и на короткое время чувствовать успокоение от веры, что тот, который слушает, всё понимает и не предаст.

Особенно было страшно по ночам в больших квартирах с длинными коридорами. Под окнами останавливалась чёрная машина, выходили обычно двое, третий – понятой – приглашался из лиц, живущих в доме. В каждой комнате по семье; кто-то из родителей, лёжа в постели, замирая, прислушивается. Хлопает наружная дверь.

Приглушенные голоса, затем медленные шаги по коридору. «А здесь кто живет?» – «А как имя и отчество?» На что понятой, обычно управдом или дворник, даёт сведения. А в комнате, у порога которой остановились, настолько замирает жизнь, что удары сердца слышны, как стенные часы. Мимо... Миг полного блаженства, вновь обретения друг друга и, наконец, сон.

Были дома, которые утром носили на себе отпечаток происходившего ночью. Таким был хотя бы Дом правительства на Москве-реке. Его ремонтировали и белили снаружи. В тех квартирах, где жили, сейчас же смывали со стёкол слой побелки, а в тех, откуда ночью увезли, некому было заботиться об окнах или оставшиеся уже настолько были в иной, жутко неестественной жизни, что им было не до окон, стояли замазанные. Так и стоял дом: чистые окна – одно, два, три, а потом штук шесть подряд забелённых, а там и весь этаж не отмыт. В доме этом я занималась английским, и там жили в отдельных квартирах (тогда это было редкостью) руководящие партийные работники.

Весна в 1938 году была ранней. Уже в начале марта стояли ясные солнечные дни, в воздухе чувствовались чуть заметные запахи прелости оттаивающей на солнце земли, капало с крыш, а в теневой стороне хрустко ломались под ногами корочки льда за ночь затвердевших луж. Мы с мужем – Сергеем Ивановичем Артоболевским – часто встречались в Доме учёных, куда каждый из нас приходил из своего института, чтобы вместе пообедать. Потом муж обычно шёл играть на бильярде, а я занималась или встречалась с кем-нибудь из кружковцев.

В этот день, 4 марта, не помню по какой причине, мы с Серёжей решили кутнуть и заказали что-то особенно вкусное и дорогое на обед и сбитые сливки с черносливом на десерт. Почему-то именно эти сливки мне вспоминались, как невероятный контраст с тем, что за ними последовало, долгие, долгие годы.

После обеда не хотелось ехать на трамвае, и мы пошли на Молчановку, где жила я, пешком (муж, живя у меня, оставался по тогдашним практическим соображениям

прописанным у матери, что оказалось удачным в момент катастрофы). Пришли уже затемно и только успели снять пальто, как в дверь постучали и вошли какие-то двое неизвестных мужчин, а вместе с ними и наш дворник.

За несколько дней до этого весенняя капель просочилась сквозь крышу, и угол потолка моей комнаты начал угрожающе мокнуть, о чём я говорила в домоуправлении и просила прислать техника.

Весь этот день был так хорош, я всегда была так счастлива вместе с мужем пораньше прийти домой. Мы оба много работали в нескольких институтах. Он читал лекции по сопромату, в одном из них заведовал кафедрой и начал готовиться к докторской защите, а я преподавала английский в ИФЛИ, начала курс лекций на языке, чем очень увлекалась, к тому же сдавала кандидатские экзамены. Полнота моего личного счастья, бывало, делала меня глухой и слепой к тому, что происходило.

– Вот хорошо, что вы пришли, – сказала я, обращаясь к пришедшим, – ведь потолок может не только промокнуть, но и начать обва… – и тут я замерла.

В комнату вошёл, а может быть, подошёл ко мне, до этого находясь в противоположном углу комнаты, третий, уже в военной форме.

– Гражданка, предъявите свой паспорт.

Когда я до этого момента читала, что «холод сковал её члены» или «мгновенно пронзил леденящий ужас», – мне это всегда казалось литературщиной, красивыми словами, а на деле это именно *так:* в тот момент я ясно ощутила леденящий холод, возникший где-то в затылке и сползший до самых ног; как-то странно зашумело в ушах и помертвели пальцы.

Когда я подала паспорт, мне предъявили ордер на арест и обыск, на который я только мельком взглянула – какое это имело значение. Ордер взял в руки Серёжа и внимательно просмотрел, а может быть, сделал вид, что просмотрел. Затем спросили паспорт у него и посмотрели, есть ли штамп ЗАГСа о браке (мы не были зарегистрированы, так как у него не был оформлен воинский билет или не была проведена какая-то регистрация,

а в ЗАГСе, где нам всё это разъяснили, оказалось так неприглядно, грязно – ведь это были 30-е годы!! – а сотрудник был так явно неприятен, что мы как-то, не сговорившись, решили не портить себе счастье этой «регистрацией» и обойтись без неё, пока нас только двое...). Его объявили посторонним лицом, на что Серёжа сказал, что он мой муж, просит это занести в протокол и что это ему будет надо для дальнейших выяснений...

Милый мой, благородный Серёжа, с каким достоинством он всё это сказал, как спокойно себя держал, и выдавала его только небольшая дрожь пальцев, когда он закуривал папиросу об папиросу.

Начался обыск. Понятой, дворник, сидел в углу, не смотрел никому в глаза и мучительно пялился на какие-то английские книги. Обыск делали те двое в штатском, которые вошли первыми. Забрали мои письма, документы, фотографии, которые попадались под руку. Теперь я понимаю, что исход был предрешён и обыск был пустой формальностью – ничего не искали. Заинтересовали их только бумажка в десять шиллингов, которая осталась от моей поездки в Англию (по тогдашнему курсу примерно четыре-пять рублей), да ещё карта-трехвёрстка, выпущенная военным издательством, с которой мы ездили по окрестностям Москвы, так как мечтали в каком-нибудь красивом местечке постараться получить участок и построить на нём хатёнку.

На карте были отметки и крестики. Вот эти крестики вызвали большие подозрения и были особо отмечены. До книг в книжном шкафу не дотронулись, так как перед ними стояли фарфоровые и стеклянные безделушки, которые сразу начали падать. Сотрудник НКВД, делавший обыск, как-то к ним охладел, а затем в протоколе заставил меня расписаться, что я претензий к нему не имею, что поломок и порчи не было... всё по закону.

Обыск всё же длился, как мне казалось, бесконечно, хотя, возможно, не более двух или трёх часов. После первого ужаса всё стало понятным, я молчала, отвечала спокойным ясным голосом. Потом мы сидели, кажется, но не рядом – не разрешили, и Серёжа, глядя на меня, го-

ворил: «Только держись и дальше таким молодцом, и помни, что я тебя не брошу и всего добьюсь». А я уже знала и какой-то внезапно родившейся мудростью чувствовала, что с прежней жизнью навсегда покончено и никому ничего ещё не удавалось добиться. Я только смотрела на него и старалась запомнить выражение его глаз, впитать его голос и всё, всё, что называлось для меня Серёжей...

Потом мне разрешили взять с собой кое-какие вещи, даже полунамекнули, что мне будет необходимо, и я вернулась на момент к реальности – ведь запечатают, наверно, дверь, а тут бельё мужа, его костюмы, пальто (к счастью, книги и его работы не были у меня из-за сравнительной тесноты). С разрешения агентов я запаковала целый чемодан мужских вещей, куда Серёжа украдкой сунул несколько моих самых хороших платьев и туфель. Чемодан ему разрешили отнести к соседке.

Я знала, что теперь, когда окончен обыск и проделаны все формальности, наступит самое страшное в моей жизни – разлука. Нам дали проститься в коридоре у запечатанной комнаты.

Мы прильнули друг к другу всем телом, душой, сердцем – всё кругом перестало существовать, мы были как-то неизмеримо выше всего происходящего, каждый сказал другому – выдохнул всем сердцем то, из чего создаётся настоящее глубокое счастье двух любящих людей, только двух, и о чём никогда нельзя сказать никому другому.

Остальное уже не имело никакого значения. Я машинально вышла, мои немудрящие вещи в чемоданчике нёс Серёжа, за мной по пятам и с боков шли конвоиры. Запомнилось, что в коридоре была мёртвая тишина и, хотя не было поздно, ни одна дверь не открылась. Вышли на улицу, где уже ждала машина. Один сел спереди, другой, кажется, со мной, но я этого не помню, так как неотрывно смотрела в заднее окно на наши ворота, тротуар и на горящую точку от папиросы на том месте, где, я знала, стоял Серёжа и смотрел вслед увозящей меня машине.

В районном отделении милиции, куда меня через некоторое время привезли, на меня заполнили бланк с основными данными – ф. и. о., возраст, место рождения;

заставили подождать в небольшом унылом прокуренном помещении; потом снова повезли, но уже в закрытой чёрной машине, где в полной темноте сидели ещё какие-то люди и конвоир. Что следующим пунктом была Лубянка, я узнала потом, а в эту ночь всё казалось цепью каких-то этапов в новом нереальном существовании, которое мозг фиксировал, как электронный механизм, не успевая вникнуть в суть происходящего и дать ему оценку. Всё было даже не трагичным, а странно нелепым, и я по лестнице подымалась, потом спускалась и снова двигалась в каком-то оцепенении. Всё обрело какую-то новую значимость – «руки прочь с перил – кому говорят!». Снова переход, сигналы по коридору, чтобы никто не встретился по пути, а если шёл, то был быстро направляем конвоиром в сторону или всажен в тёмный ящик, которые стояли такими телефонными будками вдоль стен, – там человек должен был переждать несколько минут, пока коридор не становился снова безлюдным. Приводимые сюда никогда и ни с кем не должны были встречаться – только с конвоирами и работниками НКВД.

В новом помещении, куда я попала, меня заставили снять верхнюю одежду, сфотографировали анфас и сбоку, взяли отпечатки пальцев, проверили вещи. Потом это постоянно повторялось при переезде из тюрьмы в тюрьму, но в первый раз вызвало чувство внутреннего возмущения и большой гадливости. Снова заполнили какую-то форму, в конце которой и были отпечатки моих пальцев, потом предложили одеться, взять свои вещи и снова повели – «руки прочь от перил!». Вдоль перил над пролётами были железные сетки, окна выше головы и тоже с железными прутьями. По лестничным площадкам выше, а иногда ниже слышались шаги людей и приглушённые окрики: «Шире шаг, подтянуться, руки прочь от перил!»

Меня повели вниз, сперва по лестнице, потом по узким длинным коридорам. Стало холоднее, чем наверху. Перед одной небольшой дверью мы остановились, щёлкнул запор, и меня почти втолкнули, так как просто войти из-за тесноты было невозможно – в маленькую комнату под-

вала с небольшим оконцем под потолком. Было душно и парило, как в бане. В примерно восемнадцатиметровой комнате стояли, сидели на корточках, полулежали на полу впритык друг к другу не менее пятидесяти женщин, все молодые или среднего возраста и все почти голые. Последнее обстоятельство меня несколько ошарашило, я сначала не поняла, что в этой комнате было при одном маленьком окне очень душно. Конечно, все мучились от жары и понемногу раздевались и садились на свою одежду. Как только защёлкнулась за мной дверь, я стала центром всеобщего внимания. «Жена или шпионка?» – слышалось со всех сторон. «Когда взяли? Кем были? Расскажите, ради бога, что слышно на воле?»

На какое-то мгновение вопросы вызвали у меня инстинктивный страх – господи, куда я попала... Тут же половина помешанных... А затем понемногу всё начало проясняться. Некоторые из присутствующих находились тут уже насколько дней, некоторых привели недавно. Осуждённых, конечно, не было, но многие стали уже настолько «старожилами», что поразили меня осведомлённостью обо всем, что скрывалось под шифрами «жена», «пш», «соэ», «кртд», «крд»*. Это было начало моего боевого крещения и первая встреча с себе подобными. Моё полное непонимание и слова, что «должны же разобраться, и я не чувствую себя ни в чём виноватой» – вызвали или ироническое молчание, или ответ: «все так говорили...».

Какой-то злой голос из угла крикнул: «Не будьте дурочкой, выхода отсюда уже нет, будьте как дома!..»

Я раздала случайно оказавшиеся у меня в кармане ириски, а клочок газеты с выступлениями на процессе Ягоды начал ходить по рукам. Ведь надо же было, чтобы именно этот клочок попал в предварительную камеру, где каждую вещь прощупывали и просматривали! Все читали взахлёб, ахали, поражались, но никто не высказывал своих мыслей. Камера эта не имела «волчка», и, на моё счастье, за нами не следили, иначе я могла со своим

* Подозрение в шпионаже, социально опасный элемент, контрреволюционная троцкистская деятельность, контрреволюционная деятельность,

клочком газеты угодить прямо в карцер. Но тогда обо всём этом я и понятия не имела!

Не успели все перечитать этот клочок, как дверь снова открылась и нескольких, в том числе и меня, снова вызвали. Снова без конца вели по каким-то коридорам, вывели на двор и втолкнули в битком набитый чёрный ворон. События так громоздились друг на друга, что арест мне казался уже страшно далёким событием, а на самом деле длилась та же ночь, и мне ещё многое предстояло пройти до рассвета нового дня.

В Таганке я начала жить размеренной, монотонной тюремной жизнью многих. Подъем около шести утра; раздача хлеба, двух кусочков пилёного сахара и кипятка; затем в какое-то время «оправка», то есть хождение целой камерой в уборную, куда дежурные по камере несли вдвоём «парашу»; в какое-то время получасовая прогулка по глухому дворику; обед – когда в камеру вносили кастрюлю побольше с баландой и кастрюлю поменьше с кашей; вечером чем-то заправленный кипяток и, наконец, около десяти часов вечера поверка, то есть перекличка фамилий, и затем сон. Точных часов не было, так как тюрьма предназначалась для значительно меньшего количества людей, и поэтому всё время приходилось ждать очереди. Таганка в прошлом была уголовной и не обладала никакими современными устройствами. Большая камера с деревянным крашеным полом, с железными койками, покрытыми жидкими соломенными тюфяками, громадным деревянным некрашеным столом и двумя скамейками посередине. Окна забиты досками почти доверху, до всегда открытой фортки. Коридор, по которому нас водили в уборную, был широкий, с крашеным полом без дорожек, и потому в камере всегда слышался звук шаркающих ног по пути в уборную. Камер в нашем коридоре было штук пять-шесть, и, если судить по нашей, в каждой примерно шестьдесят – восемьдесят человек.

Уборная была с обычными кухонными раковинами для умыванья и тремя-четырьмя кабинками. Всё требовало известной сноровки и быстроты. Было очень

важно попасть в первые пары, так как на уборную уделялось немного времени и, если человек не захватывал умывальник или уборную сразу же, то рисковал, потоптавшись в тесноте, ни с чем вернуться обратно. Поэтому и дежурные по камере без всякого принуждения таскали громадную парашу примерно на пять-шесть вёдер в уборную, так как их водили раньше всей камеры и они успевали как следует помыться. Конвоир впускал всех и оставался за дверью у «волчка», а «подследственные», как я стала именоваться в Таганке, бросались в очередь, торопя друг друга. Ведь стульчаков было всего четыре и столько же умывальников, а нас – около семидесяти человек! Тут, в умывальной, пришлось мне впервые содрогнуться от ужаса перед беззаконием и потерять веру в советское правосудие.

А было это так. Когда меня после обычного осмотра ввели в камеру, все бросились ко мне с расспросами: «Вы что? Жена? Самостоятельная? Троцкистка? Кавэжэдинка?» КВЖД называлось наше строительство Китайско-Восточной железной дороги, куда были посланы специалисты и просто рабочие с семьями из многих городов Советского Союза*, а также и завербованы на месте. Жили все эти люди обычно в Харбине или на самой железной дороге в хороших условиях, которые были много лучше тогдашних наших. Когда строительство было закончено, всем предложили вернуться в Советский Союз, а к отъезжающим примкнули многие, жившие до этого в Харбине на полуэмигрантских правах. Отъезжающим гарантировались работа и жильё, и поэтому многие брали с собой только самое необходимое, а квартиры с обстановкой просто бросали, так как был массовый отъезд и никто ничего не покупал, а китайское местное население было в большинстве очень неимущим. Ехали эти кавэжэдинцы на свою новую родину в 1935 (примерно) году с торжественными речами, их встречали с букетами

* Автор ошибается. Китайско-Восточная железная дорога была построена ещё до революции на средства, выделенные царским правительством, российскими строителями. Многие из них после революции оказались эмигрантами на китайской территории.

цветов во всех местах, где останавливался поезд. Потом кое-как, с большими разочарованиями устраивались на работу, а в 1937 и 1938 годах они подверглись массовым арестам и даже расстрелам, и поехали обратно уже заключёнными, в разлуке с семьями, в самые далёкие северные или среднеазиатские районы, чтобы работать восемь-десять лет на тяжёлых физических работах.

Большинство расспрашивавших меня были молоды или, во всяком случае, средних лет и говорили на вполне литературном языке. Видя мою недоверчивую скованность – ну как было не оторопеть от такого количества сведений о сроках, «вышках», о том, как вели следствие, угрозах и т. д. человеку, который ещё вчера ничего этого не знал и жил, казалось, в другом мире? Тут ко мне подошла очень миловидная женщина, староста камеры, и, отстранив всех осаждавших: «Ну, нельзя же так, дайте человеку прийти в себя и освоиться, успеете наговориться!» – отвела меня в сторону и объяснила, как надо себя вести в камере, какой у них распорядок дня и т. д. Я была настолько оглушена происходящим, всё казалось таким неправдоподобным, так мутило (я ничего не ела) и так болела голова, что посмотрела на неё с большой благодарностью.

«Вы не удивляйтесь, – сказала староста, – что вам придётся сегодняшнюю ночь спать вдвоём на одной койке с очень милой женщиной-врачом». Я была рада куда-то сесть, получить какой-то, наконец, свой угол, и слова старосты почти не задели моего внимания. Моя соседка оказалась харбинкой – врачом, занимавшейся какими-то биохимическими изысканиями. Мы прошептались всю ночь, так как спать вдвоём всё равно было невозможно на жёсткой узкой койке, к тому же Вера Николаевна очень сторонилась меня и просила не касаться её. Тут от неё я впервые услышала, как ведутся допросы и как её заставляют подписать протокол, в котором говорилось, что она умышленно отравляла водоёмы для массового уничтожения людей. Я не верила своим ушам, мелькала мысль, что Вера Николаевна просто психически больной человек, страдающий галлюцинациями. Она была

немногим старше меня, но говорила, как с ребёнком, глядя бесконечно печальными, замученными глазами, иногда обрывала свою речь. «Вы скоро всё, всё сами узнаете, бедная вы моя!» У меня всё обрывалось внутри, я задыхалась, голова раскалывалась от одной сверлящей мысли: неужели всему нормальному человеческому конец, неужели всё услышанное – правда? И мне хотелось зажать уши и кричать. У неё был любимый муж, дети.

На следующий день я, конечно, при оправке оказалась почти в конце очереди. После меня была только Вера Николаевна. Почему-то она всё мешкала и, когда конвоир уже открывал дверь, как-то странно взглянув на меня, попросила подержать её полотенце. Потом, сморщившись от боли, сдёрнула с себя платье и подставила лицо и руки под кран. Я стояла рядом с полотенцем – её спина была вся исполосована незажившими рубцами, приклеившимися к рубашке. Так вот оно что!..

За последующие несколько дней я стала в курсе всего, что происходило. Многие из нашей камеры уже побывали на допросах и, конечно, обо всём рассказывали. Меня же всё не вызывали, и каждую ночь, как только громыхал замок нашей двери, я вскакивала и с трепетом ждала свою фамилию. Вызывали обычно между двенадцатью и двумя часами, в самое тихое время тюрьмы, и те, кто лежали поближе к центральному отоплению, слышали заглушённые крики допрашиваемых где-то внизу. Трубы отопления соединяли все этажи и были хорошим проводником звука. Наслушалась я столько всего, что уже ничему не удивлялась, только один раз ночью до нас долетел полудетский вопль – «Мама!» – и мы проплакали до утра.

Среди окружавших меня женщин было много приятных, которые держались очень достойно. Запомнилась мне только одна очень пожилая женщина, старая большевичка, которая от нервного потрясения была вся покрыта коростой экземы. Помощи врача она не просила, но мучилась ужасно и держалась как-то особняком. Ко мне она прониклась материнской нежностью и всё

время говорила, что главное – это сохранить человеческое достоинство и жизнь. Была она арестована уже не первый раз и, хотя говорила со мной вполне откровенно, имени Сталина не упоминала. Помню, как мы ходили вокруг стола (это было единственное свободное место, и им все пользовались для разминки) и как, облокачиваясь на мою руку, она горячо говорила: «Я до этого не доживу, но я знаю, что доживёте вы, должны дожить, и тогда вы вспомните мои слова, что всё ныне происходящее – это грязное вредительство, ничего общего с коммунизмом не имеющее, и что будет день, когда партия всё это разоблачит». Думаю, что она не дожила до этого дня, но дожила я и часто её вспоминала. Не знаю, обвиняла ли она мысленно во всём Сталина, но мне она этого не говорила, и проскальзывала у неё в разговоре со мной такая грустная снисходительность старого человека к молодому или посвящённого – к непосвящённому. Вскоре меня снова перевели, на этот раз в Бутырки, и больше я её никогда не видела.

Помимо чисто физических страданий у некоторых, то есть побоев на допросах, все переживали психологические травмы. У всех нас от недоедания и недосыпания (в первые дни обычно не ели, не спали и терзались всем ужасно) – момент вызова из камеры, громыханье замков, появление конвоира с листком и выкрик фамилии, после чего следовало – «Имя и отчество? – Выйти с вещами», – вызывали уничтожавшее всё личное моральное потрясение. Позади в камере оставалось какое-то призрачное человеческое тепло, а иногда даже настоящее, сердечное, – ведь в такой беде люди раскрывались и искали поддержки у себе подобных. Обрывалась какая-то нить, кусочек чего-то обжитого... Не глядя на провожающих, часто даже не успев кивнуть на прощанье, человек выходил *один* на новую неизвестность, беспомощный и ничем не защищённый. Было гораздо легче, когда выкликали нескольких сразу и вместе куда-нибудь везли. А одной стоять в ящике чёрного ворона или сидеть в таком узком месте, где нельзя ни вытянуться, ни повернуться – в полной темноте за двумя запорами, когда мучительно сосёт

под ложечкой, было невыносимо. Все мы были наслышаны, и все боялись перевоза в Лефортово. Оттуда, говорят, или не возвращались вовсе, или сидели подолгу, для мучительных показаний. А попасть могли совершенно неожиданные люди, ведь всё зачастую было похоже на бред, а следователи имели свои цели. В Лефортово я не попала, а попала в Бутырки, где и просидела вплоть до отправки в лагерь.

В Бутырках я подверглась санобработке, которой до той поры не ведала. Во-первых, после тщательного прощупывания моё пальто и всё у меня имевшееся было пущено в «прожарку». Во-вторых, меня саму голую отвели в баню, где при входе какой-то мужчина быстро обрил меня, оставив волосы только на голове, и сунул крохотный кусочек мыла с пол-спичечной коробки. Я очутилась в громадной бане с кафельным полом и каменными скамьями, где в обилии воды мне было дано право вымыть остатки волосяного покрова и всё остальное. Даже давали ножницы для стрижки ногтей! – Вымытой я получила обратно горячий прожаренный свёрток своих вещей и свою цигейку. Что я получила её в полной сохранности и что мне очень повезло с ней на этот раз – я и не подозревала. Только посла следующих санобработок я стала свидетельницей – во что превращались у некоторых женщин котиковые, беличьи и иные меховые шубки! Попадая слишком близко к горячему барабану, они съёживались, уменьшались в размере, а иногда и ломались. В том случае, когда шуба становилась совсем непригодной, выдавали солдатскую шинель.

Камера была большая, с каменным полом и сплошными нарами вдоль стен. Два больших окна, сплошь закрытые железными щитами с двумя фрамугами, находились под самым потолком. Помещалось в камере, наверно, человек восемьдесят, что было особенно ощутимо ночью: лежали до того впритык друг к другу, что вскоре выработался навык поворачиваться, даже во сне, целым рядом, вместе с соседками. Лежать на нарах разрешалось только после вечерней поверки, а днём можно было, начиная с шести утра, только сидеть или ходить вокруг стола.

Дисциплина была строже, чем на Таганке, – не разрешалось громко разговаривать, и неотступно следили в «волчок». Зато были книги один раз в неделю, если камеру не лишали их в наказание за нарушение дисциплины, и один раз в месяц ларёк за деньги, полученные от родных. Потом я узнала, какие мытарства проходили родные, чтобы сперва узнать, где мы находились, а потом передать нам пять рублей, то есть максимум разрешаемой суммы. Родные часами простаивали в справочном на Лубянке, получали сперва разрешение, а затем узнавали, в какой мы тюрьме. В каждой тюрьме были свои дни и часы приёма, а так как многих переводили по нескольку раз, то и ходили родные по месяцу. Бывали случаи, что, найдя наконец своего человека, родные получали справку «выбыл», хотя он был тут и мучительно ждал вестей из дому. Деньги получали только от родных; на руки их не давали, но заставляли расписываться в получении, и таким образом обе стороны узнавали о существовании друг друга.

Ларёк, конечно, был событием. Покупали обычно самое дешёвое, то есть белый хлеб, подушечки, масло, иногда дешёвую колбасу и, конечно, дешёвые папиросы. Обычно те счастливцы, которые получили деньги, выписывали ларёк с расчётом на тех, которых ещё не нашли, или просто одиноких. Главным образом покупали курево, так как кое-как сыты мы были, но курильщицы страшно страдали без папирос. Не помню случая, чтобы не делились с другими. Обычно после ларька получали кипяток, и наступал короткий перерыв в напряженном ожидании вызова, витал призрак мира и благодушия...

А вызывали тут почти круглые сутки, и всегда кто-то сидел на допросе, а кто-то только что вернулся. Если вернувшаяся приходила в своём обычном виде, кое-как дождавшись закрытия двери и волчка, все жадно её обступали с расспросами. И тут, несмотря на трагичность нашего положения, рассказы подчас были такие дикие по нелепости, что мы дружно... смеялись.

Помню, как вызывали одну пожилую малограмотную женщину.

– Да... так, говоришь, у тебя сын в Польше, ну и держишь с ним связь?

Молчание.

– Письма, говорю, пишет?

– Пишет, батюшка, пишет, – радостно говорит наша бабка.

«Значит, связь с заграницей», – записывает следователь.

– Ну, теперь расскажи о своей шпионской деятельности.

– Чего, батюшка?

– Когда стала действовать против советской власти?

– Против советской власти?.. Да ты што, батюшка, обалдел што ли?

Потом шла ругань, и обрёванную бабку доставляли обратно, чтобы на следующем допросе начать всё заново.

Конечно, не все допросы были такого полумирного характера, была и дикая ругань, и избиение, и холодный карцер, и стояние часами у стены следователя, и провокации, и страшные очные ставки, где двое замученных людей сидели друг против друга и, не глядя в глаза, повторяли заученные на допросах показания. Я наслушалась таких допросов, таких жестоких арестов, таких страшных судеб, что лишилась сна и замирала при каждом появлении конвоира с бумажкой...

Одну молодую кормящую мать увезли в халате, прямо от примуса, на котором она варила кашку для ребёнка, гулявшего в это время с бабушкой на улице. Одна молодая девушка была увезена прямо с бала и предстала на Лубянке в вечернем шёлковом платье до пят и с полуголой спиной.

Одна очаровательная молодая женщина из хорошей старинной русской семьи, попавшая как-то в Италию, полюбила скрипача, вышла за него замуж, родила двух мальчиков. Когда мальчики подросли, узнала, что всё это время муж имел другую жену, её лучшую подругу; в отчаянии каким-то чудом добыла себе и мальчикам визу на возвращение на родину. Она получила обещание преподавателя консерватории прослушать её мальчиков и,

если они окажутся одарёнными, взять их в скрипичный класс. На вокзале она не успела даже взять багаж по квитанции. Её встретили на машине и увезли – «не беспокойтесь, мальчиков уже увезли в их будущую школу, а мы вас задержим для одной небольшой формальности...». Она потом оказалась неистощимой певицей и мурлыкала нам потихоньку любую арию из любой оперы на любом языке. Научила нас вязать на спичках бюстгальтеры из распущенных подолов маек и смешила нас тем, что упорно называла страшную, с окаменелым лицом женщину-надзирательницу «горничной». Теперь уже и вспомнить трудно, но можно было исписать страницы о каждой из тех судеб...

Ежедневно нас водили гулять на глухой небольшой двор, окружённый по меньшей мере трёхметровой каменной стеной с трёх сторон. Четвёртая примыкала к тюремной стене, где сотни глаз в щелях искали и боялись найти своих близких среди гуляющих. Так же смотрели и мы, когда после очередной уборки нас перевели в новую камеру, – но через узкие щели было это невозможно. В углу двора была будка с конвоиром. Нас приводили двое других. В тюрьме при первом же осмотре у нас вырезали из одежды все металлические крючки, отняли пояса с резинками, вырезали молнии и застёжки из бот и даже вытянули резинки из трусов. Мы гуляли по двору кругом с равными интервалами. Всё время у кого-нибудь падали трусы, спускались чулки, выскакивали из бот ноги... Некоторые завязывали себе на животе узлом всё спадающее и имели вид диковинных кенгуру. Наша модница ходила без чулок в солдатских бутсах, папахе и шинели, подвернув на руку подол вечернего платья. Мы старались не смотреть друг на друга, так как не смеяться было невозможно. Подозрительно сморкались и кашляли молодые конвоиры.

Я уже обжилась в камере, получила много полезных навыков: научилась делать крючки из спичек и из распущенного чулка вязать; научилась спасаться от «прожарки», а главное – спасать единственное, что у меня

было – цигейку, и оставаться на уборку камеры, пока все моются в бане (дежурных водили потом отдельно). Делала из хлебного мякиша шахматы; сделала себе из спичек застёжки; научилась есть всё, что нам давали (было невкусно, но ничего недоброкачественного, в кашу даже лили немного растительного масла); научилась брать себя в руки, не думать о Серёже и не впадать в отчаяние. Даже как-то поймала себя на мысли, что вот арестовали почти накануне сдачи кандидатского экзамена по диамату, и вот не придётся больше мучиться и заучивать избитые штампы, вызывающие тоску и отвращение. Даже научилась пользоваться уборной, что тоже было непросто, так как она находились в противоречии с самыми элементарными понятиями стыдливости; к этим гигантским каменным ступеням на уровне пола, с бьющей между ними водой, ничем и ни от кого не укрытыми; к длинной, злой и нетерпеливой очереди тоже надо было привыкнуть...

Вызвали меня на допрос поздно вечером. Кто-то второпях помог натянуть платье, кто-то пожал руку, и вот я уже шагаю по коврикам коридора впереди конвоира (в Бутырках всё заглушало шаги). Вталкивалась в собачник, если кто-то шёл навстречу (полная конспирация), спускалась, подымалась и, по-моему, попала на четвёртый этаж другого корпуса.

Следователь К. был плотный коренастый человек с тяжёлым взглядом, неприятным тупым лицом и большим шрамом над бровью. После нового оформления анкетных данных с бесконечными подробностями, начиная с гимназии, и выяснением всех родственников, проживающих тут или за границей, мне было предложено рассказать о себе, начиная с 1917 года, то есть с момента окончания школы. Я до сих пор сгораю от стыда за то, что я действительно начала рассказывать о своей семье, о себе обычно и правдиво, как говорил любой интеллигентный человек в мирной обстановке. До чего это было глупо! Стать с этим кретином на одну доску! Рассказывать! Когда надо было говорить: «В семнадцатом была в Москве, как и все

последующие годы», «работала там-то», «поступила в вуз тогда-то», «вышла замуж тогда-то» – всё на пятнадцать-двадцать строчек текста. Я знала только, что мне нельзя упоминать никого из близких людей, кроме моей семьи, конечно, и взвешивать свои слова. О том, что нельзя рассказывать по-человечески, я поняла уже в тот первый раз, когда в конце моего рассказа следователь меня оборвал и спросил: «Теперь скажите, кем вы завербованы и как протекала ваша шпионская деятельность?»

Мы посмотрели в глаза друг другу. Ничего человеческого не было в тупом оловянном взгляде моего собеседника, как будто я не о себе говорила, а произнесла длинную цитату из уже устаревшего учебника. Знакомый холодок прошёл от затылка к ногам, как-то тоскливо, тихо заныло сердце, стало тошно и противно. Допрос длился долго. К. клал на стол заряженный револьвер, говорил, что «ему всё известно» и что чистосердечное признание облегчит наказание, которое будет в любом случае (об этом мы уже все были осведомлены в камере); заставлял стоять к нему спиной под дулом револьвера, а потом посреди кабинета. Мне не хотелось поддаваться атмосфере допроса, но, как я ни крепилась, часами стоять без движения посреди комнаты очень трудно – всё начинает тихонько плыть перед глазами. Когда стояла спиной к следователю, увидела, что окно в решётке, и подумала, что ни выбить стекло, ни выпрыгнуть невозможно. Тогда я ещё не знала, что именно так, на допросе, с четвёртого или пятого этажа выбросился на улицу т. Братковский, секретарь польской компартии, в те годы работник Коминтерна в Москве. После этого все окна у следователей были затянуты решётками.

На этот раз, после мучительных и идиотских вопросов и переписывания протокола, в котором я требовала устранить неточности, просто ложь и подтасовки, я подписала сносную редакцию и была отпущена со словами: «Идите, соберитесь с мыслями, мы ещё поговорим не раз».

В камеру я вернулась смертельно усталая, опустошённая. «Не били?» – сейчас же встрепенулась моя соседка, освобождая щель между телами, в которую я могла бы

втиснуться. Я молча отрицательно помотала головой и легла.

Последующая за этим жизнь в камере стала для меня сплошным ожиданием вызова. Нас несколько раз переводили в другие камеры, всё время кто-то убывал, приводили новеньких, так что я досыта наслушалась о всяких «делах» и о методах ведения следствия. Бывали случаи, когда матери звонили детям прямо из кабинета следователя. Бывало, но редко, в среде партийных «бдительных» жён: они под напором следователя начинали вспоминать какие-то странные поступки мужей и кончали тем, что предавали их и подписывали какой-то материал. Иногда вызывало это неожиданная любовница мужа, которая попадала в ту же камеру... Были женщины, которых обещали судить в Военном трибунале, и они часами готовились и заучивали то, что они скажут на суде. (Потом я узнала, что те несколько слов, которые давали произнести на суде, была лишь юридическая формальность, которая не могла что-либо изменить в уже готовом решении.)

Особенно жадным любопытством мы окружали тех немногих, которые были вызваны вновь (уже из лагерей) на переследствие в связи с необходимостью дачи каких-либо показаний в другом деле. От них мы узнали всё про этапы и лагеря – «копите чеснок и сахар, девочки» – и о том, что основная масса идёт через особое совещание, никем не виданное. Оно решает дела заочно по шаблону; статья, конечно, всегда 58-я, формулировки обычно литерные, так как пункты шли больше через суд, – «пш», «кртд», «крд» – наконец самое слабое – «соэ». Все эти литеры иногда шли через статью 17, что означало соучастие. Пункты 58-й статьи были со страшными расшифровками: был и шпионаж – п. 6, и активные враги народа п. 1 и 2, групповые диверсии, связь с международной буржуазией, покушение на жизнь, массовое отравление, и даже раз или два встречалась с людьми с пунктом «раздувание какого-то пожара» – уж не контр ли революционного...

Сейчас пункты эти стёрлись из памяти, но тогда каждая из нас знала их наизусть, со всеми добавлениями. Узнали мы от переследственных и то, что наши подписи

на законченном деле пустая формальность, что надо подписывать каждый свой ответ (что обычно не давали, да и кто знал?) вплотную и, во всяком случае, ставить подпись внизу, не оставляя пробела. Тут же нам сообщили, что при необходимости подпись «выбивали» у человека, доводя его до состояния апатии и полного безразличия, а потом давая в момент подписания что-то «взбадривающее». Мучились эти несчастные, придя в себя, ужасно, смутно припоминая, что давали какие-то неправдоподобные показания, да ещё зачастую называя чьи-то имена.

Убедили нас и в том, что подписавших и не подписавших ждёт одна и та же участь, в чём я убедилась сама в дальнейшем. В нашем этапе оказалась одна, которая была лишь на одном допросе и заполнила только анкетные данные, и вторая, которая, высидев в камере месяц-два, вообще обошлась без дела и даже не знала, какое у неё обвинительное заключение. Дело шло к весне, органы торопились, чтобы скорее направить на Крайний Север и вредные районы Средней Азии даровую рабочую силу. Ходила по камерам в те дни легенда, что кого-то оправдали и выпустили на волю, но живого такого человека никто не знал, а вот случайные однофамильцы тоже получали (раз попавши в НКВД!) срок. Был и такой случай.

От всего слышанного голова ходила кругом, я перестала спать по ночам или заучивала те слова, которое скажу на Трибунале, если попаду на него. Говорить давали всего от двух до пяти минут, и это была единственная возможность стать (кто знает?) человеком последний раз. Или думала, как я смогу принести пользу в лагере, например, обучать английскому... Конечно, последнее было на уровне институток Тэффи, которые считали, что коровы дают молоко, а телята – сливки.

Но многие из нас были тогда помесью безверия в какое-либо светлое начало справедливости, практической мудрости и разрозненных клочков наивности.

Всё на деле оказалось гораздо проще. В последующие два допроса со мной хамски и издевательски говорили, провоцировали: «Вы такой опустившийся человек, что

вот (тряс какой-то запиской...) ваш муж отказался от вас...» А я молчала. Не били и в карцер не сажали по той простой причине, что на всех допросах я не отрицала, что была за границей и что мой первый муж (с которым я, кстати, развелась за десять лет до ареста...) – англичанин и английский подданный. На этом легко и просто составили материал, что он агент Интеллидженс Сервис, завербовал меня и моих знакомых, а что наши вечеринки с танцами – не что иное, как маскировка шпионской деятельности. Двух истин – была за границей и замужем за британским подданным – было вполне достаточно по «установкам» Особого совещания для срока в восемь-десять лет трудовых лагерей. Была бы у них, то есть органов, специальная заинтересованность во мне – могли бы дать и п. 6 с тюремным заключением, и ещё похуже. Очевидно, заинтересованности не было, и, кроме обливанья грязью и запугивания, со мной ничего не делали.

С приговором тоже было всё до крайности просто. Вызывали уже в новый кабинет, где слева сидел государственный обвинитель от Особого совещания, быстро зачитывал приговор, спрашивал: «Понятно?» Потом приговор передавался направо, другому сотруднику, у которого лежала папка вашего дела; приговор вкладывался в дело, а вам давали расписываться, что вам его объявили. Всё было молниеносно, и очнулась я в собачнике вместе с Баей Скутельской, которая получила пять лет и с которой мы потом вместе работали в Эльгене на Колыме.

В чём конкретно заключалось моё обвинение и как выглядел мой обвинительный материал – я не знала, пока мне не дали его прочесть в июне 1956 года в зале Военного трибунала, что на Арбате. Там я узнала, что я полностью реабилитирована (после восьми лет с гаком лагеря и второго следствия, а затем поселения навечно семи лет!) «за отсутствием состава преступления», что являлось самым чистым, так как были «за недоказанностью» и ещё что-то...

Тогда же я узнала, что на меня дали показания трое самых порядочных и хороших людей: Николай Максимович Тоцкий – профессор историк, мой хороший знакомый;

Степан Дмитриевич Муравейский – муж моей лучшей подруги, и Григорий Георгиевич Коккинаки – человек чрезвычайно в меня влюблённый. Все они погибли, и да простит им Бог это вынужденное предательство, а у меня в сердце ничего нет, кроме громадной жалости. Бедные вы мои, бедные...

Не помню, как я прожила оставшиеся до этапа дни, но когда заставляла себя не думать о чудовищности обвинения «подозрение в шпионаже», то в остальном было даже какое-то облегчение. Самое тяжёлое – неизвестность – было позади, а впереди – трудный длительный этап, но был уже коллектив и какая-то работа. Выживали другие... – твёрдо собралась выжить и я.

Самое трудное в эти дни были первомайские демонстрации. Музыка и пение проникали даже сквозь толстые стены тюрьмы, и мы, конечно, плакали.

Потом – последняя проверка вещей, отбирали все золотые и ценные вещи, часы. Происходило это в так называемом «вокзале» – громадном холле без окон, с кафельным полом, куда вызвали сразу несколько камер. Впервые было несколько шумно, так как многие осуждённые узнавали друзей, знакомых, в редких случаях родных. (За последним администрация очень следила, и встреч было мало!) Потом нас по списку вызывали то ли за ширму, то ли в отдельные комнаты и подвергали личному, очень унизительному, обыску... Выходили все красные, негодующие или бледные, убитые, но равнодушных не было.

Последние предэтапные дни в ЧБ-2 – круглой, так называемой «часовой башне» – были для нас просто блаженством. Нас не вызывали больше, почти не следили, кроме того, в башне была своя уборная и свой рукомойник! Все плескались, как утки, и серьёзно готовились к этапу, шили мешки из футболок, что-то чинили. Иголку давала дежурная.

Забыла сказать, что перед получением приговора нас в камере посетила комиссия. До её появления нам приказали быстро одеться и привести себя в порядок, так как в камере все берегли своё единственное платье, чулки

и сидели в комбинациях и босиком. Потом нас выстроили, и пришла комиссия. До чего же это были лощёные, свежевыбритые и пахнущие одеколоном офицерские чины! (От нас-то всех обычно разило чесноком, нашим единственным доступным витамином!) Задавали вопросы – нет ли жалоб на персонал?! Был ли медицинский осмотр? Затем разрешили написать заявления в высшие инстанции по поводу дела, детей и т. д., а также список вещей, которые просили родных принести в тюрьму. Всё было ханжески законно; встретили и проводили комиссию молчанием, если не считать каких-то мелких бытовых вопросов, – все уже всё понимали и ничему не верили. Но когда выдали листики белой бумаги и карандаши, женщины не выдержали соблазна и начали лихорадочно строчить заявления – господи, на чьё только имя их не писали! Из всего этого вышло, что многие из нас действительно получили носильные вещи из дома, правда, частью не то, что просили. Это наводило на мысль, что списки не передавались (а вдруг шифр?..), а все остальные заявления по делу, следствию и т. д. – просто уничтожались (как потом узнавали) тут же, по выходе из камеры. Но сколько проснулось надежд, сколько было обсуждений, сознания чего-то выполненного...

Итак, в ЧБ-2 я лежала между молодой и чрезвычайно красивой харбинкой Марусей Ковалёвой – обыкновенной домашней хозяйкой, оставившей дома мужа и шестилетнего мальчика. Она без конца (как и все матери) о нём рассказывала, а по ночам плакала во сне и стонала: «Сынка мой, сынка». С другой стороны была Циля Ершова – недавняя комсомолка, приехавшая из Латвии. У неё во время ареста увели и мужа, а маленькую двухлетнюю дочку увезли в детский дом. Циля держалась молодцом, была цветущей молодой женщиной, привлекательной, с неистребимым прекрасным цветом лица, которым часто обладают рыжеватые еврейки, и очень жизнеутверждающей. Ей, так же как и Мусе, дали пять лет, она твёрдо собиралась, куда бы её ни занесла судьба, заниматься озеленением и агротехникой и была уверена, что разыщет свою дочку. Впоследствии Муся узнала, что

муж уже через короткое время отрёкся от своей жены, остался цел, женился и прислал Мусе карточку сына. А Циля уже из Эльгена, после упорных поисков, через год получила письмо от воспитательницы детского сада – хорошей доброй женщины – о том, что Леночка помнит, что мать была весёлой, красивой и что у неё была блузка с висящими помпонами, которыми она играла, лёжа в постельке. Тут же была и групповая фотография, на которой Циля с трудом узнала в вытянувшейся стриженой бледненькой девочке свою дочь. Потом детский сад снова расформировали, и при мне вторично свою дочь Циля уже не нашла.

В ЧБ-2 (пересылка) мы все перезнакомились, все без конца разговаривали. Была у нас молоденькая шестнадцати-семнадцатилетняя балерина, у которой мать сидела этажом ниже. Они неожиданно встретились накануне на «вокзале».

Мать работала постоянным секретарём у Енукидзе, который помог ей устроить в балетную школу её прелестную дочку, и, сам этого не ведая, стал причиной их жизненной катастрофы. Помыслы всей камеры были о том, не разлучат ли мать с дочерью и удастся ли им попасть вместе в лагерь.

В ближайшие день или два уже выяснилось, что не удастся, и мы были свидетелями их новой нежной встречи, когда мать, ничего не слыша и не видя кругом, на площадке лестницы двора без конца целовала и обнимала свою дочь и страстным шёпотом учила жить: «Ты не доверяйся первым попавшимся людям, помни, чему я тебя учила, не забывай меня и береги себя. Доченька моя, ты должна жить, и всё ещё переменится».

Дочь оторвали от шеи матери под душераздирающий полудетский крик: «Не отнимайте у меня маму!» Её отвели в нашу партию, а партию матери при нас вызвали за ворота и увезли. Ниночка поехала с нами на Колыму, а мать увезли в Коми.

ТЕТРАДЬ ВТОРАЯ

Везли нас в темноте и тесноте довольно долго, и когда высадили из машины, то день уже кончался – сгустились сумерки, и трудно было догадаться, к каким запасным путям нас привезли. В полной темноте, с конвоирами, держащими на поводке рвущихся овчарок, нас построили вблизи тёмного, настежь открытого товарного вагона (их называли американскими), сделали очередную перекличку, освещая каждого фонарём, и приказали по очереди лезть по трапу в вагон и быстро ложиться. Я попала на верхний настил, что, пожалуй, было лучше, так как ближе к маленькому обрешеченному окошечку. Их было два на наружной стене и два на другой, наглухо закрытые железными щитами. В жаркие дни от них пышело жаром, как от духовки; моё место оказалось при свете дня как раз вплотную к такому щиту, и мучилась я от жары и духоты изрядно.

Всего нас оказалось в вагоне человек тридцать пять – сорок, и против дверей даже осталось пустое пространство примерно в два квадратных метра.

Нас снова пересчитали, осветили последний раз фонарём, приказали соблюдать полную тишину, закрыли щиты на окошках, с шумом задвинули дверь, засунули в гнёзда громадный тяжёлый засов и заперли на замок.

Мы остались совсем одни, гадать, куда нас повезут, так как каждая заслушала приговор – восемь или десять лет трудовых лагерей – без указания места. Некоторые тотчас же, подостлав пальто или то, что было при себе, заснули, а я лежала в темноте, думала и слушала. За стеной проходили всё новые партии, слышалась приглушённая команда – «равняйся, шире шаг, последние не отставать», – изредка отрывисто взлаивала овчарка... Иногда наш вагон вздрагивал и поскрипывал – прицепляли новый.

В дальнейшем, когда нас выводили в разных городах в баню, мы подсчитали, что в нашем эшелоне было шестьдесят пять вагонов, и, если считать сорок человек за среднее, то всего нас было не менее двух с половиной тысяч человек в возрасте от шестнадцати до сорока лет. Эшелон был явно молодёжный.

Двинулись мы в путь уже утром, когда совсем рассвело, и, проехав какой-то кусок по Окружной, вновь остановились недалеко от Лихоборского проезда. Ведь надо же случиться, что я из щели окна (днём щиты с одной стороны открыли) увидала домик Артоболевских с маленьким садиком и таким мирным бельём, висевшим на верёвке! Из домика этого за месяц до меня увели отца, Ивана Алексеевича Артоболевского, прелестного, умного и обаятельного старика. (В 1942 году семья, после бесконечных хождений, получила справку, что он умер от дистрофии.)

Я не могла оторваться от окна, сосредоточила все свои внутренние душевные силы, ещё раз мысленно увидела и вновь простилась со спящим (а может быть, бодрствующим?) Серёжей, молила его не забывать меня. Слава богу, стояли недолго...

Население нашего вагона оказалось приемлемым, если не обращать внимания на попытки нескольких молодых кавэжэдинок захватить лучшие места у окна, обманом добыть лишний глоток воды и прочие мелочи. Мы знали, что от нас самих зависит, чтобы этап был менее мучительным, и сами следили за порядком. Лучшее место у окна с моей стороны вагона предоставили некоей Паглиной (имени не помню), женщине средней молодости, близорукой, в очках и на седьмом месяце беременности. У неё осталась дома маленькая дочь, которая снималась в фильмах. О себе она распространяться не любила, и только в дальнейшем мы узнали, что её муж китаец, студент ИКП*, а дочь унаследовала всё отцовское и снималась в кино как китаяночка. Мать очень тревожилась за неё и за будущего своего ребёнка, который тоже мог

* Институт красной профессуры.

оказаться вылитым китайцем. Паглина была членом партии, не ныла, хорошо держалась и даже уступала своё место другим – подышать и посмотреть в окно, что было единственной радостью.

Кроме Паглиной, у нас объявилась ещё одна партийная – наша староста и активистка Нина Александровна Бабина (встретилась с ней осенью 1971 года в бассейне «Москва». Она мало изменилась, была всё та же застывшая улыбка, которая нам всем казалась неискренней и потому очень претила. Она меня не видела или не узнала, и я с облегчением не подошла). Нина была маленькая энергичная женщина, попавшая в тюрьму в лёгком костюмчике и белых босоножках; она не получила от близких никакой передачи, так и ехала с пустыми руками, налегке.

Была она, если бы не какая-то стандартная и постоянная улыбка на скобкой опущенных губах, довольно привлекательной и сразу же взяла с нами тон политинформатора. Роль молчаливого наблюдателя была ей совершенно не по характеру, в силу давней привычки быть на выборных должностях в разных комитетах и вести работу среди женщин. В этапе она всячески старалась оправдать происходящее: «но среди нас есть, конечно, и настоящие враги, товарищи!» – или: «а кто может поручиться, что кто-нибудь из нас не был завербован, сам того не зная, и таким образом стал врагом советской власти?..». Несмотря на политические споры, естественно после этого возникавшие и вызывавшие к ней волну недоброжелательства и злобы, была она лёгким и компанейским человеком и, не обладая тонким юмором, всегда что-то весело рассказывала и держала себя в руках. Так и запомнилась она мне с улыбкой и с двумя золотыми коронками на передних зубах. Её слова о «правильности» сперва шокировали нас и казались ханжеством, но впоследствии, присмотревшись к ней, я убедилась, что Нина – просто новый тип сталинской молодёжи. Она не в состоянии воспринимать правду, настолько закована в броню правоты советской власти, которую пропагандировала всю свою сознательную жизнь. Шла вполне

искренне и увлечённо с прямолинейностью слона к намеченной цели, не видя или не позволяя себе видеть того, что происходит кругом.

В этом была её сила, и она не могла сразу отказаться от своей убеждённости в конечной справедливости Сталина, и с необычайным упорством боролась сама с собой за свои идеалы. Повергнуть их в прах было для такого человека равносильно смерти, а Нина была жизнеутверждающим крепышом. Будучи старостой, она вела подсчёт хлебным пайкам, требовала воды, воздуха и смотрела в лицо конвоиру (если он не был дубом или подлецом) слегка заговорщицки, как партийная на партийного среди беспартийной массы.

Не знаю, были ли у нас ещё партийные, но были комсомолки, и одной, шестнадцатилетней, мы даже справили день рождения, уделив ей каждая по малюсенькому кусочку сахара. Помимо хлеба, воблы и ужасного солёного ржавого супа, почти каждая имела из передачи своё: лук, чеснок и немного сухарей.

Ехала с нами балерина Ниночка, которая умудрялась упражняться на свободном квадрате пола.

Была трогательная, влюблённая в свою профессию артистка Лидочка Черевкова. Ещё в 1916 году, будучи восемнадцатилетней девушкой, она увлеклась молодым офицером, который, женившись на ней, увёз её с матерью в Латвию, вскоре пропал без вести в Гражданскую войну, оставив Лидочке звание «жены офицера», за что она страдала все последующие годы.

Только в 1936 году они скопили вдвоём с матерью, которая Лидочку обожала, достаточно денег, чтобы как-нибудь устроить новую жизнь в Москве, с трудом получили возможность приехать (ведь застряли они в буржуазной Латвии!). Лидочка рванулась организовывать драмкружки при заводах, устраивать чтения и небольшие постановки и приобщать молодёжь к искусству, начала зарабатывать, добыла себе с «мамулечкой» угол и была безмерно счастлива, что очутилась на родине и работала по призванию.

Увели её как раз с «самодеятельности», и она ужасно тревожилась за судьбу старенькой, беспомощной «мамулечки», которая и разыскать её в тюрьме не сумела или не смогла. Лидочка была эталоном правдивости, благородства и невероятной честности. Это её качество оказалась очень пагубным в дальнейшем. Я её случайно встретила в 1947 году в городе Александрове, где она устроилась жить с чудом уцелевшей «мамулечкой», и вызвала к себе в Рязань, где я только что начала работать преподавателем английского в пединституте. Я по поводу её успела поговорить с худруком Рязанского театра, вложив в переговоры свою страстную убеждённость. Мы всё прорепетировали дома, но, как потом оказалось, она всё же призналась в своей робости и в том, что отстала от театра, а главное – что она очень близорука. «Не могла же я, Адочка, так некрасиво его обмануть!»

Он её вежливо выпроводил, а потом вызвал меня (я ждала Лидочку в приёмной) обратно в кабинет. «А вот с вами я наверняка сработался бы – бросайте свой институт и приходите в театр!» Ошеломлённая неожиданным поворотом дела, я сказала, что люблю и довольна своей специальностью, привязалась к студентам, никогда их не брошу, но буду рада, если он мне поможет поставить на вечере английский спектакль...

Наш этапный день начинался рано, но не всегда в одно время, а в зависимости от стоянки поезда. Утром нам давали в дверь, у которой выстраивались по очереди двое дежурных, бачок с кипятком, мешок с нарезанными пайками хлеба и горстью сахара. Всё раздавалось. Сахар был обычно пилёный, низкого качества, и на душу выходило по полтора-два кусочка на день. Кипяток выпивали сразу же по одной пиале, а если ещё оставалось, получали добавки, которыми умывались, то есть поливали ложку воды на какую-нибудь тряпицу и ею утирались. Никакого умыванья не полагалось от бани до бани.

После этого завтрака нам просовывали ведро с небольшим количеством грязноватой воды, вонючую тряпку и поломанный веник. Этими средствами мы должны

были производить уборку вагона. Конечно, уборка была несложная: кое-как протирали мокрой тряпкой пол (мусору неоткуда было заводиться!) и главным образом следили за чистотой уборной, чтобы не начались заболевания. А уборной нашей была обитая железом дыра в углу пола, невдалеке от которой спали нижние жильцы, и поэтому, конечно, придирчиво следили за её примерной чистотой. Таким образом, львиная доля воды для хозяйских нужд уходила именно туда. Вода была часто из какого-нибудь болотца или канавы, возле которой мы останавливались.

После уборки вагона каждый прибирал на день свой узелок вещей, служивших ночью постелью.

Днём, тоже в разное время, нам давали обед – бачок со страшно солёной похлёбкой из хамсы с мизерным количеством крупы или картошки и по одной сухой вобле. Даже при нашем голоде мы старались как можно меньше есть супа, так как он вызывал дикую жажду.

После обеда, ближе к вечеру, нам давали ещё раз бачок с кипятком или питьевой водой, и на этом наш рацион оканчивался – наступало свободное время.

Освещения не было никакого, и в угасающих сумерках кто-нибудь начинал рассказывать. Старались не бередить ран, избегали вспоминать свои допросы, горечь и унижения, связанные с тюрьмой. Конечно, иногда срывались, и матери рассказывали о своих брошенных детях, не могли не плакать, а тогда плакали все, потихоньку каждая о своём...

Мне сравнительно повезло, и в нашем вагоне не было ни истеричек, ни хулиганок, ни озлобленных грубиянок. Много рассказывали о своей прошлой жизни. Харбинки – про жизнь, где девушки кончали гимназию и вскоре выходили замуж. Как у всех были хорошие квартиры, куда китайские торговцы приносили продукты и товары на дом, и не сразу брали за это деньги, а кланялись и говорили: «Мадама холосая, не обманет, а моя подоззёт!» Каким-то непостижимым образом они знали (не записывая!) до последнего грошика, сколько им задолжали «холосые мадамы», и примерно раз в месяц приходили

и смиренно садились в углу кухни, ожидая от «холосых» уплаты долга. Жили харбинки со всеми удобствами, были очень хорошо одеты и казались нам иностранками. В темноте многие смелели и рассказывали о своих встречах, судьбе.

Муся Ковалёва, единственная из нашей камеры попавшая со мной в вагон, вспоминала о своём браке с довольно странным холодным человеком, которого она называла по-английски Simon (Саймон). Я ей говорила о своих чудных путешествиях с Серёжей, о нашем счастье на фоне снеговых кавказских вершин, то на озёрах курорта «Боровое», то на Днепре или в прелестном местечке Мышкино (которое, смеясь, называли Мышкинобадом) на Волге, против Углича, наверно сейчас затопленном водохранилищем*.

Иногда просто лежала в темноте и вспоминала день за днём всю нашу короткую счастливую жизнь и под эти мысли засыпала.

Бывали случаи, когда мы играли в разные игры, импровизированные или настоящие, и даже рассказывали анекдоты и смешные случаи. Смеялись. Юмор был нашей защитой и известной бронёй от происходящего. Лидочка говорила стихи, наизусть рассказы Чехова; Ниночка танцевала, если было светло; толстушка Аня, студентка Московской консерватории, прелестно пела в те минуты, когда поезд останавливался среди поля и это не грозило неприятностями. Было у неё меццо-сопрано красивого тембра, которое она совершенно потеряла в дальнейшем на Колыме от простуды и постоянного холода. А вот художница Нелли попала и вагон больной туберкулёзом лёгких, и не только выдержала восемь трудных лет на Колыме, но окрепла и поправилась.

Все мы деятельно распарывали старые изношенные майки, распускали чулки и учились вязать. Моя соседка Муся ухитрилась из футболки связать себе красивым узором кофточку. Я научилась вязать бюстгальтеры

---

* Городок Мышкин Ярославской области находится ниже Углича по течению Волги и, к счастью, сохранился.

и обучала этому других. Были у нас даже иголки, сделанные из рыбьих костей при помощи чудом уцелевшего кусочка лезвия, запавшего через дырку в кармане в толстый, плохо прощупываемый подол моей цигейки и выручавший нас сейчас. Штопали до дыр проношенное бельё и платье, иногда даже пели хором: «Часы считать – часами мерить, я научусь в разлуке жить! Я буду ждать, я буду верить, я буду помнить и любить...» и т. д. Но обычно песня эта тоже кончалась слезами.

Примерно каждую неделю наш эшелон останавливался на подступах к городу. Открывали двери вагонов, настилали трапы, и мы неверной походкой спускались на землю. Какое это было счастье, многими впервые осознанное, – подставлять лицо солнечным лучам и ветерку, вдыхать чистый весенний воздух!

Если баня была близко, нас выстраивали по четвёрке в ряд и под конвоем охранников с собаками вели по улицам города; если далеко – сажали на открытые грузовики. Всюду, где появлялись, мы вызывали жадное любопытство – ведь сплошь молодые женщины, и в большинстве интеллигентные лица. Как только отрывали глаза от земли (смотреть по сторонам было очень тяжело!) – встречались с лицами, полными страха, любопытства и острой жалости. Неприязни было мало.

В бане – это уже были не образцовые бани Бутырок – обычно давали кусочек мыла с пол-спичечного коробка, которым надо было вымыться самой, выстирать с себя всё нательное бельё и мокрой идти обратно. Потом мы сидели на нарах в пляжном виде и махали своим бельём, пока оно не высыхало, так как вешать было, конечно, негде.

С баней был связан и комичный случай. Одним из помощников начальника эшелона, который нас часто водил, был молодой лейтенант с приятным русским лицом, всегда чисто выбритым. Держался он подчёркнуто корректно, не кричал без необходимости и не носил маску неприязни. При очередной бане выяснилось, что в соседнем вагоне (вагоны в пути несколько раз отцепляли и перемещали) ехали всего несколько женщин, среди

которых была совсем ещё молодая, но неимоверной толщины пани Пшезовская. Конвоиры не заметили, что она не вышла со всеми, но, когда нас выстроили на плоском валу, переходившем в этом месте в железнодорожную насыпь, и пересчитали, выяснилось, что одной не хватает. Пани Пшезовская к тому времени устроилась на верхних нарах у окошечка в позе кустодиевской купчихи и сверху за всем наблюдала. Её соседки, с насыпи, знаками начали отчаянно её вызывать и даже называли по имени, но она отрицательно качала головой.

– Ну, что же она не идёт? – позабыв о дистанции, которая нас разделяла, спросил лейтенант.

– Она говорит, что не хочет, – сказала её соседка на ломаном польско-русском языке.

– То есть как это не хочет?! – вскипел наш лейтенант и легко взбежал по трапу, но зацепил ногой за перекладину, потерял равновесие и, боясь упасть и оказаться смешным на глазах у выстроенных на валу женщин, снова сбежал вниз.

Пани Пшезовская, не меняя позы, смерила его презрительным взглядом; мы, затаив дыхание и внутренне смеясь, следили за происходящим. Когда лейтенант вторично взбежал по трапу и очутился на уровне «пани», та ему сказала что-то по-польски так выразительно и с такой неподражаемой мимикой и жестом, что лейтенант, слегка побалансировав у самой двери, так же легко сбежал обратно. Что она сказала – осталось тайной для всех, но победа была явно на её стороне, и лейтенант, видя наши улыбающиеся лица, крикнул: «Колонна, равняйся – шагом марш!» – и мы тронулись в путь.

Городов, которые проезжали, мы, по существу, не видели. Нас никогда не возили через вокзалы, очевидно, из страха, как бы мы что-нибудь не крикнули или не бросили записку. У меня был, как я уже писала, чудом спасшийся от обысков кусочек лезвия, нашёлся обломок карандаша, так что письма мы всё-таки писали и бросали, но были они на таких ужасающих клочках бумаги, что не привлекали внимания, и никто на них не откликнулся.

Ехали по запасным путям, а в баню, как я уже говорила, шли всякими закоулками.

Кроме Ярославля, где нам удалось обойти городской вал с частью старинной кремлёвской стены, все остальные города воспринимались только как чередование бань. Отлично помню только, как незадолго до Байкала мы остановились в поле. Весна была в полном разгаре, всюду появилась трава, цвели лютики и сибирские мохнатые колокольчики, воздух был одуряюще чист. Неподалёку буйно цвела черёмуха. В щель двери (нам её оставляли для воздуха) мы видели, как конвоиры выпрыгнули из поезда и начали охапками рвать черёмуху. Рвал цветы и наш лейтенант, а когда им дали свисток садиться в вагон, побежал мимо нашего вагона последним и сунул в щель большую ветку черёмухи. Мы просто глазам не верили и были счастливы.

После этой остановки среди поля мы ещё ждали у семафоров, без конца пропуская встречные поезда, такие же, как наши, с прильнувшими к щелям лицами, и наконец двинулись медленно вперёд. Прошли стороной большие станции, посёлки, и вдруг радостный шёпот с нижних нар: Байкал!!! Всю красоту этого священного моря мы, конечно, охватить не могли, так как у нас была только дверная щель с ладонь и два небольших зарешеченных окна. Но мы распределили каждый кусочек возможности и по очереди смотрели, смотрели и не могли наглядеться... Ехали мы вдоль берега в общей сложности несколько часов, были тоннели, но самым замечательным был кусок пути по краю отрывистого берега, где поезд шёл так близко над водой, что были видны стаи рыбок и камни на дне. Вода была чуть зеленоватой и чистой, как стекло. День был яркий, солнечный, без малейшего ветра, и мы все смотрели и восторгались. Были забыты на время всякие мелкие счёты, ссоры, стало легче на душе, и боялись громко говорить, чтобы не спугнуть очарование.

Байкал был нашим последним мирным впечатлением. В последующие дни, когда мы уже миновали Улан-Удэ и Читу, что-то изменилось во внешнем мире.

(Впоследствии я узнала, что как раз в это время были бои в районе озера Хасан с японцами.) Весь поезд был погружён в полную темноту, по ночам к нам врывался на стоянках (и даже в пути) конвой и при свете небольшого карманного фонарика выгонял с нар, обыскивал, а потом нас выстраивали и делали перекличку. Ухудшилось и без того скудное питание, уменьшили рацион воды, и несколько дней даже давали явно не питьевую воду, которую брали из паровозной водокачки. Было душно. Закрыли дверную щель и не разрешали показываться у окна. Ехали теперь большей частью ночью – несколько раз конвоиры с собаками обходили крыши вагонов. Мы слышали тяжёлый топот ног над головами и команды собакам. Прекратились все наши разговоры, развлечения. Мы сидели испуганные, и каждый про себя строил догадки.

Потом, через несколько дней, всё изменилось – нам снова оставили щель для воздуха и не очень отгоняли от окон. Появились станции с надписями по-еврейски, новый нерусский говор.

После Хабаровска в природе наступили всё более заметные изменения. Вначале мы обратили внимание на необычайные для наших краёв колокольчики. Втрое или вчетверо выше и крупнее наших, с мохнатыми лепестками красновато-розового цвета. Мы проезжали целые пригорки, сплошь покрытые мохнатыми головками. Появились и новые разновидности кустарников и деревьев. Приближался дальневосточный край, а за ним и Океан…

ТЕТРАДЬ ТРЕТЬЯ

Первый же прибрежный курорт нас поразил богатством зелени и красок. Мы ехали вблизи океана, видели с одной стороны роскошные сады, виллы, курзалы, рестораны, с другой – безбрежную водную гладь и пляж – и какой пляж! На дивном песке, который тянулся бесконечно, загорали, гуляли, купались. Среди бронзовых молодых фигур мелькали моряки во флотской белой форме. Мы были так заняты щелью и страстным желанием побольше увидеть, что в тот момент и не думали, каким мы являемся разительным контрастом! Места были великолепные, и назывались они, как мы потом узнали, Золотом Рогом.

Подвезли нас, как всегда, в уединённый тупик побочной ветки за городом, в холмы и песчаные осыпи. Вывели из вагонов, отобрали ложки и пиалы, снова пересчитали и приказали, взяв вещи, следовать за конвоем. Мы были около месяца без воздуха и движения, и к тому же полуголодные пять-шесть недель и, как только оказались в шубах (некоторые), да ещё с узлами, наверху сыпучего холма, были просто не в состоянии нормально двигаться. От одуряющего свежего морского воздуха, солнца (был июнь) так кружилась голова и подгибались колени, что мы, невзирая на грозные окрики конвоиров, просто съезжали на заднице по песку вниз кто как сел, а вслед громыхали и катились наши вещички. Всё было так неожиданно, что некоторые сбивали с ног спускавшихся конвоиров и дальше скатывались вместе. Когда первые доехали до твёрдой земли и встали на ноги, не могли не смеяться, глядя на то, как спускаются остальные. Всё кругом было так ослепительно, жизнеутверждающе, и мы были так молоды...

Шли довольно долго снова по песку, потом через какое-то болотце по мокрым доскам, где оказалось, что

одни помогали переходить и даже тащили чужие узлы, а другие (чаще харбинки) захватывали лучшие места и отталкивали более слабых. Так мы тащились, еле успевая за конвоирами, пока в низине нам не представилась тяжёлая картина: колючая проволока в десять-двенадцать рядов, а за ней низкие замызганные бараки, отвратительные вонючие уборные, какие-то постройки, бочки и множество полураздетых женщин всех возрастов (было очень жарко). Среди них, как мы быстро узнали, были воровки, проститутки и рецидивистки. Был это Владивостокский транзитный пересыльный пункт.

Нас выстроили, пришёл начальник конвоя с нашими формулярами, сделали перекличку и по четыре человека в ряд пропустили через вахту. Как и всюду, была снова баня и прожарка вещей, но баня – одна для лиц обоего пола с перегородкой и дверью. Баню обслуживал пожилой мужчина, и когда нас, голых, впустили в женскую половину (вещи были отобраны), почти тотчас же потухла единственная электролампочка в потолке и сразу началась какая-то возня и барахтанье в дальнем углу у двери. Послышались крики, шлепки, кому-то зажимали рот – «подлец, не смейте меня трогать!» – и животное хихиканье в ответ. Свет включили через какие-нибудь две-три минуты, и до некоторых просто не дошло, что вообще происходило, так как дверь в мужскую половину была снова заперта и банщик начал раздавать мыло (пол-спичечного коробка!).

Новый барак, куда нас ввели уже «прожаренных», был, пожалуй, одним из наихудших, которые мне довелось видеть. Был он скорее похож на неприглядную конюшню с четырьмя небольшими узкими окнами вдоль стен. По бокам среднего прохода – сплошные нары в два этажа, грубо сколоченные из разных досок и горбылей. Длиной этот барак был, пожалуй, в две товарные теплушки. Широкий проход с глинобитным полом оканчивался с обеих сторон воротами, что усилило представление о конюшне. Мебели не было никакой, кроме маленького стола в центре, который служил для медицинских нужд при обходе медсестры, а чаще пустовал. В одном конце прохода

стоял бак с питьевой водой и кружкой на цепочке, в другом – двуколка с котлом для супа.

При нашем появлении оказалось, что все нижние нары заняты. Нас разместили на верхних, куда каждый залез как умел, так как лестниц не было, – пользовались зарубками на боковых стойках.

Моей соседкой снова оказалась Муся Ковалёва, а Циля Ершова поместилась где-то поблизости. Как только мы слегка освоились на новом месте, начались расспросы живущих в бараке: кто мы такие, из какого города, чем занимались и, конечно же, «сколько дали»... Подо мной, на нижних нарах оказалась небольшая группа молодых женщин из состоятельных еврейских семей Ленинграда, интеллигентных и образованных. Были почти все они совершенно непрактичные, неумелые в быту и белоручки. Среди них была Ирочка Иоффе, с которой меня в дальнейшем судьба свела в Эльгене, и Гета Иммерман. У Геты были чрезвычайно красивые карие бархатистые глаза, привлекательные черты лица, и обладала она густой шапкой вьющихся волос. Портила её излишняя полнота, которую не скрадывал даже высокий рост. Муж её – литературный критик или редактор, тоже был арестован, а дома осталась её мать с маленькой дочкой. Была Гета хохотушкой и неистощимо жизнерадостным человеком, невзирая на обстоятельства. С ней мы тоже попали вместе на Эльген и не раз жили или работали вместе. Мне же пришлось в дальнейшем получить на её имя открытку, где совершенно посторонние люди её разыскивали, чтобы сообщить, что на их глазах фашистские звери-каратели убили и бабушку, и подростка-внучку. Произошло это в Ростове-на-Дону, куда они сбежали из осаждённого Ленинграда. Но об этом в своё время...

Напротив нас на нижних нарах лежала грузная пожилая женщина со следами былой красоты. У неё было несколько сердечных припадков, и к ней приходила медсестра делать уколы. При перекличке оказалось, что это жена Белы Куна.

В другом углу у входа лежала какая-то «ясновельможная пани» со звучной княжеской фамилией. Устроила

она себе на нарах настоящий белый катафалк из собственных чемоданов и драпировок из марли. Нам было непонятно, как она ухитрилась достать такое количество дефицитной марли, но вскоре выяснилось, что «пани» проживает на пересылке не первый месяц, что она меняет свои вещи у воровок и проституток и особенной нужды не терпит. Была она гораздо лучше нас одета, держалась гордым особняком и до разговоров не снисходила. А то, что марля была если не настоящим спасением, то во всяком случае необходимостью, мы выяснили очень скоро. Клопы!!! Их было такое множество, что падали сверху в суп и ползли по полу длинными рядами. На нас, новеньких, они набросились так остервенело, что ни лежать ни сидеть на нарах было невозможно.

Познакомившись с бараком, мы, новенькие, конечно, бросились осматривать то, что было вокруг него. Между стенами барака и в рост человека натянутой по столбам колючей проволокой оставалось небольшое пространство в два-три метра ширины. Травы на этой песчано-каменистой почве почти не было. От грязной вонючей уборной, где не было ничего, кроме зловонной ямы и четырёх кое-как сколоченных деревянных щитов без крыши, шла сточная канава под самыми стенами барака. Несмотря на присутствие хлорки, канава вся шевелилась от червей. Тут же роились громадные зелёные мухи. С другой стороны барака был ход на примитивную походную кухню, где варилась похлёбка, – и на водопроводную колонку. За супом, кипятком ходили по очереди двое дежурных. Ходили с большой охотой, потому что к той же колонке приходили по двое и мужчины из ближайшего барака.

Так Циля Ершова встретилась в первый и последний раз со своим мужем и вернулась счастливая, так как муж ехал тоже на Колыму, имел довольно бодрый вид и сказал ей: «Не унывай, Цилек, держи голову выше – ещё мы с тобой такие фруктовые сады на Колыме разведём!» Хотя и было у него «всего» – как мы тогда думали – пять лет трудовых лагерей, и был он молод. Погиб он уже вскоре от дистрофии, очевидно, попав на один из приисков, где

самые здоровые, молодые и сильные не выдерживали больше одного-двух лет...

Тогда мы многого ещё не знали и завидовали Циле.

Произошло на пересылке и ещё одно событие. К нам явился «воспитатель» из КВЧ (культурно-воспитательная часть) и объявил, что нам разрешено отправить по одному письму с двумя-тремя фразами домой, самым близким родным – отцу, матери, мужу. На адресе должна была стоять та же фамилия. Начался ажиотаж – как достать открытку или клочок бумаги для треугольничка? Денег ни у кого почти не было, и начали мы, голодные, менять свои пайки хлеба – единственную на пересылке ценность, так как сахара давали ещё меньше, чем в этапе, и нерегулярно. Нашими благодетелями при обмене были те же воровки и проститутки, которые жили на ином режиме и днём даже ходили на работу в город.

Из писем этих, как выяснилось после, не дошло ни одно, а пострадали от обмена хлеба многие. Ведь кроме хлеба и кипятка, мы почти ничего не имели, а похлёбки были такие недоброкачественные, посуда так плохо мылась, что начались поносы, рвота, дизентерия. Выносили из барака и отправляли в больничную палатку только с очень высокой температурой и сильной рвотой или потерявших сознание. Остальные боролись с болезнью сами; обычно переставали и вовсе есть или меняли ту же пайку на кусок сахара иди завалявшийся кусочек чёрствого белого хлеба. По ночам бредили, стонали и неимоверно мучились от духоты и клопов. Освещения никакого не было, а если и заводился какой-либо огарок, то его всячески отгораживали, чтобы в темноте не блеснула щель. Наши уголовницы объясняли, что и в городе неспокойно, введён комендантский час и проводится затемнение (Хасанские события).

На вторые или третьи сутки пребывания на пересылке свалилась и я. Ни рвоты, ни особого поноса у меня не было, но началась страшная головная боль с очень высокой температурой, и я бредила. Муся меня не бросала, достала даже два пилёных кусочка сахара и поила

меня сладковатой водой. Каждый раз, приходя в сознание, я её умоляла не отсылать меня в больничный барак, где была большая смертность, и во время поверок она меня подпирала вещами и поддерживала, чтобы у меня был не такой больной вид. Последнее вряд ли было так необходимо – нами не особенно интересовались.

Когда на третий или четвёртый день я начала приходить в себя, оказалось, что я так слаба, что хотелось только спать. Даже голода особого я не чувствовала! Выяснилось, что спать на нарах с клопами такая мука, что все начали вылезать на улицу и спать просто на земле, где это было возможно. Слабая, шатающаяся и доведённая до отчаянья бессонницей, я ухитрилась стащить одну доску с нар, а вторую, коротенькую, нашла где-то в углу под колючей проволокой. За спанье вне барака нас особенно не преследовали, а может быть, и не вникали в то, что мы делаем после поверки. К тому же были сторожевые вышки и овчарки. Лишь бы было абсолютно темно и тихо. Свои добытые две доски, из которых одна была в мой рост, а другая значительно короче, я примостила над сточной канавой, там, где было посуше и почище. Положила на доски цигейку, ботинки и узелок под голову, вздохнула и с облегчением вытянулась всем телом. Впервые за эти месяцы почувствовала приятную лёгкую усталость. Были простор и воздух. Пропало всё окружающее, я, наконец, оказалась совсем одна, сама с собой и своими мыслями.

А мысли были отрешённые – где-то за пределами сознания; была тупая боль за происшедшее и острая незаживающая боль разлуки. Но сознание возводило защитную стену против боли, и всё, истерзанное и отчаявшееся, радовалось этой защите, возможности просто по-человечески отдохнуть. Всё раздваивалось и распадалось на загнанное в подсознательное и на ширящуюся лёгкость, отделявшуюся от тела и уходящую ввысь. А ночь была тихая и ясная – светила луна, Млечный путь завершался еле мерцающими мелкими звёздами и уводил мысль ещё дальше в безбрежность дальних неведомых миров. Захватывала величавая красота неба, тайна

вечности и несовместимости этого с нами тут, внизу, в виде ничтожных песчинок в океане жизни.

Мысли роились смутными и расплывающимися, не было воли и сил их конкретизировать. Хотелось одного: спокойствия небытия.

Затекли от неудобной позы ноги, и со спины пришлось повернуться на бок. Запомнилось, как ползли по земле тени вышки, похожие на ноги громадного паука, и, разбиваясь, исчезали возле скрюченных тел, лежащих на земле. Внезапно по лицу пробежал нежный лёгкий ветерок и донёс неизъяснимо сладостный запах солёной воды и водорослей. Я повернулась лицом в сторону моря, ещё раз потянулась и забылась сном.

На следующее утро только и было разговоров, что о ночном мужском этапе. Выяснилось, что ночь была так тиха, что неспавшие ясно слышали, как где-то вблизи готовили отправку на Колыму и выкрикивали фамилии. Мы к тому времени уже хорошо знали семейные обстоятельства друг друга, и одна молодая украинка, тоже Муся, клятвенно меня уверяла, что слышала фамилию, имя и отчество моего брата. На самом деле это было невозможно, так как мой брат, Владимир Александрович Федерольф, был арестован за месяц до меня и получил приговор «10 лет без права переписки», что являлось шифром расстрела. Он был начальником артиллерии 27-й стрелковой дивизии, имел награды (золотые часы и золотое оружие «доблестному воину советской армии») и под командой Тухачевского воевал весь 1919 и 1920 годы в 5-й армии против белой армии, пройдя в труднейших условиях Гражданской войны от Урала до Владивостока. Вернулся он тогда в семью в высоком чине с тремя ромбами, с боевыми наградами, но тощим и завшивленным, так как дважды перенёс на ногах тиф. Приехал он к нам в голод и холод и, на наше счастье, ухитрился привезти масло и рис (продукты во время его болезни охраняли его боевые товарищи, любившие его и уважавшие), чем быстро поставил на ноги родителей и сестру и спас меня, лежавшую тогда в брюшном тифе. Могла я есть один рисовый отвар, и рис оказался спасением.

Помню, как его заставили вымыться, после чего одели в наши девичьи ночные рубашки и трусы и в папины старые брюки, которые ему еле доходили до икр. Шинель же и всё снятое с него мама положила в духовку для домашний прожарки. Каково же было наше изумление, когда среди смеха и рассказов – брат был чрезвычайно эффектен в такой одежде – вдруг послышались выстрелы на кухне и брат с воплем: «Вы не вытащили патроны из карманов!» – бросился вон из комнаты. Забавно, что в те революционные годы мы так привыкли к неожиданностям, что при первом выстреле мама бросила взгляд на окно и сказала: «Господи, кто же на *этот* раз стреляет?»

Теперь каждую ночь кто-нибудь не спал и дежурил, а наутро говорил запомнившиеся фамилии. Очевидно, начали разгружать транзитку и перебрасывать рабочую силу на Колыму. Был уже конец июля, и мы знали, что скоро наступит и наша очередь. Хотя мы и страшились нового и неизведанного, но жизнь на транзитке была настолько омерзительна, мы были свидетелями такого разврата, цинизма и жестокости уголовниц, что ждали отъезда как избавления. К тому же была жара, увеличилось число заболеваний и смертность.

На этот раз нас почему-то вели днём по улицам окраины и перед самыми окнами жителей. Колонна была очень длинной, и, как ни старались головные соразмерять шаг, приходилось ждать и даже останавливаться, чтобы дать слабым и больным возможность догнать. У калиток, ворот и в окнах стояли одни женщины (мужчины были на работе); там, где мы проходили особенно близко, нам совали в руки лепёшки и хлеб. Многие плакали: «И за что вас только ведут, бабоньки!» Послышался и настоящий вопль: «Мы за вас, за невинненьких, Богу молиться будем!» Как ни крепились, конечно, плакали и мы...

Уже на подступах к морю нас всех собрали на большом пустыре, заставили сесть рядами на корточки и сложить у ног вещи. Приказали поднять руки. До сих пор не понимаю: зачем нужна была эта унизительная формальность? Потом кругом нас выстроили конвой с собаками.

Попавшие с краю и сидевшие на корточках возле самых собачьих морд белели от ужаса – ведь собаки были натасканы при первой команде хватать за горло. Так просидели мы, пока не пришло начальство, не проверило наши дела и не провели очередную перекличку.

Потом нас, наконец, вывели к морю в отдалённую бухту и посадили на катера, чтобы доставить на пароход «Дальстрой», который стоял неподалёку на рейде. Наверно, лезть по трапу было страшнее всего первым, ведь все были слабые, истощённые или просто больные: подгибались колени и кружилась голова. Помню, что я боялась смотреть по сторонам, чтобы не упасть, и лезла, почти уткнувшись в спину передней.

Осмотрелась я только на палубе. Вечерело. Солнце садилось в неприветливую серую мглу. Был небольшой бриз, нагонявший волну и затруднявший дыхание. От слабости мы все стали садиться на палубу – кто где стоял. Несколько человек, в том числе и я, сели у закрытого люка.

– Женщины, ради бога, отойдите от щели, мы задыхаемся! – вдруг услышали мы голос из-под ног.

Нагнулись – из щели прикрытого люка шириной в ладонь шёл жаркий, густой смрадный воздух. Значит, до нас в трюм уже загрузили мужчин, они задыхаются – следующими будем мы...

Мы попали на сплошные нары среднего трюма все вперемешку и в страшной тесноте. Крепко держались друг за друга, чтобы не попасть с уголовницами. Муся была снова рядом, и, к счастью, недалеко находилась лесенка наверх, откуда в трюм проникал воздух. Не помню, как мы отчалили; измученные и слабые, все сразу же забылись тяжёлым тревожным сном. Когда мы проснулись, пароход был в море и сильно качало. Выдали нам хлеб и даже принесли тазы с кашей или макаронами – их ставили прямо на нары, иногда на лежащие тела. Некоторое сгоряча поели, но на другой день началась морская болезнь и снова понос. Поноса мы боялись больше всего на свете, так как он вынуждал ходить на верхнюю палубу. Уборной обычной нам, конечно, пользоваться

не разрешалось, и на верхней палубе, на корме, в том месте, где не было поручней, установили на самом краю два щита по бокам, а спереди протянули верёвку от ближайшего столбика. Никакого сиденья, конечно, не было, да и не было в том нужды, так как время от времени корма кренилась и море всё смывало. Ходили мы по нескольку человек гуськом, держась за руки и за канат. Смотреть вниз никто не решался, и знали, что, потеряй равновесие в тот момент, когда опускали канат, ветер сможет сорвать любую, а та увлечёт за собой и остальных. Верхняя палуба была голая, как лысина, держаться было совершенно не за что, и матросы сюда не заглядывали. Конвоир стоял очень далеко, у входа в трюм.

Конечно, шторм был небольшой, но «Дальстрой» было старое полугрузовое судно, и каждая из нас по нескольку раз впадала в небытие и думала, что умирает. Но никто не умер среди женщин, что лишний раз подтверждало, что на Колыму посылали самую жизнеспособную рабсилу, не в убыток той пище и одежде, которую государство ей отпускало.

Возможно, что ехали мы дней семь, возможно и меньше – мне поездка показалась вечностью. Иногда в полудрёме видела снующих мимо нас людей, слушала, как группа здоровых блатарей играла в карты, щёлкая ими по нарам и переругиваясь.

Когда, наконец, миновав Охотское море, мы вошли в бухту Нагаева, уже на пути к Магадану, шторм утих, мы пришли в себя, даже что-то поели и начали готовиться к высадке.

Земля! Разве не то же испытывал Колумб, подведя свои каравеллы к незнакомому чужому берегу?!

Место, куда мы снова спустились по трапу, было каменистым и совершенно пустынным. Нигде не было видно ни одного дерева. Росли низкие кустарники, мхи и жёсткая жухлая трава. Дороги шоссейной тоже не было. Мимо нас с парохода пронеслись, трясясь и подскакивая на ухабах, две старые разбитые полуторки. Не было никакого жилья, если не считать натянутого для грузов брезента и при нём сторожевой будки. Не было вообще

ничего. При небольшом воображении можно было подумать, что мы – первые люди, попавшие на эту землю, её первооткрыватели, и нам суждено в самом ближайшем времени вгрызаться в неё, использовать её возможности. А пока земля эта лежала за низкими холмами, притихшая и ожидающая. Полны ожиданием были и мы, когда, взвалив на плечи узлы, гуськом потянулись по узкой каменистой дороге в гору.

Без начальства, которое уехало на одной из машин, наши конвоиры оказались довольно покладистыми. Нас особенно не гнали, и мы часто садились тут же, на краю дороги, чтобы передохнуть и подождать отставших, – да и самые молодые и крепкие были так изнурены, что еле-еле передвигались и тащили свои вещи.

Скоро за поворотом скрылось серое и неприветливое море, а впереди – всё то же: вьющаяся среди невысоких холмов дорога, невысокие кустарники, небольшие каменистые осыпи. Когда мы, наконец, дотянулись до того, что уже в те дни называлось городом Магаданом, перед взором открылась та же однообразная и серая картина. Ни улиц, ни какой-либо планировки тогда не существовало. Помню, где-то в центре стояли два наскоро сколоченных из досок двухэтажных дома, в одном было Управление дальневосточных лагерей, а в другом больница. Там и сям виднелись огромные брезентовые палатки, всюду лежали кучи камней, песка и строительных материалов. Начались сумерки, и рабочих было уже мало.

Поразил меня наш лагерный пункт внешней привлекательностью, вызванной, скорее всего, контрастом с неприглядностью пересылки во Владивостоке. Конечно, нас снова построили, была перекличка, потом баня и прожарка, отпечатков пальцев больше не брали. Уже вымытых, нас повели мимо столовой и разных служебных построек в жилую часть.

Было чисто, вокруг бараков разведены небольшие аккуратные газончики, окаймлённые низкими крашеными заборчиками. Сами бараки были построены по вагонной системе, то есть двое нар одна над другой, под ними небольшой проход, и снова так же. Выходные двери вели

в сени, где за перегородкой висели железные умывальники, а на табурете помещался бак с питьевой водой.

Бараки блатнячек стояли в ряд, каждый рассчитан на тридцать-сорок человек, и среди них оказались уже прочно обжитые. На окнах висели незатейливые марлевые занавесочки, на полу лежали сплетённые из тряпья коврики, а у некоторых были не постели, а настоящие пышные ложа, покрытые поверх одеял белоснежными простынями, иногда даже с кружевами. В изголовье возвышалась целая стопка подушек, венчавшаяся аляповатой по оформлению маленькой думкой с непременной надписью: «Спи мой ангел ненаглядный» или «Люблю тебя до гроба», «Спи и думай о твоей Аллочке». Для пущей наглядности среди цветов были вышиты ангелы и мужские или женские имена. На стенах обязательно висел коврик, вышитый крестиком или гладью, тоже с надписью. Коврики эти часто вышивали за хлеб кто-нибудь из 58-й. Особым шиком было иметь карточки детей, выкраденные у политических, о которых плели целые истории, что это их дети или младшие братья и сестры, что сами они дочери прокурора (особо частый вариант) или крупного директора, профессора. Но вот с юности потянуло на вольную жизнь, бросили семью и стали блатными. Обычно в этих историях не было и крупицы правды, но всех роднила необычайная тяга к домашнему мещанскому уюту с непременными вышивками и надписями, коллекцией карточек и «видиками»...

В Магадане была одна общая зона для всех статей, но отдельные для мужчин и женщин. Блатарей (урок) можно было сразу отличить от нас по многим признакам. Мужчины ходили, как правило, в щегольских сапожках с отворотами, за которыми помещалась финка и вышитый очередной дамой сердца кисет с кисточками, которые свешивались с отворотов сапог. Телогрейки были всегда «первого срока», но застёгивать их на пуговицы было дурным тоном. Её запахивали спереди и слегка поддерживали локтями и руками, засунутыми в карманы. Шапки были меховые, лихо надетые набок или еле держащиеся на затылке. Руки, ноги, грудь, спина как у мужчин,

так и женщин были в татуировках: бесконечные клятвы, даты встреч, имена, портреты и пейзажи с парусником на море, далёкие горы и встающее из-за них солнце. Я помню одну молодую девушку в Эльгене, которая не снимала чулок в бане, так как ноги были сплошь наколоты похабными стихами.

Что было отличительным у мужчин – это необычайная походка: лёгкая, пружинистая, скорее кошачья, чем мужская, с небольшой развалкой и виляньем бёдер.

Женщины, как правило, были аккуратно и чисто одеты, носили под обязательной для всех телогрейкой свои кофточки или платья, всегда щеголяли в кожаных сапожках или кокетливых белых бурках, причёсанные и накрашенные. Признаком касты служили летом яркие косынки, а зимой пуховые платки, завязанные особым манером, так что узлы платка торчали спереди на темени большим бантом.

На работу за зону они выходили для видимости и совершения своих личных дел. Умели находить себе кавалеров и жить с ними в самых невероятных, неподобающих местах и под самым носом у начальства. Если их принуждали что-то делать, для них неприятное, они пускали себе под кожу керосин и вызывали опухоли, – не останавливались ни перед чем. Одна очень молодая девушка в Эльгене на моих глазах, смеясь, отрубила себе палец – правда, на левой руке.

И мужчины и женщины околачивались в городе (да и вообще всюду) или были в зоне на самых лёгких и хлебных работах: в каптёрке, кладовой продуктов, на складах, хлеборезках и т. д.

Где только возможно – играли в карты и иногда проигрывали знакомых женщин, но об этом я ещё скажу дальше.

Для общения, помимо сверхъестественного мата с этажами, в котором женщины, наравне с мужчинами, проявляли истинную виртуозность, не повторяя, а всё время изобретая новые наслоения, был своеобразный язык, русский по этимологии, но непонятный за пределами касты. Бытовали слова явно иностранного происхождения,

как «ксива» – письмо (древнееврейский), фраер – любой *не* блатарь (слово, встречающееся очень часто у Чосера в XIV веке в Англии, но с иной семантикой) и просто новые словообразования: рубать – есть, шамовка – еда, чапать – идти, лягавый – доносчик, кум – работник НКВД, скурвиться – изменить человеку, делу; качать права – сводить счёты и т. д. Жаргон был понятен любому блатарю независимо от его места жительства. Некоторые умели артистически угадывать принадлежность собеседника к тому или иному кругу и говорить с ним на его языке, употребляя вполне правильные литературные выражения, меняя голос, интонации, да так, что, не зная с кем вы имеете дело, можно вполне поверить, что с вами говорит интеллигентный человек, случайно попавший в беду.

В столовую блатнячки ходили только в полосу невезения и считали это постыдным; большинство имели свои миски, чайники и получали от своих сожителей белый хлеб, масло, консервы.

В 1938 году Север хорошо снабжался продуктами, а у нас на Колыме было ещё много американских (Америка была рядом, через пролив!) мясных, овощных и фруктовых консервов. Конечно, нам всё это не попадало, но и мы имели хлеб, каши, солёную рыбу, макароны. Всё доброкачественное, но очень невкусное.

От наших уголовниц и проституток мы узнали, что нас, то есть 58-ю, «врагов народа», в Магадане не оставляют. Дают немного передохнуть и окрепнуть, а потом отвозят в разные отдалённые участки тайги, где нас всех ожидает лесоповал, тяжёлые строительные и хозяйственные работы, из которых худшая – засолка рыбы на морских пунктах. Относились к нам эти сытые и хорошо одетые «друзья народа» со снисходительным любопытством, сейчас же начали обкрадывать или выменивать на хлеб какие-нибудь заветные, ещё из дома вывезенные тряпочки.

Всё вышло так, как нам говорили. Разместили в необжитых новых бараках, дали по тюфяку с соломой

и солдатскому одеялу, накормили кашей, жидким супом, дали по семьсот граммов хлеба, куску сахара и солёной рыбы. Клопов не было. Разрешили снова написать домой или дать телеграмму только близким родственникам с той же фамилией. Распоряжение шло за распоряжением, мы не успевали ни о чём думать, лишь механически повиновались, и когда, наконец, поздно вечером разрешили спать – заснули в первый раз на этой неприветливой земле мёртвом сном.

Наутро, после завтрака, всех распределили на всякие хозяйственные работы: подметать зону, убирать мусор и ящики, мыть посуду, таскать воду и т. д. Меня и ещё человек шесть-семь, как наиболее рослых, отправили в прачечную стирать бельё, снятое с вновь прибывших. От работы, за исключением совсем больных, никто не отлынивал, такая была потребность, наконец, размять руки, ноги, двигаться и что-то делать. Меня сперва ошеломили громадные котлы в прачечной, и я с ужасом подумала, что я понятия не имею как в таких котлах – и с чем? – кипятить бельё. Но за котёл для парки, слава богу, взялась неизменная моя спутница Муся Ковалёва, а мне досталась обыкновенная стирка. Дали, не скупясь, настоящее мыло, и мы стирали до самозабвения, до крови, отбивая пальцы. Взяли себя сразу в руки и не разглядывали то, что стирали, чтобы не было тошноты, так как белье просто шевелилось от насекомых. Наша полная неопытность (мы были все такие домашние!) нас поставила в совершенный тупик на следующий день, когда оказалось, что мы не догадались сделать точные списки и теперь имели перед собой громадную кучу выстиранного и высушенного белья (конечно, неглаженого), с которой не знали что делать. Мы, прачки, посовещались и решили залезть с бельём на верхнюю площадку чердачной лестницы, собрать всех приехавших внизу и сделать вроде аукциона. Если возникали сомнения и двое или трое называли вещь своей, требовалось дать дополнительные указания – где дыра или где не хватает пуговицы и т. д. Аукцион прошёл оживлённо и даже с шутками, а что удивительнее всего – без недоразумений: каждый

был готов скорее отказаться от своей вещи, чем взять по ошибке чужую.

Режим в этом новом лагере был не особенно тяжёлым. Мы могли свободно ходить по очень большой зоне, заходить в другие бараки, разговаривать. Что-то не помню, чтобы были поблизости собаки – ведь нас от материка (как все называли обычную землю) отделяло море или непроходимая тайга – лучшие сторожа, чем даже собаки...

Раз как-то совершенно одуревшая от безделья охрана решила то ли подшутить, то ли получила такое распоряжение, но после отбоя нас выстроили у умывалки и с полотенцами и зубными щётками отправили неподалёку... корчевать пни! Мы обвязались полотенцами, чтобы освободить руки, и были в полном замешательстве – что делать. Пни цепями выворачивал трактор, а наша задача заключалась в подрубке корней. Но топоров нам не дали, лопаты были тупые, а лома ни одна из нас не могла поднять. Так и провозились мы до полнейшей темноты и уже при свете прожектора вернулись домой в барак. Запомнилась мне эта ночная вылазка из-за своей полной бессмысленности. Думаю, что всё-таки это была «шутка», так как нам не дали вернуться в барак отнести умывальные принадлежности, а конвоиры хохотали и говорили: «Щёточки вам могут понадобиться».

Как я уже говорила, можно было послать домой по письму или даже телеграмме, и снова мучительно встал вопрос денег. Где их взять? Я продала с себя единственную старенькую комбинацию, но за неё дали гроши, и денег на телеграмму не хватило, а хотелось послать именно телеграмму, так как письма шли по месяцу и только до ледостава. Я была просто одержима мыслью – где достать недостающие десятки копеек. Стоя в длинной очереди в столовой перед окошечком, где выдавали миски с супом, услышала за собой оживлённый разговор двух молодых женщин. Слова: «А я сегодня двадцатку заработала, немало!» – заставили меня встрепенуться, и, не отдавая себе отчёта в том, что я делаю, я быстро к ней повернулась и вежливо: «Скажите, пожалуйста, где вы деньги заработали?» Я тут же спохватилась, но было уже поздно.

Блатнячка отошла в сторону, смерила меня взглядом и, патетично разведя руками, гаркнула на всю столовую: «Девочки, она хочет знать, как я деньги заработала?!» – и в наступившей паузе, когда все повернулись в мою сторону, звонким, злым шёпотом: «За...ла, дура...» Грохнул хохот...

Можно себе представить, как это выглядело со стороны. Я была готова провалиться сквозь землю и заработала этой сценой кратковременную весёлую популярность...

Последующие несколько дней, что мы жили в Магадане, мы регулярно ходили по утрам на работу, но лагерного обмундирования нам ещё не дали, не имели мы и инструментов, а потому нас заставляли то складывать в кучи отходы пиломатериалов, то убирать ящики и мусор. О нормах разговора не было, и кормили нас ежедневно по среднему рациону, то есть сыты, конечно, не были, но и голода особенного не чувствовали. Помню, раз послали нас троих – Цилю, Мусю и меня (мы снова жили вместе) – собирать ботву на поле. Мы корзинами стаскали порядочную кучу и сели под небольшим кустарником отдохнуть. Было солнечно и ещё довольно тепло, и мы мирно разговаривали. Бригадир, давший нам задание, ушёл, и кругом никого не было.

Неожиданно раздался свист. Взглянув из-за куста, я увидала неподалёку от поля у дороги небольшой, наспех сколоченный из досок домик, а у порога плотного, средних лет мужчину, делавшего нам какие-то знаки и подзывавшего. Посовещавшись со своими, как быть, я решила как старшая пойти узнать, в чём дело. Как только я подошла к человеку, он быстро окинул взглядом совершенно пустынную дорогу и за руку втащил в дом. «Смотрю на вас, с этапа, видно, приезжие и голодные!» Я, конечно, соглашаюсь. «Так вот, возьмите и уходите, а то нам запрещено с пятьдесят восьмой разговаривать», – и сует мне большой кусок чудного белого хлеба и маленький кусок дешёвой колбасы. Всё произошло в одно мгновение, и я только успела выдохнуть «Спасибо вам!» и, оглянувшись по сторонам, бросилась через дорогу за куст к своим.

Девочки мои как-то замялись: «Ведь это вам дали!» Но какое это было блаженство – разорвать на три равные части этот мягкий белый хлеб, разрезать камешком колбасу и усесться есть! Мы ели медленно, стараясь продлить удовольствие. Хлеб был такой свежий, что мы закрывали глаза и, отрывая по маленькому кусочку, проводили им по щеке, по губам, вдыхали его запах. Белый хлеб! Основа основ, а мы его не видели со дня ареста, то есть уже полгода. Наши пайки чёрного, часто сырого, плохо пропечённого хлеба, конечно, ни в какое сравнение не шли. Так мы его и съели, никем не потревоженные, а потом Циля и Муся обняли меня, и мы все заплакали.

ТЕТРАДЬ ЧЕТВЁРТАЯ

Когда, наконец, выяснилось, что из нас готовят этап в тайгу и даже проскользнуло название Эльген, мы начали жадно собирать сведения о таёжных пунктах. Блатнячки категорически заявляли, что это «хана» и, кабы их самих туда послали, они бы себе «поотрубали руки». Те немногие «кртд», застрявшие на пересылке, рассказывали, что, с одной стороны, это очень тяжёлая работа, но с другой – свежий воздух, облегчённый режим, даже кино и книги.

Конечно, мы внутренне шарахались от первых сведений и обретали небольшое успокоение от вторых и главным образом боялись попасть на какую-нибудь далёкую командировку в полном одиночестве. Тюрьма, пересылки и трудный этап вызывают обострение чувств. Хотя совершенно разные по образованию, положению и возрасту, мы уже считали близкими тех, кто разделил нашу участь, верили им и привязались. В хаосе враждебных неожиданностей это чувство локтя, товарищества было не только единственным оставшимся от человечности, но и источником сил и мужества. Только бы не отстать от своих, попасть вместе хоть с кем-нибудь «своим»! Когда при вызовах сблизившиеся в тюрьме или этапе попадали вместе, они обычно радостно и подбадривающе улыбались друг другу, незаметно жали руки. А оставшиеся себя чувствовали уже отрезанным ломтём, брошенными, чужими, со слезами прощались. «Так вы запомнили фамилию? Расскажите ему всё, что было». – «Если доведётся встретить вам моего мужа, скажите, что верю во встречу, что дети здоровы и остались с мамой». Последнее обычно говорилось теми, кто был арестован после мужа, за него и мечтал где-то увидеть этого любимого человека или хоть передать весть о себе.

Конечно, такие встречи были необычайно редкими, но каждой хотелось в них верить. Сколько раз мы таким образом прощались, плакали, обнимались, чтобы потом выяснить, что вызывали просто в другой барак, вагон. Потом, пережив разлуку, мы вновь радостно встречались, чтобы через некоторое время сидеть на своём узелке и с дрожью в сердце слушать очередной вызов, снова бросать прощальный взгляд и отходить в сторону уже вызванных с жалким, тоскливым чувством нового одиночества. Некоторые разлуки я просто физически ощущала. Сперва, после выклика фамилии, холодок в затылке, который тихо сползал по спине, потом ёкало сердце и медленно проступала дрожь. Чуть-чуть подташнивало...

Так мы холодели от страха после очередных формальностей при виде начальника этапа, появившегося с толстой папкой наших «дел» и формуляров, и на этот раз. Но услыхав, в конце концов, в той же партии и свою фамилию, я вновь радостно обрела и Мусю и Цилю. Хотя все слегка одурели от того количества самых противоречивых сведений, которыми нас снабдили, всё же немного успокоились. Едем вместе!

А когда нас погрузили на три больших грузовика и мы тронулись в путь, мне стало любопытно и легко. Увидела себя со стороны и усмехнулась: Адка, Адка, куда же тебя занесёт на этот раз?!

Как часто и многие мне говорили, что ожидание мучительнее уже свершившегося и страх потери ужасает, пока она не произошла; а потом обрыв, а за ним лёгкость, может быть, даже и отчаянья – но лёгкость: больше уже терять нечего...

Покидая Магадан, мы проехали мимо обычных палаток, сараев, наспех сколоченных жилищ. Тянулось ровное, унылое, пыльное шоссе, но когда через некоторое время местность стала более гористой, появился первый, пока ещё невысокий лес, а затем водяные протоки и небольшие ручьи. Побережье Охотского моря в районе Магадана подвержено сильным ветрам, которые, не встречая естественных преград в виде гор или леса, обрушиваются и ломают неукреплённые строения,

засыпают снегом дома зимой и песком с мелким камнем летом. Это не даёт нормально развиваться деревьям, делает их узловатыми, кривыми, низкими.

Проехали первый прииск (их там было немало), протарахтели по деревянным настилам над небольшими, узкими каналами воды, уходившими вбок от дороги и завершавшимися странного вида постройками, навесами... Иногда видны были деревянные скаты-лотки. Там, где были постройки, темнели кучки снующих и что-то делающих людей. Мы въехали в просторную долину, где с одной стороны возвышался высокий лес, а с другой снова шли эти обрамлённые досками стоки воды. Появилось двухэтажное здание с просторным помещением внизу и открытой верандой на деревянных столбах вокруг верхнего этажа. Всё стало невероятно чужим и одновременно знакомым. Боже ж мой! Да ведь это живые клондайкские рассказы Джека Лондона! Аляска! Америка! Ведь эти стоки воды служили для промывки золота, а эти навесы и сарай над ними, очевидно, и есть то, что называется «открытыми карьерами»!

Пока нас не выгрузили из грузовиков, я с высоты кузова с необычайным любопытством разглядывала высоких загорелых мужчин в больших шляпах с полями, в широких брезентовых штанах. Некоторые курили трубки и имели хлопающие при ходьбе, пониже колен, брезентовые краги. Я даже зажмурилась от впечатлений. Кончилась Россия... и вот-вот из-за угла палатки появится настоящий индеец с убором из перьев, в одеяле и мокасинах, а там, у леса, тянется дымок от костра, где сидит скво и печёт на камне лепёшки. Если разобрать всё в отдельности, то, наверно, всё это было игрой моего воображения, но я по сию пору помню, что представшая моим глазам картина была точной копией тех, которые ещё с детства вставали перед моим внутренним взором при чтении Джека Лондона. И если бы кто-нибудь из этих загорелых мужчин заговорил на американском жаргоне старателей, я бы нисколько не удивилась.

Поразил меня, конечно, больше всего этот первый прииск – остальные были расположены значительно

дальше от шоссе, и ничего не было видно. Эти загорелые мужчины были десятники и бригадиры, частично завербованные среди вольных, а частично взятые из числа уголовников с лёгкими статьями. Многие из этих людей делали карьеру, получали большие деньги за перевыполнение плана, хорошо в то время питались. Им засчитывали один день за два, а то и больше, и таким образом срок сокращался в два-три раза. Близко с такими людьми я не сталкивалась, но знаю, что они нещадно эксплуатировали и измывались над основной массой работавших на приисках мужчин с 58-й статьёй и большими сроками. Эти основные гибли как мухи и жили в нечеловеческих условиях, совершенно бесправные, в полной власти у жестокости и произвола. Процветало взяточничество всех видов; начальство жило в специальных посёлках, созданных вблизи этих приисков, в довольно приличных условиях, каждый имел при себе штат обслуги из числа заключённых, но, конечно, тоже не из 58-й статьи. Тогда я всего этого не знала и воспринимала всё умозрительно.

Поместили нас на первой же стоянке не в самом посёлке, а рядом, в палаточном городке, куда свозили всех транзитных. В одной из палаток была устроена походная кухня, где на необструганных шатких столах нам выдали хлеб и по миске какого-то горячего варева. Был и кипяток. В палатках, где нас устроили на ночлег, вообще ничего не было, кроме одного грязного фонаря «летучая мышь». В некоторых палатках просто на земле были набросаны еловые ветви, в других – старые мешки и куски брезента, а в иных – вообще ничего. На ночь выставляли дежурного конвоира, который ходил по территории, но каждая палатка в отдельности не охранялась.

Помню, как в первую ночь меня напугал мужской шёпот у самого лица и как, вскочив в испуге, я увидала давно не бритого исхудавшего человека, который, приподняв край палатки, шёпотом спрашивал – кто мы такие, откуда, какая статья и какой срок, и тут же спросил, не встречалась ли в тюрьме такая-то. «Неужели нигде

не встречали? Ей тридцать два года, зовут Верой, фамилия такая-то? Если вдруг встретите дальше, скажите, чтоб берегла себя и что вы видели меня, её мужа», – и далее: «Не говорите только, где и как...» Утром другие рассказывали, что приползали в палатку и к ним, и тоже с такими же вопросами. Очевидно, вместе с нами привезли этап мужчин с 58-й для работы на прииске. Не знаю почему, но никто из нас не боялся, хотя каждую ночь могли и изнасиловать, и зарезать, а такое случалось, хотя тогда мы об этом не знали и не думали.

Теперь эти наши пункты кормёжки и ночлега – Атка, Мякит – стали большими посёлками, а посёлок Ягодное, на развилке пути в Эльген, чуть не районным центром с улицами, каменными домами и гостиницей. Тогда все эти транзитки имели несколько брезентовых палаток, кое-где уборные, умывальник и походную кухню в сколоченном из досок сарае.

Дорога теперь уже шла лесом. По обеим сторонам шоссе росли высокие лиственницы, пихты, ели и сосны. Попадались осинники, тополя и берёзы, последние были уже слегка затронуты осенью и отливали желтизной. По земле тянулись неказистые кустарники, целые поляны спелой брусники и мшистые кочки. Все пять дней, что мы ехали, почти не было дождя, днём было так тепло, что мы сидели полураздетые, да и ночью обходились без обогрева: ложились плотно друг к дружке, закрываясь своими пальто. Мучились только от того, что в машине сидели на досках и поотбивали себе довольно тощие зады. Когда толчки на ухабах были особенно мучительны, сползали на дно кузова и садились на корточки, но тогда было плохо видно, где мы ехали, и, превозмогая боль, мы снова лезли на доски. Одну часть пути у меня было хорошее место – крайнее, сбоку, у самой кабины, на которую я могла облокачиваться и тем умерять толчки. Чем дальше мы ехали вглубь, тем гуще и крупнее становился лес, иногда к самому шоссе подбегали холмистые отроги дальних гор. Конвоиры менялись, и, когда мы начинали барабанить в стену кабины, требуя остановки

по нужде, некоторые конвоиры не разрешали нам сходить с шоссе и всё приходилось делать на виду у всех, а раза два мы ехали последними, и нам дали забежать в придорожные кусты.

Какой был чудный, напоенный зеленью воздух! Мы даже успели немного нарвать брусники, хотя были и другие незнакомые ягоды, но их мы не рвали, боялись отравиться. В лесу мы впервые столкнулись с комарами, сразу же набросившимися на незащищённые участки тела. В дороге мы их не чувствовали, так как ехали быстро и по открытому месту. Потом мы в кузове угощали друг друга брусникой, любовались, как дивно природа создала каждую ягодку, как симметрично покрывали их лакированные листочки! Иногда, когда сильно припекало солнце, нас начинало укачивать, и мы впадали в дремоту. Какое уж было на ночёвках наше спаньё на жёсткой земле! А утром нас подымали ещё на заре в предутреннем холодке и росе.

Наконец горы, которые всё время чувствовались вдали, стали явно проступать всё ближе и ближе и подошли вплотную. Местность стала чрезвычайно живописной и напоминала Северный Кавказ. Шоссе теперь было местами высечено в скале, а с другого бока проходило по самому краю глубоких каньонов. Лес на дне каньонов рос уже могучими стволами, верхушки подымались выше дороги и застилали горизонт. Водитель гнал машину, чтобы легче брать крутые повороты и скорее добраться до мест, где могли разминуться машины. Тут это было невозможно, и я, сидя наверху у края кузова, замирала от ужаса, когда из-под колес вырывался большой камень, с шумом проскакивая на уступах, катился и глухо падал далеко внизу. Иногда на шум падения откликалось эхо. Сидела, вся сжавшись, и думала: «Неужели сорвёмся и так вот глупо кончим жизнь, даже не зная, где мы? – Нет, не может быть...»

На одном из поворотов неожиданно сверху скатился медвежонок, а за ним появилась довольно большая бурая медведица. Водитель громко выругался, притормозил и дал сигнал. Медведица подалась было на скалу,

но в этом месте не было расселин, да и медвежонок, прижав хвост, боком перебирая лапами, побежал вперёд. Тогда медведица, обернувшись на машину, злобно огрызнулась и бросилась догонять детёныша. Так они и бежали впереди, а водитель давал сигналы. В одном месте она собралась было спуститься задом, между кустарниками, в каньон и снова издала призывный звук, но медвежонку было весело бежать по ровному, и он не послушался. Медведи были непуганые, не знакомые с человеком, и просто трусили довольно медленно впереди, а мы ехали за ними. Наконец у подножья скалы появилась расщелина, и оба в ней исчезли.

После этой встречи скалы снова отступили, лес немного поредел, и начали появляться заболоченные места с высокими гнущимися кочками. Кочки имели круглую голову, суживались под ней и снова расширялись книзу. Высотой они были около семидесяти-восьмидесяти сантиметров, между ними росла грубая осока и хлюпала ржавая вода. В дальнейшем мне приходилось проходить такие болота, и надо было стараться прыгать с кочки на кочку, но ноги скользили по круглым верхам, а сами кочки гнулись. Требовало это большой сноровки – иначе надо было продвигаться низом, по ржавой жиже болота, огибая каждую и тратя в два раза больше сил и времени.

Перед самым Эльгеном лес снова отступил. Дорога шла по ровной долине, местами сильно заболоченной, деревьев было очень мало. Эльген занимал очень большую территорию, где, помимо постоянного лагеря, было ещё много разбросанных построек и служб. Лагерь находился в центре, а на расстоянии двух-трёх километров располагались и агробаза с теплицами и парниками, и конбаза, и молферма, и птицеферма, и автобаза с механическими мастерскими, и контора Управления, и, наконец, зэка́шная и вольная больницы. В небольшом отдалении, на крутом берегу Таскана, была баня. Мне привелось позднее жить и работать в живописном местечке Волчок, расположенном на том же Таскане, и тогда я остановлюсь на нём подробнее. Пока же, в этот

приезд, наши продвижения были так ограничены, что мы даже не подозревали, что рядом течёт река. Посреди Эльгена, по бокам центральной улицы, сливавшейся с шоссе, впоследствии построили домики-коттеджи для вольнонаёмных, но в ту пору вряд ли было много домиков; выросли они позднее и заселялись отбывшими срок и ставшими «вольными» гражданами, а в то время, думается, и вольных было мало.

Были мы, зэка́, была охрана, и были служащие Управления. Совхоз Эльген входил в систему Дальстроя, а Дальстрой был весь подведомствен тогдашнему НКВД. Кроме зэка́, которые попадали на Колыму с завидной лёгкостью, и сотрудников НКВД, получить визу на въезд было равносильно получению паспорта на выезд за границу. За всё моё пребывание на Эльгене я знаю только один случай, когда мать Наташи Соловьевой целый год с необычайным упорством, мужеством и силой материнского горя выстаивала в приёмных, наконец вымолила такую визу и приехала дней на десять навестить дочь. У Наташи была не очень строгая статья, и это тоже имело значение. А так никто не приезжал, и мы привыкли считать, что живём на острове, непроходимо отдалённом от «материка»...

Лагпункт Эльген, как я уже сказала, занимал очень большую территорию и был окружён высоким сплошным забором с колючей проволокой, с угловыми вышками для часовых. В середине забора были громадные ворота, через которые впускали и выпускали на работу, а рядом с ними вахта. Вахта – это небольшое караульное помещение с окном и печкой, где обыскивали зэка́. Через вахту выходили из лагеря вольнонаёмные. Вокруг лагеря были пустыри (потом они стали полями) и сырые, заболоченные низины. Внутри на территории обычно было грязно и мокро, после дождя из этой вязкой глины трудно было вытаскивать ноги. Только в середине, из конца в конец, утрамбовали гравием широкую полосу, на которой летом выстраивали всё население для поверки или перекличек. Бараков было очень много, да ещё мы, приехавшие, дополнили их число новыми. Была настоящая большая

столовая с кухней, починочные мастерские, карцер и даже клуб. Вдоль наружной стены территории позади бараков стояли уборные, сколоченные из горбылей, на пять-восемь мест. Ворота, перед которыми нас выстраивали, состояли наполовину из досок, а наполовину из колючей проволоки.

Вся унылость и безнадёжная обречённость будущего существования стиснула сердце. За воротами уже собрались целые кучки встречающих нас «стареньких», с любопытством нас разглядывавших. Мы же так устали от недосыпания и пятидневной тряски, что довольно апатично ждали, когда придёт начальник конвоя с нашими делами и передаст нас лагерному начальству. Снова была перекличка, потом по одному пропускали через вахту, где просматривали (в который раз!) наши жалкие вещички и делали обыск. Личный обыск не делали и не раздевали. Потом в зоне снова построили, уже перед пустым бараком, как всегда, далеко не лучшим для вновь приехавших, и по списку начали заполнять.

Позабыв усталость, все бросились занимать лучшие места; были и грубость, и страстные споры. Ведь каждый считал, что это его дом родной на восемь или десять лет, и было очень важно захватить нижнее место у окна и подальше от двери. Были места и полутёмные на вторых нарах, и около самых дверей. В бараках нары построены, как обычно, «вагонкой», посредине большая железная бочка из-под автола, переделанная в печь, у выходной двери небольшой тамбур и из него вход в умывальную, где на стене было пять-шесть рукомойников с железным сливом. В углу стояла сорокаведёрная бочка с водой и где-нибудь поблизости бак с питьевой. Днём помещение освещалось через небольшие окна, размещённые, примерно, на расстоянии двух метров друг от друга и затемнённые верхними нарами, а ночью – двумя довольно слабыми электрическими лампочками, висящими под самым потолком.

В тот же день нам предложили сдать верхнюю одежду и чемоданы в каптёрку и приказали получить на складе матрасники для набивки их сеном и казённые одеяла.

Выдали нам по одной простыне и по наволочке. Личного обмундирования ещё не успели привезти, и мы первое время были одеты как попало, частично в своём или в изношенных телогрейках. Матрасники набили сеном. Одеяла были разные, но не очень тёплые, и те, кто привезли из дома что-либо своё, меньше страдали от холода по ночам.

Вновь приехавшим давали несколько дней отдохнуть и не выгоняли на работу за зону. Прилично кормили, по первой категории: выполняющие норму в то время получали семьсот граммов хлеба, чайную ложку сахара или кружку сладкого фруктового чая. За завтраком давали по куску солёной горбуши, на обед крупяную похлёбку или щи, ячневую, перловую или пшённую кашу с чайной ложкой конопляного масла и иногда снова кусок рыбы или селёдки; на ужин – снова кашу или что-нибудь крупяное. Конечно, это не означало, что мы совсем отдыхали – нас ежедневно заставляли убирать зону, мыть посуду, пилить дрова для кухни, но норму не спрашивали, давали привыкнуть и набрать силы. Поэтому у нас было немного свободного времени днём, и мы осматривали зону и знакомились со «старенькими», попавшими в лагерь примерно за год до нас. «Старенькие» эти были сплошь «кртд», то есть у всех была «троцкистская деятельность». Нас поражало, что все они перевыполняли нормы, хотя последние были для нас иногда фантастическими, и за перевыполнение даже получали небольшие деньги. На эти деньги тогда можно было покупать сахар или подушечки, сухари, сало, хлеб и даже недорогую колбасу.

Была среди этих «стареньких» некто Надя Гарниц с несколько островитянской внешностью и копной мелко вьющихся волос. Надя Гарниц охотно давала всякие сведения, была общительна, жизнерадостна и хорошо работала. Все эти «кртд» держались особняком и большого интереса к нам не проявляли. Чувствовалось, что они прошли более трудные допросы, чем мы, дольше были подследственными и, возможно, лучше разбирались в происходящем. Все они были членами партии,

и большинство выполняли партийную работу, тогда как среди нас, новеньких, большинство беспартийных, много с КВЖД, специалистов и просто жён и матерей.

Эта же Надя Гарниц, видя наш ужас перед нормами и полную беспомощность, начала нам передавать лагерный опыт: на какие работы стремиться, от каких увиливать, как себя вести и т. д. Выяснилось, что основное – ладить с начальством, и в первую очередь с бригадиром, а уж хороший бригадир сумеет натянуть процент выполнения нормы – тут и на темноту скидка, и на дальность расстояния от места работы, и на почвенные условия, и прочая, и прочая. «Умный» бригадир на лесоповале приводит на участки, где рядом уже пилили, и не видит, когда штабеля сильно пополняются из старых запасов. На каждой работе было своё «уменье».

В этом мы убедились очень скоро, когда нас объединили в бригаду, дали бригадира, выбрав по формулярам инженера-строителя, и выпустили в лес на работу. Мы страшно старались, но уже через неделю все сели почти на голодный стол, так как наш бригадир не умела составлять наряды и со скрупулёзной честностью записывала только сделанное, а было это обычно очень мало. Мы приходили на вахту после работы измученные, грязные, еле держась на ногах, а «старенькие», с опытным бригадиром, уже свежие и чистые, сразу получали в столовой дополнительную, премиальную еду. Под конец наша Елена Николаевна собрала нас и сказала, что не может видеть, как мы из-за неё голодаем, что она попросит нас рассортировать, а сама пойдёт на самую трудную, грязную работу. Когда бригадир мог убедить десятника, что всё это происходит «для пользы дела», к этому иногда прислушивались.

Наш первый вывод на работу в лес стоит того, чтобы на нём остановиться более подробно. Подъем был обычный, в пять часов утра. Тридцать минут на то, чтобы одеться, умыться и заправить койку, тридцать минут, чтобы отстоять очередь и поесть в столовой. Развод начинался с гонга – били о брусок рельса. Перед вахтой выстраивались по четыре в ряд и колонной выходили

за ворота. Наступил уже сентябрь, и ночью стояли небольшие морозы. Слегка хрустели под ногами лужи, коркой вмятин дыбилась дорога.

Одеты мы были весьма причудливо. Некоторые были в щегольских фетровых ботах, а явившимся в лагерь в босоножках дали мужские бутсы или женские ботинки образца 20-х годов. Обмундирование, как я уже писала, ожидалось не раньше октября. Чулок и портянок не было, и пошли в ход полотенца и даже носовые платки. Юбки, кофты, платья были самые разнообразные, потом шли временно выданные чьи-то изношенные телогрейки, и завершался туалет иногда шляпой и уж обязательно перчатками, в большинстве случаев лайковыми, так как забирали нас в Москве весной.

За вахтой мы получили на каждую пару женщин по тупой пиле и тупому топору. Последнее обстоятельство было, пожалуй, скорее спасительным, чем неудобным. Я не особенно помню, как выглядел лес, настолько мы были поглощены предстоящей работой, только помню, что пришли мы на мшистую лужайку, обрамлённую довольно густо растущими высокими молодыми лиственницами. Откуда-то вынырнул десятник, объяснил, что мы должны с корня валить лес, резать на трёх- или двухметровки, обрубать сучья и складывать в штабеля, не меньше, чем по пять кубометров каждый. Норма на пилу – двадцать кубометров.

Бригадир разбила нас на звенья, попарно расставила и куда-то ушла. Остались мы одни в лесу в полном недоумении – с чего начать, и вообще что делать. Догадались довольно быстро, что «на пилу» – значит просто на пару – цифра 20 была настолько фантастична, что о ней даже не помышляли. Кое-кто робко спрашивал, какой стороной пилы надо «резать», некоторые, на всякий случай отойдя в сторону, пробовали размахивать топором. Были у нас в тот день только две работницы: маленькая сильная и чрезвычайно складная и ловкая Мария и крупная полька Владя. Только эти две взялись по-настоящему за дело и начали пилить. Мы встали полукругом и старались усвоить их движения. Задавали им

вопросы, на которые Мария с ухмылкой отвечала, начиная каждую фразу с «просто»: «Ну, просто берёшь пилу, подходишь к дереву, просто подрубаешь, а потом просто пилишь». Владя была злая и нагловатая, она досыта использовала момент инструктажа, чтобы выразить всё, что думает по поводу белоручек-барынь, неизвестно за что получающих в этой их Москве деньги. «Перчатки-то снять придётся, ра-бот-ни-чки...»

Поверив в Мариино «просто», мы неуверенно подходили к деревьям, сейчас же царапали и кровянили себе пальцы и снова хватались за спасительные перчатки. Я попала в одно звено с Цилей и Мусей, и, хоть не смогли мы в тот раз, кажется, свалить больше двух деревьев, и то с превеликим трудом, но, по крайней мере, не причинили себе никакого вреда. А соседнее звено, куда попали наши «литературные» ленинградки, являло собой печальное зрелище. К концу рабочего дня они всё же ухитрились спилить несколько довольно тонких деревьев, которые, запутавшись вершинами, повисли над их головами. Потом они заклинили все свои топоры и часть пил и, измученные, уселись, пытаясь развести в сыром мху костёр. Костёр у них тоже не получился... Когда же пришёл перед концом дня десятник замерять работу и спросил: «Где же ваш штабель?» – то Ира или Гета, неуверенно подняв к небу руку, робко ответила: «Вот... видите, почему-то всё повисло...»

Несколько лет спустя мы, вспоминая этот день, конечно, смеялись, но и ужасались нашей беспечности; ведь задуй тогда ветер – попадали бы эти сырые тяжеленные лиственницы прямо на головы!

Так мы и вернулись в тот день ни с чем. Измученные, с исцарапанными лицами, трёпаные, липкие от смолы и, конечно, в лохмотья изорванных лайковых перчатках! Не могу здесь не упомянуть, что через два-три месяца мы все научились прекрасно пилить, точно рассчитать на глаз, как должно упасть дерево, и совершенно бесстрашно направлять его падение длинным шестом, чтобы, оставив на месте тяжёлые комли, использовать стволы как рельсы, по которым катить к штабелю отрезанные

куски. Одно время я даже работала в одиночестве, научилась и пилить, и валить одна и ставила ежедневно штабель не менее трёх-четырёх кубометров. Правда, это было зимой в сильный мороз, что чрезвычайно облегчает пилку (нет липкой смолы, затрудняющей движение) и делает сучья упавшего дерева такими хрупкими, что часть отламывается при падении, а оставшиеся с хрустом отскакивают при лёгком взмахе топорищем.

Потянулись тяжёлые, однообразные дни, подобные описанному, после которых мы, полумёртвые от усталости, возвращались домой, съедали наши голодные обеды и в бараке валились одетыми на койку. К поверке вскакивали, стягивали с себя верхнюю одежду – лежать в ней на койках запрещалось – и в полудрёме отстаивали поверку, выкрикивали «есть», когда слышали свою фамилию, и по уходе дежурного снова валились спать. Жили в отупении: ежедневная изнурительная усталость и страстное желание выспаться.

Наконец, вернувшись с работы, мы услыхали радостную весть: новеньким привезли обмундирование. Воспрянули духом. Уже выпал снег, и работать в лесу в ботинках и без рукавиц стало мучительно. Мы уже научились разводить костры и во время работы то и дело подбегали греть руки, а то разувались и грели ноги. Но от огня обувь окончательно размокала, все себе натирали волдыри, а на пальцах появились трещины, которые саднили.

Кое-как поев, бросились в очередь перед каптёркой. Надо отдать справедливость лагерной администрации: хотя никто из нас в те дни не выполнял нормы и по лагерным законам не имел права на новую одежду первого срока, как это именовалось, нас одели во всё новое. Дали валенки, суконные портянки, ватные штаны, телогрейки, бушлаты, по платку или мужской ватной ушанке. Выдали грубое бязевое белье, от которого, пока не привыкли, чесалось тело, по ситцевой кофте и чёрной бумажной юбке. Конечно, не было никаких размеров, и конторщик выдавал всё на глаз. Даже выдали нам ватные рукавицы.

В бараке мы без конца мерили, налаживали всё мужское на женский лад и не могли не смеяться над некоторыми тоненькими изящными женщинами, которые перед сном продемонстрировали бязевые панталоны, спускавшиеся много ниже колен, и рубашки, подобные хранившимся у деревенских старух на погребение. Так некоторые и заснули в этот день в новых ватных штанах и телогрейках.

Новый ватный костюм, делавший меня неуклюжей и неповоротливой, едва не стоил мне жизни в один из последующих дней. Работала я в этот день в паре с новой серьёзной симпатичной женщиной, уже опытной в работе, терпеливо меня обучавшей выгодным и быстрым приёмам. К тому времени я уже следила, чтобы пила была острой, и, уходя, прятала её в снегу за штабелем, добыла себе удобный острый топор и перестала себя чувствовать беспомощной. Ходили мы некоторое время все в один и тот же лес, и возможность оставлять в лесу пилу и топор в значительной степени облегчала ходьбу. В тот день нам попался участок с необычайно крупными и высокими лиственницами. Росли они на пригорке, выступавшем из небольшого болотца с высокими кочками. Настоящего снегопада ещё не было, и всё кругом, хоть и было покрыто снегом, но он ещё не успел сровнять эти кочки в ровную гладкую поверхность. Мы, как всегда, надрубили и уже почти спилили дерево, рассчитав, как оно должно упасть в сторону своего прогиба и растущих крупных ветвей. Дерево глухо треснуло. Мы отскочили от него в разные стороны, но не успела я отойти примерно на метр, как дерево дрогнуло, неожиданно повернулось в мою сторону и, помедлив какую-то секунду, стало падать...

– Бегите же! – услыхала я крик откуда-то появившегося десятника.

Я бросилась бежать, но в своих громадных валенках и бушлате была настолько неповоротлива, что через секунду поскользнулась на кочке и растянулась. Я лежала на спине между двумя большими кочками и даже не могла откатиться в сторону, а на меня во всю длину уже

с угрожающим свистом падало дерево. Потом послышался треск, и меня, хлестнув по лицу, обдало снегом. Где-то рядом пронёсся вопль «а-а-х!» – и всё стало тихо. Я высунула сперва руки – целы... с замиранием сердца пошевелила ногами – двигаются; тогда высвободила лицо от снега и мелких ветвей и увидала свою напарницу, бегущую ко мне с искажённым от ужаса лицом. Рядом был и десятник, совершенно побелевший, с трясущимися руками.

Я встала.

– Я думал, от вас только мокро останется, как вам повезло! – еле выдохнул он.

Да, дерево было громадное, тяжёлое как свинец и, падая на меня, уже у самой земли попало голым стволом на те же кочки, с которых в десяти сантиметрах от меня скатилось в сторону. Меня лишь обдало лавиной снега и поцарапало мелкими ветками. Даже крупные ветки, в руку каждая, оказались в стороне. Меня ощупывали, трогали, глазам не веря. Я хотела пойти, но тут ничего не вышло – колени вдруг стали ватными и не слушались. Довели до пня только что поваленного великана, посадили. Началась нервная дрожь, я смеялась и плакала, стучали зубы...

По мере вырубки леса мы уходили всё глубже и глубже и наконец стали ходить так далеко, что возвращаться на обед было бессмысленно – слишком много времени тратили на ходьбу. Обед нам стали давать утром, при разводе. Чтобы не путать наши обеды с обычным завтраком для других, нам выставили наружу около столовой длинный деревянный стол. Одно такое утро запечатлелось, как фотографический снимок.

Пустынная тёмная зона, ещё так рано, что небо совершенно чёрное. Чуть-чуть мерцают звезды, а посередине неба во всём своём великолепии громадная луна, окружённая светлым нимбом, льющая фантастический, нереальный молочный свет. Мы, закутанные, молчаливо перешагиваем свою тень и садимся за стол, на котором длинным рядом стоят жестяные миски с супом и лежат куски рыбы. От пара стол покрыт тонким слоем льда,

и миски оставляют после себя тёмные вытаянные круги. Все движутся механически, продолжая на ходу спать. Хлеб уже за пазухой (чтоб не замёрз), в тряпицу заворачиваем солёную рыбу и кладём в карман. Редко кто ест похлёбку, обычно сливаем её в жестяной котелок, сделанный из консервной банки, и молча строимся у вахты. Нас выпускают, и мы долго идём по освещённой луной дороге в лес. По пути похлёбка превращается в лёд, и тогда мы прикрепляем котелок за поясную верёвку, чтобы освободить руки, и время от времени растираем себе щеки и нос.

Перед рассветом так холодно, что снег громко трещит под ногами, а если наступаешь на ветку, она ломается как стекло. Идём всё время молча. Говорить не хочется, и не о чем. Как только появляется опушка леса, стряхиваем с себя сон, деятельно ищем валежник, сухостой и разводим громадный полыхающий костёр. Пожара никто не боится – деревья стоят запорошенные, ветви гнутся под тяжестью снега. Искры от костра рвутся ввысь, и мне кажется, что там они встречаются со звёздами; а когда сыплются на нас, то кто-нибудь начинает искать на своей телогрейке тлеющее место. Пахнет смолой, дымом и немного гарью. Как только пламя костра снижается, мы накладываем сверху новую порцию толстых чурок, отгребаем вокруг него снег и ложимся спать. Говорить не хочется, каждый или спит, или думает своё. Уже, наверно, часов семь, но пилить нельзя, ни зги не видно, и у нас есть своё собственное время часов до девяти, когда снег начнёт синеть и на его фоне проступят стволы деревьев. Совсем светло станет часов в десять, а около одиннадцати над верхушками дальнего леса появится диск солнца и, описав небольшую дугу, уже около трёх часов снова ускользнёт за горизонт. Вот в эти светлые часы мы и работаем, и быстро работаем – подгоняет холод! Надо, чтобы кровь быстро курсировала по жилам, тогда разогреваются ноги, руки и не белеет кожа на лице.

У каждой пары есть свой маленький костёр на участке, но лучше греться у него как можно меньше – иначе оттаивает и мокнет одежда, рукавицы и от скачка

температуры болит кожа на лице. Во время работы, если замёрзнешь, лучше оттирать лицо и руки снегом. Когда солнце уже поднялось на горизонте, обычно повалена дневная порция деревьев, двадцать – двадцать пять штук, если они небольшого диаметра, и наступает перекур. У костра на углях примащиваем свои котелки с супом, куски хлеба натыкаем на длинные ветви и свешиваем их так, чтобы они слегка подрумянились. У каждой есть возле костра свой чурбак для сиденья. Едим медленно, сосредоточенно. Суп всегда пахнет дымом, а иногда в нем попадаются выпавшие из костра обгоревшие кусочки веток. Едим деревянными ложками, так как к оловянным липнет язык. Вот теперь все разговаривают. Рассказывают, вспоминают.

В лесу тихо и торжественно! Пара от пары стоит так далеко, что их и не видно, и не слышно. Но рассиживаться нельзя. Надо успеть распилить поваленные деревья и сложить в штабель, иначе пропала вся работа и её не засчитают. Торопимся. Лиственница – самое тяжёлое дерево, если не считать дуба; и нижние концы складываем вдвоём, а верхние – порознь. Научились быстро и ловко таскать: ставить кусок на попа, потом точно глазом определить середину, так чтобы при подхвате бревно слегка бы забалансировало на плече и ни одна часть не превысила бы – тогда легче таскать. Штабель сложен, правда, иногда недолговечно, но годен для приёмки. У костра тает в котелке снег, чтобы вымыть его и ложку. Быстро спускаются тени, уже бегут синими ручейками по темнеющему снегу. Как только сядет солнце, за нами придёт боец. Надо ещё успеть закидать снегом тлеющие угли. И вот поход обратно в зону.

Зимой, несмотря на тяжёлую работу и холод, было легче, потому что, во-первых, день был очень коротким (в темноте работать на лесоповале невозможно) и, во-вторых, при сильной пурге, ветре и при морозе ниже минус 53° (а позднее, в войну, ниже 55° мороза) в лес не водили. Кроме того, были дни отдыха в воскресенье, которых не было ни весной, ни летом, ни осенью. Летом, когда день был особенно длинным, мы работали

по двенадцать-четырнадцать часов в сутки и без выходных. Ну, да об этом скажу в своё время.

Не помню состава нашей тогдашней бригады, но мы как-то уже привыкли друг к другу и втянулись в работу. Изредка, неожиданно и по непонятным нам причинам некоторых вызывали на другую работу, а к нам приходили новенькие.

Помню, так отозвали работать на конбазу Иру Иоффе, то ли пожалев её молодость и послав её работать в сравнительно более лёгких условиях (ведь всё тащила лошадь, надо было только накладывать и сбрасывать, а в конюшне было тепло); то ли в мужских корыстных целях, так как на конбазе работали сплошь блатняки – молодые здоровые мужчины, приводившие к себе на работу своих блатнячек и помогавшие им в трудную минуту. Те из блатарей, которые не имели своих девушек, присматривали подругу из числа молодых хорошеньких 58-х, а потом довольно легко добивались их назначения на работу на конбазу.

Наша Ира, тогда очень молодая привлекательная девушка (студентка первого курса, изучавшая Восток и японский язык, и попавшая поэтому по литеру «пш») стала ходить, нам на зависть, на инструктаж на конбазу. При обучении (кажется, два-три дня) кто-нибудь из конюхов учил запрягать, распрягать и обращаться с лошадью.

Поскольку рабочий день на конбазе был длиннее нашего, Ира возвращалась в барак, когда мы, разутые и раздетые, уже отдыхали на своих койках. На третий день инструктажа Ира вернулась несколько смущённая, сказала, что работа на конбазе ей больше нравится, чем лесоповал, что она уже вполне научилась обращаться с лошадью, даже знает как засупонивать, – но вот никак не может понять, как «лошадь к саням присоединяется»... Раздался такой смех (у нас в бараке жили, помимо нас, и несколько человек с конбазы), что бедная Ира решила эту тему больше не продолжать. То ли по причине этой неразгаданной проблемы «присоединения лошади», то ли по каким-то иным причинам, но кажется, на конбазе Ира так и не ра-

ботала. Она была единственным человеком, которого под напором родственников, возможно, и академика Иоффе, после неполного отбытия срока выпустили на волю.

В одну из суббот появилось объявление, что в клубе будет кино и танцы и что каптёрка с домашними одёжками будет открыта тогда-то. Стало любопытно – как это всё будет выглядеть? Потянулись в клуб. Его на этот раз протопили, и этот унылый пустой барак стал как-то уютнее. На стене над сценой висело полотнище на красном с длинной моральной цитатой, кончающейся словами «через труд к освобождению». От этого холодного ханжества стало противно, и я собралась уходить, но тут уговорили работяги, да и было любопытно. На лучших местах в зале были поставлены стулья для начальства, для нас стояли скамьи, мгновенно заполненные зэка́. Исподтишка осмотрела всю нашу администрацию – так вот как они выглядят, когда *не* на страже государственных интересов, а просто смотрят кино, как все смертные! Как было странно и необычно быть с ними в одном помещении, смотреть одно и то же и даже сидеть почти рядом, и впервые без всякой охраны.

Досмотрев фильм, всё начальство удалилось (фильм был какой-то нудный, и тоже с моралью), и начались танцы. Сперва лихо плясали блатные, потом не вытерпели некоторые из наших и, приодетые в своё, а главное, обутые в туфли, неуверенно стали у стен. Появилась моя Муся, которая сделала себе из кос корону, накинула на плечи чернобурку и была так хороша и так сразу выделилась среди присутствующих, что мы просто ахнули. Муся вошла в зал совсем по-иному – вырвалась молодая женская душа из зэка́шного обличья и, гордо приподняв прелестную голову, ни на кого не глядя сквозь опущенные ресницы, приостановилась, ожидая приглашения.

Но смотреть, как танцуют наши, став сразу хорошенькими и очень молодыми, мне было не под силу. Кому нужно было вырвать этих милых женщин от их настоящей жизни, опозорить, лишить детей, мужей? Неужели только для того, чтобы они почти даром валили лес в условиях, куда не захочет поехать ни один свободный

человек? Какое надругательство над обычными человеческими нормами, ведь среди них я не встречала или, может быть, встретила всего два-три раза враждебно настроенных людей – и это среди тысяч встретившихся на моём пути! Да и были ли эти «враждебно настроенные» враждебными в своей нормальной жизни? Не сделали ли их такими приписанные им неслыханные обвинения, позорящие допросы, тюрьма, лагерь? А сколько я видела среди этих поруганных самоотверженной честной работы?..

Ушла из клуба побродить в темноте, прежде чем лечь спать и подумать. Было очень грустно, вообще, тяжело и грустно за всех этих молодых женщин. О себе боялась подумать, чтобы не прорвалась жгучая боль разлуки, чтобы не бередить рану, такую незатянувшуюся. Ведь было отчасти спасением, что всё это время мы так работали, так уставали, так недосыпали, что физически не могли думать.

Это был первый человеческий вечер, когда нас не водили, не охраняли, не считали... Ходила от клуба до барака и обратно. Маленькие окна клуба были покрыты льдом, и танцующих видно не было, но танцевальная музыка ясно доносилась в тихом морозном воздухе.

В хлеборезке, каптёрке и столовой работали блатари. Работа эта была нелёгкая, но они были в тепле, всегда сыты и могли ещё кормить своих сожительниц. Остальные мужчины, работавшие в лагере, были или инвалидами, или были осуждены по «закону от седьмого восьмого»*. Тогда стали преследовать за хищение в колхозах и за любое утаивание намолотого хлеба, мелкое воровство, вплоть до собирания невыбранной картошки или кочанов капусты, давали это «от седьмого восьмого» сроком на десять лет. «Закон» этот была как бы буфером между уголовниками и 58-й. Исключением являлись

* Имеется в виду постановление ЦИК и СНК СССР от 7 августа 1932 года «Об охране имущества государственных предприятий, колхозов и кооперации и укреплении общественной (социалистической) собственности». Всего по этому «закону» за 1932–1939 годы было осуждено 183 тыс. человек.

только специалисты по сельскому хозяйству и врачи. Было несколько мужчин агрономов, и среди них молодой и красивый Яков Иванович Ганзелик, к тому же ещё и немец, – и потом прекрасный хирург, тоже немец.

Итак, рано утром повар по накладной завхоза получал в кладовой продукты на день. Все эти продукты он должен был заложить в котёл под контролем завхоза. Поскольку были жалобы, что часть продуктов разворовывается, администрация ввела побригадное ежедневное дежурство для контроля закладки котлов, выдачи порций и ночной уборки кухни и столовой. Работа эта была чрезвычайно тяжёлая, так как дежурная была на ногах целый день, а ночью мыла котлы, таскала дрова и убирала всё помещение. Обычно такую дежурную назначали из 58-й, так как блатнячкам не доверяли, а 58-я не воровала. Выбирали женщин повыше и покрепче. Попала на такое дежурство и я. С утра следила за получением продуктов, за их весом и закладкой и с тоской думала, как легко повару, да ещё блатарю, спустить в рукава или за пазуху несколько кусков сахара, «уронить» в крупу или муку, а потом, когда я отвернусь, ловко достать кусок жира. Как всё это может быть сделано под самым моим носом, и дежурство, в лучшем случае, может только сократить размер утайки. Сахар скидывался с весов прямо в котёл со сладким фруктовым настоем, а жир спускали в котёл с супом, всё с быстротой и ловкостью фокусника.

Перед обедом пришёл врач проверить качество, что свелось к тому, что он и сестра пообедали «не по норме» в углу кухни. Конечно, отразиться это на нашем рационе не могло, так как в лагере было несколько сот женщин. Меня не кормили, а обещали потом, после уборки, дать остатки. Я с волнением ожидала прихода нашей бригады, которая вся целиком в те дни была за невыработкой норм на третьей категории, то есть имела меньше хлеба, не получала куска рыбы и вместо двух раз в день получала только раз жидкую кашу. Похлёбку один раз в день давали всем, независимо от выработки.

Громадные котлы с супом и кашей были вделаны в печь, вокруг неё широкая ступенька, по которой ходил

повар, рядом стояли громадные противни с премиальными – кусками солёной рыбы и какой-то крупяной запеканкой. Вплотную к плите стоял, образуя букву «Т», длинный деревянный стол, упиравшийся другим концом в стену с большим низким окном и узким подоконником для выдачи мисок с едой. Тут же сбоку висел ящик с тремя щелями, куда дежурная должна была сбрасывать обеденные талоны, отрывая их от карточек работяг. Мешкать было нельзя, стояла длинная голодная очередь. Посредника между дежурной и поваром не было. Дежурная, отрывая талон, кричала категорию, повар наливал миски и ловко сбрасывал на стол, так отполированный сотнями мисок, что они легко катились до самого окошка.

Наконец появилась первая «наша». Ёкнуло сердце, но с внезапной решимостью быстро сунула талон в ящик и громко повару: «Первая и премблюдо!» Из-под намотанного платка на меня блеснули знакомые глаза, я лихо мигаю, сую суп, кусок рыбы и ещё поверх какой-то кусок запеканки и грубо ору: «Ну, чего расставилась! Живей!» Следующий: «Первая и премблюдо!» – и повар катит по столу очередные миски. Всё шло прекрасно. Мои бабочки мигом сообразили, отлетали от окошка с завидной живостью и догадались усаживаться за самый плохо освещённый стол. Я была груба, орала, как было принято, и работала вдохновенно. Боже мой, какое же это было счастье – накормить хорошо, досыта накормить всех этих моих бабёнок! Мне было море по колено, никакого страха, что меня поймают за этим, и было смешно и радостно.

Всё шло без промаха, пока в отверстии окна не появилось перемёрзшее и закутанное лицо нашей Лиды. Той Лидочки-артистки, которая ехала со мной в одном этапном вагоне. Лида была так близорука, что вообще всё делала очень медленно, а теперь начала доставать карточки возле носа, к тому же онемевшими руками, что не придавало живости её движениям. Как получали обеды предыдущие – она не видела. Темп моей работы сразу снизился, повар замер с поварёшкой в руках, ожидая выкрика категории. Медлить нельзя, он может подойти

посмотреть, в чём дело, да и очередь начнёт торопить. Я делаю движение рукой над ящиком и кричу: «Первая с премблюдом», – всё приходит снова в движение, миски летят ко мне в руки, и вдруг я с отчаяньем вижу, что Лидочка, добравшись до своей карточки, вдруг громко мне говорит: «Адочка, нет, вы ошиблись, у меня только третья!» Я вижу робкие, испуганные глаза Лиды, рву из её рук всю карточку, чтобы никто не успел заметить её цвета (они были разные по каждой категории), и грубо сую ей в руки миски и в ужасе ору: «Ну, что стоишь, дура!.. Следующий!» Повар не подошёл, всё обошлось, а Лидочку в бараке утешали всей бригадой, когда она, плача, говорила: «Ну, чтобы Ада так была груба, я бы никогда не поверила». Милая наша, благородная, честная Лидочка!

После ужина, когда кончилась вся раздача, повар снял с себя грубую брезентовую куртку и передник и оказался совсем не страшным, довольно хилым человеком средних лет. Он устало сел на скамью, пошарил в кармане, достал кисет и начал крутить козью ножку.

Посмотрел на меня бесцветными усталыми глазами больного человека. «Ешь, сколько хочешь, сама, но из кухни ничего в барак не носи – поймают, в карцер посадят, – потом поясняюще: – Руки должны быть пустые, когда отсюда пойдёшь, а я себе сладкого чая разведу». Я, кажется, поняла. Мыть котлы и ведра было тяжело; в руках имелась только грубая рогожная мочалка, тупой большой нож, поломанный топор и кусок мешковины. Чтобы справиться с уборкой, надо было сперва затащить дров, их наколоть и развести огонь, пока ещё тлели под водяным котлом угли. Промучившись несколько часов на кухне, я сказала, что мне надо выйти, задами проскочила в свой барак, взяла у своих, которые не все ещё спали, полотенце и несколько чистых тряпок. «Приду часа через два, тогда всех разбужу», – шепнула я и ушла.

Теперь мне предстояло самое трудное – всюду отскоблить грязь топором и вымыть полы. Огонь под котлом уже прогорел, и колоть новые дрова мне было не под силу. Горячую воду я берегла и очень умело использовала. В столовой было теперь мрачно и полутемно. На одном

из столбов горел фонарь «летучая мышь». Значительно похолодало, и у дверей начала образовываться наледь; надо было быстро срубать топором, убирать лёд в ведро, а выступивший из-под него чёрный склизкий грязный пол промывать горячей водой и быстро вытирать, пока не образовался новый слой льда. Я была поглощена работой и не заметила, что повар лёг на тулуп в углу на широкую скамью и следит за мной.

Он молчал и смотрел. Я уже валилась с ног от усталости, но надо было скорее всё закончить, а главное, как только уснёт повар, забрать все остатки на кухне и как-то ухитриться их вынести. Снова я скоблила, поливала и тёрла, как вдруг почувствовала, что кто-то стоит за моей спиной. Я резко повернулась. «Эх, смотрю я на тебя, – сказал тихо стоявший возле меня повар и, протянув руку, провёл ею по всей моей спине, – истощала ты, одни косточки торчат!» И дальше: «Понравилась ты мне – будешь жить со мной, кормить буду – королевой станешь, на работу в лес посылать не будут. Да ты не бойся, не бойся, я не трону!» – добавил он, видя, как я, загородив себя ведром и тряпкой, рванулась в сторону. Потом постоял ещё, посмотрел и, охая, улёгся снова на тулуп. Я домывала пол. Когда я дошла до его скамьи, он высвободился из-под тулупа и сказал: «Подумай, дам тебе сроку три дня – тогда скажешь». И потом, поворачиваясь к стене: «Помни, что сказал: чтобы руки были пустые».

Через минуту я уже действовала на кухне. Привязала внутри рукавов телогрейки по узелку с кусочками рыбы, сложила в тряпки остатки крупяной запеканки и сунула в карман, а кашу положила в полотенце и, закрутив его, обвязалась им вокруг талии под брюками. Надо было торопиться, так как дежурный вохровец всегда мог зайти проверить. Примостив всё таким образом и сразу сильно располнев, я подошла к двери, крикнув повару, чтобы запер её, и отправилась в барак, на ходу, для пущей убедительности «пустых рук» повязывая платок узлом на затылке. Всё обошлось благополучно. В бараке многие не спали, ждали моего возвращения. Я разделась, отвязала все свои узелки, расправила полотенце и, быстро

всё разделив на порции, стала обходить всех и рассовывать в вытянутые руки долю каждого. Вот это был день! Сперва сытный обед, потом ужин, и вот это ночное пиршество, наконец, накормило всех до отказа.

Жали руки, улыбались, кивали с верхних нар, всё тихо-тихо, чтобы не разбудить чужих и не накликать беду, – потом спали все как убитые, кроме меня.

А я пошла в умывальную, чтобы отмыть следы каши и рыбы. Теперь я могла не торопиться. Я заработала себе хороший, радостный отдых, а утром мне не вставать – дежурные считались как ночные работники и им давали день отдыха.

ТЕТРАДЬ ПЯТАЯ

...Вставать в пять часов утра было почти всегда пыткой. Когда мы ложились спать после поверки, обычно засыпали скрючившись, стараясь не дать выход теплу своего тела, подтыкали всюду одеяло, сверху ещё клали свою ватную одежду. Валенки и портянки дневальная укладывала на скамьи вокруг печки, чтобы они просохли к утру. Печь понемногу накалялась, и, хотя валенки, в особенности если они принадлежали работавшей на конбазе, издавали зловоние, воздух в бараке постепенно прогревался. Первый тяжёлый напряжённый сон становился спокойнее, расслаблялись мускулы, уже не страшно было повернуться, освободить руку-ногу, и вот тогда-то нас и заставал подъём.

Отчаянно сопротивлялись – поспать ещё хотя бы пять минут, хоть две, хоть секунду, но ноги уже скатывались с нар, механически несли противящееся тело к ледяной воде умываться, потом на холод зоны. Никто ни на кого не смотрел, молча толкал соседку, если она была на той же работе, а что было вне этого – уже не затрагивало внимания.

В тот раз было так же, как и всегда, но помню, что, случайно взглянув на верхние нары, я увидела спину одной из наших работяг. «Что это она не подымается?» – мелькнуло в голове, но тут прозвучал подготовительный удар к разводу, и я бросилась в столовую. По дороге в лес я вспомнила, что лежавшая наверху была угрюмая, молчаливая молодая женщина, которую арестовали на последнем курсе мединститута. Кто-то по дороге узнавал у других – почему её нет, на что опять кто-то рассказал о странном с ней разговоре. «Или я буду работать по специальности, или не буду жить». Но с ней никто не был особенно дружен, и скоро о ней забыли. Сколькие из нас

в минуту отчаянья не говорили того же! День прошёл как обычно. Вечером, возвратившись в зону, мы уже у ворот заметили, что что-то произошло.

– Эй, пятьдесят восьмая, – крикнула какая-то проходящая у ворот блатнячка, – ваша одна отравилась, увезли в больницу!

Бросились в барак; по дороге я снова вспомнила, томимая тяжёлым предчувствием, эту неподвижную спину наверху. В бараке все были страшно взволнованы, вспоминали, делали свои предположения. Оказывается, когда нас водили к врачу, чтобы установить категорию здоровья, Ольга сказала, что она врач и не будет работать в лесу и, если ей не дадут работать по специальности, она покончит с собой. Эта категория была очень важным фактором на тяжёлых наружных работах. Совершенно здоровые по первой категории должны были выполнять всю норму, вторая категория уже имела скидку десять-пятнадцать процентов. Я так была истощена этапом, что при первом осмотре врач нашёл у меня порок сердца, кроме того, у меня был обморок, я падала с нар, о чём ему сказали, и поэтому я получила третью категорию. Норму мне скидывали на двадцать пять процентов, то есть вместо пяти кубометров я могла ставить штабель в четыре кубометра и кормиться по первой категории.

Помнится, врач, которой нас осматривал (я не уверена, что он был настоящим врачом), был хилый, среднего возраста человек, туберкулёзный, и наверно поэтому не попавший на прииск. Он хорошо к нам относился, но ничем не мог помочь, разве что дать освобождение, и то с большой оглядкой, так как начальство его обязывало как можно меньше этим пользоваться. Я думаю, что он не раз слышал от своих пациентов о самоубийстве и привык относиться к этому спокойно, да к тому же он сам был верным и скорым кандидатом к вечному покою.

Утром этого дня «ночные» пришли с дежурств и улеглись спать как обычно, но были вскоре разбужены дежурным, который в сопровождении дневальной, давшей ему пояснения кто где работает, начал сперва окликать, а потом кричать, трясти не подчиняющуюся

женщину. Затем он сам вскочил на нары, увидал пузырёк морфия, испугался, что перед ним труп, и бросился за врачом и начальником, чтобы составить протокол. Смертей и самоубийств лагерное начальство не любило, так как несло за это ответственность. Прибежавший врач установил, что Ольга потеряла сознание, но жива и что в том случае, если она выпила слишком большую дозу, она должна через несколько часов очнуться.

Ольгу унесли, а её соседки, конечно, уже не могли уснуть. Как она ухитрилась достать морфий, которого и в амбулатории-то не было, или пронести его через столько обысков, через весь этап! Уму непостижимо! Но приняла она, действительно, больше чем нужно (смерть наступает только при точной дозе) и осталась жить. Кроме того, она всё-таки стала работать по специальности, а через пять лет не было человека на Эльгене, не знавшего врача Ольгу Тихоновну, и работала она так самоотверженно, набралась такого опыта, что её вызывали даже к больному начальству и возили далеко за пределы Эльгена.

Были у нас ещё многие не сгибавшиеся и с необычайным упорством следовавшие к своей цели. Так, одна из «стареньких троцкисток», кумир нескольких её однодельцев, очень молодая и очень больная девушка, по памяти восстанавливала свою математическую диссертацию, а её товарки выкрадывали для неё бумагу из канцелярии. Это была красавица с патетическим библейским лицом. Она дышала, как паровоз, и отекала так, что еле двигалась.

Любовь Васильевна Луговская, жена бывшего эсера, неимоверными трудностями сохранила при себе трёх девочек: Олю, Женю и школьницу Ниночку – и, невзирая ни на что, жила с ними своим семейном мирком. Девочки её слушались и даже говорили иногда между собой: «Мама не позволяет...» Правда, ей помогало ещё и то, что у них всех было всего по пять лет с самой слабой формулировкой «соэ» (социально опасный элемент)*.

* О судьбе этой семьи см. книгу одной из сестёр, Нины Луговской «Хочу жить! Дневник советской школьницы» (М.: РИПОЛ классик, 2010).

Была у нас группка верующих, перевыполнявших нормы по будням. А в воскресенье они не работали, молча вставали в ряд и ждали, когда придёт дежурный и отведёт их в карцер, на хлеб и воду, за отказ от работы. В карцере они громко молились, если на них не орал дежурный, и по очереди на коленях служили обедню, и так до вечера, когда их пускали спать в барак. А по праздникам они надевали белоснежные головные платки, всем кланялись и шли в карцер с такими просветлёнными радостными лицами: «Страдаем за Господа нашего Иисуса Христа» или «Поплачем и порадуемся за пресвятую Богородицу нашу» – и т. д., в зависимости от религиозного праздника. В остальные дни они так хорошо работали, были такие кроткие и послушные, что на них скоро махнули рукой и только молча водили в карцер.

Попала всё-таки в карцер и я, и, как обычно в таких случаях бывает, не за настоящую провинность, каких у меня было немало, а за совершенный пустяк. Как только оказалось, что нам не запрещают читать (газет не давали), что при клубе есть шкаф с книгами и что у некоторых есть даже свои собственные, полученные в посылках, мы выстаивали до поверки в клубе в чаянии, что какая-нибудь книга будет возвращаться в библиотеку и можно будет её получить. Так мне достался томик Ромена Роллана «Очарованная душа». Это была первая книга, попавшая мне в руки и совершенно меня потрясшая. Держать книгу в руках, читать красивую литературную речь, шёпотом произносить целые фразы и вслушиваться, как они звучат, было таким счастьем! А содержание настолько увлекло меня, что сперва я взахлёб читала на верхних нарах, при свете тусклой электрической лампочки, и барак раздвинулся, отошёл в глубь темноты и исчезли все. Я осталась с глазу на глаз с Аннет и Марком. От усталости и напряжения слипались глаза. Тогда я тихонько сползла с нар и села у печки, чтобы читать дальше уже при свете огня. Как вошёл дежурный – я не слыхала.

– Чего не спишь?

Я подняла голову и, глядя затуманенными глазами, вся во власти прочитанного, говорю:

– Да вот, читаю Роллана.

– Как фамилия?

Я говорю, и он уходит, а через минуту я уже снова далеко и жадно читаю. Так я, с книгой в руке, совсем одетая, немного поспала эту ночь. Наутро ничего не произошло, и я совсем успокоилась, но «старенькие» надо мной подтрунивали:

– Подождите, это был такой-то, он вам покажет, как ночью читать Роллана!

И действительно, вечером, после переклички, дежурный меня вызвал:

– Собирайтесь.

Это означало карцер. Я потеплее оделась и с тяжёлым сердцем отправилась за ним. Очень часто всякие наказания зачитывались только на следующей поверке, так что, идя за дежурным, я не знала, на сколько времени меня уводят в карцер. Довёл меня конвоир до расположенного в углу зоны небольшого бревенчатого домика, тёмного и закопчённого, без окна и с тяжёлой массивной дверью на засовах с громадным замком. Молча открыл её, и, когда я сделала шаг вперёд, сейчас же запер. Сперва я ничего не могла различить, потом, когда глаза привыкли к темноте, оглянулась. Пол был неровный, сложенный из брёвен, невероятно грязный. Посередине стояла небольшая железная печка-буржуйка с трубой, уходящей в отверстие в потолке, – она неимоверно дымила. Рядом лежало несколько сырых чурок, но не было сухой растопки, и потому два жалких поленца в печке тлели, дымили и не могли разгореться. Было очень сыро, промозгло и холодно. У стены темнели сплошные нары, тоже из брёвен и жердей, а на них в углу виднелось закутанное в тулуп человеческое существо. Скоро существо зашевелилось, высвободилось из-под наваленной одежды и посмотрело в мою сторону. Оказалось, что это молодая, сильно накрашенная, а к тому же очень грязная и вымазанная в саже женщина – больше при слабом вспыхивании огня в печке разобрать было трудно.

– За мужика посадили? – спросила она довольно равнодушно.

Не могла же я ей сказать, что за «Очарованную душу», и потому ответила, что «сама не знаю за что».

– А я вот уже двое суток без вывода, завтра выпустят, и я ему... – тут шла сверхъестественная ругань – покажу...

И женщина снова улеглась в углу и завернулась в тулуп.

Сперва я пыталась разжечь печь, но что можно было сделать без топора и единой сухой щепки? Потом залезла на нары, стараясь так плотно свернуться калачиком, чтобы было хоть сколько-нибудь теплее. Под полом бегали и шуршали крысы. Спать, конечно, не пришлось. Думала о том, как невероятно всё, что со мной происходит; мои чувства уже так притупились, что меня не удивляет эта ночь с какой-то убийцей или воровкой и не вызывает возмущения. Что я – безвольный жалкий винтик в громадном тупом равнодушном механизме. Кому, о чём говорить, когда кругом тысячи таких же! Да и смогла ли бы я когда-либо рискнуть рассказать такое там, в другой жизни, среди нормальных и не испытавших?! Начала думать об оставшихся, о доме. С трудом себе представляла жизнь в Москве – а вдруг и Серёжа арестован? Я ещё не получила ни одной строчки из дома и не знала, что уже на пути ко мне шли и посылка с продуктами, и письма моей мамы. От неудобной позы затекали ноги, а от корявых брёвен ныла и болела спина. Приходилось вставать, растирать замёрзшие части тела; немного разогревшись, снова укладывалась и думала. Соседка больше не разговаривала и привычно спала.

Пришёл за мной конвоир очень рано, ещё до подъёма. Прогрохотал засовом и снова запер за мной замок, а я уже бежала в барак, как в дом родной, к печке, к человеческому теплу.

Ранней весной в лес уже не гоняли. Оттаивали болота, местами образовались целые озёра талой воды, и пилить лес стало невозможно. Примерно две недели мы работали в овощехранилище. Была эта работа хороша тем, что мы находились в тепле. У входа в громадное помещение нежарко топилась железная печь, чтобы поддерживать

температуру на + 6° и не давать картофелю замерзать. В этой же печке мы на углях и золе пекли картошку и были сыты. Освещения не было никакого, кроме маленьких каганчиков, которые мы уносили с собой в отсеки.

Картошку надо было перебирать, сидя скрючившись наверху кучи, и громадными корзинами пересыпать в соседний пустой отсек. По мере уменьшения кучи мы распрямлялись и под конец сидели уже свободно на полу, но долго это не длилось. Нормы были громадные, мы перебирали сразу двумя руками и, только выпрямившись, снова перебирались в соседний отсек и скрючивались наверху. Воздух в овощехранилище был тяжёлый, пахло преющим картофелем, и первые дни с непривычки нас очень мутило. Конечно, носить картофель в барак строжайше запрещалось, да если кто-нибудь и проносил пару картофелин в брюках или за пазухой, сварить его в бараке было немыслимо. Выдавал запах пара, кто-нибудь доносил, варившая попадала в изолятор, а затем лишалась работы в тепле, а донёсшая шла на её место.

После переборки началась подготовительная работа на агробазе. Мы, новенькие, уже почти поголовно получали только подсобную тяжёлую и невыгодную работу: бесконечно пилили дрова для теплиц и парников или крутили из жёсткого сена жгуты, из которых на грубых деревянных станках-пяльцах плели маты для укрытия на ночь стекла парников и теплиц. Делались ещё на громоздких станках, почти вручную горшочки из смеси торфа и навоза для будущей рассады капусты, огурцов и помидоров.

Всюду, где было мало-мальски полегче и выгоднее, уже плотно засели «старенькие», и нам оставалось всегда самое невыгодное и тяжёлое. Техники в ту пору не было никакой, если не считать деревянных рам или примитивных колёс, приводивших в движение формы для горшочков. Сами налаживали: где педаль для ноги, а где какое-нибудь своё усовершенствование, ускоряющее темп работы. У некоторых развивалась поистине виртуозная ловкость рук, к тому же работали попарно или группками и, конечно, без умолку разговаривали. За день надо было

соткать из грубых жгутов, режущих пальцы, и верёвок два громадных мата двухметровой длины и метровой ширины, причём при приёмке десятник щупал твёрдость жгута и принимал, только если между рядами не проходил палец.

Норму выполняла и я, но каждая новая работа брала массу сил, и первые дни от напряжения болели и саднили не только руки, но и спина, и поясница. Самая же быстрая работа требовала необычайной сноровки пальцев – это пикировка, и я настолько ею овладела, что даже получала премиальные. Заключалась она в том, что, стоя на ящике у стеллажа, сплошь уставленного горшочками и сверху присыпанного землёй, одной рукой надо держать кусок фанеры или стекла с малюсенькими сеянцами, а другой их сажать в горшочки и присыпать землёй. Всё это приходилось делать одной рукой, сеянцы тоньше булавки, отверстия горшочков почти не видны в земле, а надо попасть в центр, иначе брак и растение будет кривым.

Пока мы занимались пикировкой в теплицах, в это время уже росли и поспевали редиска и зелёный лук. Ни одна из новеньких не попала в теплицы, и были они предметом нашей страстной зависти. Тепличницы нам говорили, что ранний лук и редис весь идёт мужчинам на золотые прииска и что в это время у них свирепствует цинга. На самом деле всё это шло лагерному начальству, и ни одному работяге на прииске и не снилась никакая зелень, кроме вяжущего черно-коричневого сока стланика. Его пили в обед и мы, и он немилосердно щипал язык, если на нём появлялись язвочки. Не знаю, помогал ли стланик кому-либо, но мы его пили и всё же теряли в дальнейшем зубы и покрывались язвами. Помню, было у меня целых четырнадцать язв на ноге, и вылечила я их только летом – солнцем и целыми котелками голубики.

Начальство, присмотревшись к нам, решило, что достаточно пустить слух, что эта зелень идёт работягам (а у скольких были на прииске мужья, братья...), как никто из нас не будет её воровать, и мы, работая рядом и таская в теплицы дрова, редко вырывали головку лука или

съедали редиску. А блатнячек, несмотря на то что в противовес нам, «врагам», они себя называли «друзьями» народа, в теплицу не пускали работать. Такое молчаливое ханжество – знать, что всякую ответственную работу можно поручить только 58-й, обходить это молчанием, а поощрять воровок и проституток! Правда, в страдную пору поощряли и нас, 58-ю, так как блатнячек нельзя было заставить долго работать, даже с премиальными, и они околачивались в тёплых местах, где можно было не работать. Все знали, что урожай зависел только от нас – «врагов народа»...

Помимо пикировок и пилки, где мы работали как одержимые, не сходя с места, бывали дни, когда нас гоняли по всей агробазе убрать территорию, очистить её от снега, перетаскать ящики, корзины и другое хозяйство. Инструментов для такой уборки иногда не хватало, и вот десятник посылал в разные места нас самих, чтобы мы себе его доставали. Прогулки эти были не лишены приятности, так как мы бродили от палатки к палатке по громадной территории, смотрели, узнавали.

Как-то раз не хватило мне совковой лопаты, и десятник послал меня в соседнее звено, где должны были работать блатняки. Конечно, они сидели в разных позах в палатке и ничего не делали. Выслушали мою просьбу, один из них сказал, что у них лопат нет, но есть в соседнем звене и надо спросить у десятника М...шкина. Что фамилия была гибридом страшного похабного слова, я и не подозревала, так как мои запасы мата ещё не очень пополнились. К тому же блатари ответили спокойно, не улыбаясь. Когда я с этой фамилией на устах вошла в соседнюю палатку, почувствовала по той возникшей сразу тишине что-то неладное. Меня снова оглядели, выслушали и, видоизменив фамилию, послали к следующему десятнику. К следующему я уже, конечно, не пошла, а, завернув за угол, тихонько взглянула и увидала два звена дико хохочущих блатняков, глядящих мне вслед.

Первое лето было мучительным. Мы сеяли, пахали, сажали картошку и капусту; без конца поливали, удобряли, окучивали. Теперь солнце, к нашему ужасу, почти

не уходило с горизонта, всё время было светло, и мы гнали нормы. Водили нас на все близлежащие поля, а ночевать возвращались в барак. Уставали так, что спали не раздеваясь и, может быть, за всё лето один раз были в клубе да два-три раза в бане. Изменилась погода, вместо приветливого солнца и свежего ветерка наступала жара, а с ней и комары. Нас, новеньких, они просто сжирали, и мы очень скоро снова надели, несмотря на жару, ватные брюки и телогрейки. На голову натягивали марлю, но дышать через неё оказывалось трудно, а выхода не было. В особенности было тяжело в посевную, когда работать приходилось только голыми руками. К концу дня кисти опухали, как после укуса пчелы, и были так покрыты комарами, что не было видно кожи. Я видела женщин, которые в бешенстве катались по земле и тёрли об неё руки и лицо. Облегчение наступало только в дождь и в сильный ветер, когда комары прятались во все щели и пережидали. К счастью, в бараках окна были глухие, никогда не открывались, а возле дверей устраивали большой дымокур из торфа и свежих веток, так что внутрь комары почти не проникали, но сколько мы находились внутри?!

Наш рабочий день начинался на час раньше, чем зимой, и выводили нас в шесть часов, а возвращались мы совсем уже в семь-восемь часов вечера (днём был часовой перерыв и обед), после четырнадцати- или шестнадцатичасового рабочего дня. За всё лето нам не полагалось ни одного выходного дня. Первые выходные начинались уже с морозами. Мы загорали на поле до черноты, ходили опухшие; лупилась кожа на щеках, а нос шелушился по нескольку раз за месяц.

Потом, в дальнейшем, когда мы жили на Волчке, мы ко многому приспособились: сшили себе из актированных мешков брюки, халаты, смастерили накомарники, а лицо и руки мазали солидолом или разведённым дёгтем, и комары кусали меньше. Да и кожа очень огрубела и перестала быть такой доступной укусам.

На уборку картофеля нашу бригаду послали на Волчок – прелестное место в пяти-шести километрах

от Эльгена. Был уже август, и хотя ночью слегка морозило, дни стояли ещё тёплые, ясные, солнечные. Комары уже пропадали. Вдоль дороги тянулись по обе стороны большие поля картофеля. По левую сторону они уходили в смутную голубоватую даль, переходящую в довольно высокие сопки. Верхушки самых высоких из них уже запорошились снегом, а более низкие стояли ещё зелёными, с ярко-красными пятнами созревшей брусники. На сопках росли лиственницы, пихты и низкие кустарники, а брусничные полянки открывались среди мхов и зарослей стланика. Направо поле скоро кончалось и упиралось в небольшую рощу на высоком берегу реки. То, что где-то рядом река, чувствовалось по особой влажности воздуха и приглушённому шуму.

Работали мы на картошке тяжело. Выдавали одни тяжёлые лопаты, а остальное, конечно, делали вручную. Хорошо если попадался участок с мягкой землёй, а если он состоял из крупных комков глины и мелких камней? Мы очень быстро стирали себе до крови пальцы, а норма была восемь-десять мешков на человека. Выносить эти полные мешки по нескончаемой полосе на дорогу тоже надо было самим.

Желание увидеть, что за рощей, было так велико, что я всё же урвала минуту и бросилась к ней. Роща оказалась всего лишь узкой полосой, за которой открылась необычайной красоты поляна, вся заросшая высоким шиповником, обсыпанным зреющими ягодами. Шум воды стал явственнее. Продралась через шиповник, раздвинула кусты обрамлявшего его орешника и вдруг выскочила на самый край, ахнув от восторга.

Я стояла на высоком каменистом обрыве. Под ним текла неглубокая и быстрая река, разбиваясь на десятки мелких рукавов, огибая камни и вновь соединяясь на ровном месте. Вода была такой чистоты и изумрудной прозрачности, что мне сверху было видно всё дно реки, от края и до края! Около камней вода бурлила и сбивалась в пену, а в спокойных местах по дну мелькали пятнистые, похожие на прибрежную гальку хариусы. Противоположный пологий берег был завален брёвнами

и корневищами вывороченных половодьем деревьев, среди которых мелькали небольшие отмели необычайно светлого, тонкого песка. Всё было таким ярким, светлым, так искрилось и блистало, что я зажмурилась от счастья. Как же дивен мир (земля, природа) без людей! Бегом вернулась обратно, пока не хватились. Река была Тасканом.

Ходили мы на Волчок ещё несколько дней, но погода испортилась, стало холодней, и вырваться к Таскану я уже не могла. Та картина стояла как живая перед глазами, я не хотела видеть её иной и ревниво её оберегала. Перед самым концом уборки (холода на Севере наступают чрезвычайно быстро, в сентябре уже снег) в холодный дождливый день мы нашли в конце поля шалаш, где обычно хранили инструменты. Была какая-то заминка в работе, к тому же в дождь картофель избегали убирать (не из-за людей, конечно!), и мы оказались свободны. Сели в кучку, и одна из присутствующих, высокая худощавая женщина, тихо запела песню о Москве. Через минуту все в шалаше её подхватили и пели с таким чувством, что припев «Ты самая любимая» – уже не пели, а скорее плакали.

Высокая женщина оказалась Верой Половинкиной, женой композитора Половинкина, только что приславшего ей эту песню. С Верой Половинкиной я не сдружилась, так как она держалась особняком, но пути наши не раз скрещивались. Срок свой она отбыла благополучно и даже, по каким-то не очень связным слухам, была вытребована после освобождения своим мужем и отослана самолётом прямо в Москву. Говорили, что у неё не было никакой своей одежды, что она отказалась лететь в ватных брюках и бушлате и что лагерная администрация ей заочно покупала женскую одежду.

Но это всё было потом, через много лет, а сейчас мы мокли под дождём и снегом, убирали голыми руками то турнепс, который отрывался от своей отмороженной и мягкой как тряпка ботвы, то капусту.

Письма, посылки пришли уже почти перед самой отправкой на новую командировку – «8-й километр». Все страшно плакали, читали и перечитывали письма,

делились семейными новостями, потом разбирали посылки, снова рыдали над какой-то вещью, любовно сшитой старой бабушкой, матерью или маленькими детьми.

Серёжа мне по понятным причинам сам писать не мог. Писала моя мама, осторожно касаясь всех домашних семейных дел и совершенно обходя молчанием всякие другие. Узнала я из её письма, что «Володя старше тебя на два года», то есть что брат получил десять лет, а не восемь, как я, но что «без права переписки». То, что это был шифр расстрела – конечно, я не знала, и, что было ещё важнее, даже не могли себе представить родители.

Письма от матерей (должна была быть та же фамилия) нам разрешалось получать, а также писать раз в месяц самим. Им же разрешалось, кроме того, посылать по одной посылке в месяц не тяжелее восьми килограммов. Был ещё только 1939 год, и никаких продовольственных затруднений не было. Были бы деньги! Но посылки шли только пароходом, и почти в конце навигации, уступая очередь всем техническим и специальным грузам. А навигация была всего три месяца, и скопились наши посылки где-то в пароходных пакгаузах за весь год. Запрещалось посылать всё режущее, а к продуктам особенно не придирались. Папиросами же очень недвусмысленно предлагали угощать. Наши близкие, очевидно, всё успели разузнать, и посылки были полны самого необходимого: сала, чеснока, белых сухарей, концентратов, сахара и тёплых вещей. Конечно, весь вечер в бараке был насыщен всякими посылочными переживаниями. Все друг друга угощали и наелись досыта. Угощали и живших в нашем бараке блатнячек, но те жеманились, поджимали губы: «Я чегой-то это не кушаю», – и алчно смотрели на всё полученное. Что они будут нас нещадно обворовывать – было ясно каждой.

В некоторых посылках были и книги. Родные посылали обычно самые дешёвые и лёгкие книги, не подозревая, как это было гибельно для них. Все они шли на курево охране, так как на Колыме не было бумаги; доходили только напечатанные на плотной и толстой. К нашим русским классикам не придирались, но отбирали все с иностран-

ными названиями, в интересах цензуры. Проскочил только томик Оскара Уайльда, посланный Ире Иоффе. Лагерный цензор и воспитатель долго вертел книгу в руках, не понимая где автор: Уайльд или Дориан Грей? На Ирино счастье, его взор, наконец, упал на вступительную статью Корнея Чуковского, фамилию которого он, вероятно, слыхал в связи с «Крокодилом». «Ну, Корнея Чуковского, – сказал он, напустив на себя учёный вид, – это можно!» И Ире выдали злополучного «Дориана Грея».

Мои же три тома «Братьев Карамазовых» ещё долго служили куревом всей нашей охране.

Вскоре прошёл слух, что собирают бригады для отсылки на новое место. Тогда это вызвало столько волнений, что ни о чём другом не могли ни думать, ни говорить. Бросить хоть плохой, но обжитой барак, уже проверенных и узнанных соседок, да ещё в такую минуту, когда прислали впервые столько еды! А вдруг не позволят везти с собой багаж! А вдруг – куда-то далеко и среди совсем чужих и новых людей?

Вздохнули с облегчением, когда узнали, что перебрасывают зэка́ всего лишь на «8-й километр», что там тот же лес и бараки ещё хуже, что нет электричества, но зато легче режим и люди сами выбирают себе повариху (что очень важно!) и бригадира. Да и от Эльгена это всего восемь километров напрямик, и можно иногда сбегать в кино и за книгами. Под шутки конвоиров разрешили высыпать половину сенной трухи из матраса и набить его полученными продуктами. Так и спала я в дальнейшем всю зиму на концентратах и продуктах, покрытых слежавшимся тонким слоем сена. Блатнячек в нашу бригаду почти не назначили, что тоже облегчало жизнь. В общем, хоть и нервничали, конечно, но перестали бояться.

Человеческая память так устроена, что неуклонно выбирает всё самое лёгкое, приятное, вырабатывая тем самым известный психологический иммунитет тяжёлому. Приятное запоминается и легко хранится в памяти. Конечно, это ни в какой мере не относится к тем

жестокостям и подлостям, каким мне приходилось быть свидетелем, – их я тоже запомнила на всю жизнь.

Под багаж нам дали разбитый грузовик, а под нас нарядили тракторные сани, с которыми я столкнулась впервые в жизни. Сани эти служили для перевозки долготья и, конечно, по существу, санями не были. Были тяжёлые, деревянные, окованные железом полозья с шестью стойками, тоже из брёвен, по три на каждой стороне. Ехать в таких санях можно было только стоя, обнявшись со стойкой, но это не больше двенадцати человек, а нас ехало человек пятьдесят-шестьдесят. Можно сесть верхом на полозья, что было и очень неудобно, и крайне опасно, так как трактор тянул сани местами просто по лесу, неимоверно подскакивая на пнях и валежнике. Свались любая из нас с полозьев, её бы насмерть задавило, а тракторист бы и не увидел. Так что мы бежали за трактором, а в ровных местах, где не грозило падением, облепляли полозья и стойки, как мухи.

Ехали мы сперва по трассе, потом свернули и поехали по руслу вымороженного и сухого ручья. Лес был нетронутый, девственный и сверкал белизной снега. Русло ручья шло изгибами и поворотами, суживаясь в оврагах и расширяясь по ровным местам. Там, где не намело ещё достаточно снега, трактор шёл, немилосердно скрежеща по песку и камням, а мы шли вереницей сзади. В некоторых узких местах подмытые половодьем лиственницы клонили друг к другу верхушки и образовывали крытую аллею. Ни птиц, ни животных мы не видели – их разгонял грохот трактора.

Ехали мы так довольно долго, потом трактор неожиданно вынырнул из пологого оврага и рывком вышел на дорогу. Вдали виднелось четыре плоских низких барака, а в отдалении – маленький бревенчатый дом, из трубы которого шёл дым. Ни заборов, ни колючей проволоки, ни собак не было.

С одной стороны шла небольшая протоптанная дорога, отделявшаяся от бараков обыкновенной деревенской изгородью, с другой была небольшая полоска леса, а потом знакомое нам сухое русло ручья, обрамлённое

с противоположной стороны крутым берегом, заросшим густым лесом.

Нас принял новый простоватый и малограмотный десятник, бытовик; разделили нас на две бригады и предложили выбрать самим повариху и бригадиров. Лекпомша уже прибыла раньше нас с охраной и десятником и находилась в деревянной пристроечке, примыкавшей к дому охраны. Была это полная, довольно добродушная особа средних лет из каких-то провинившихся медсестёр, с небольшим сроком и пунктом «соэ». Ни своими медицинскими, ни какими-либо вообще знаниями она не отличалась.

Что меня выбрали бригадиром одной бригады – было, с одной стороны, хорошо: можно самой не пилить, а с другой стороны – плохо: надо было уметь закрывать наряды и не сажать из-за своего невежества всю бригаду на полуголодный паёк. В те годы не было никаких руководств по нормам и нарядам. На весь Эльген приходилось штук пять засаленных истрёпанных книжонок-справочников, изданных бог знает где и кем. Книжки эти находились на руках пяти-шести опытных нарядчиков и носились ими в грудных карманах телогреек. Справочники эти давали им власть и лёгкую работу, и делиться знаниями они не собирались.

Наша новая повариха Пана достала у лекпомши марлю для занавесок, выскоблила на кухне пол и стены, поставила на чистой половине стол для работяг и отделила себе ящиками уголок в кухне. Появились домовитость, очаг, подобие семейного дома. Начались самые мои лёгкие и, пожалуй, сытые дни в лагере. Я физически не работала и имела много дополнительных продуктов из посылок.

Моя бригада состояла из двадцати – двадцати шести человек и вся жила в первом, крайнем бараке. Это было приземистое полутёмное помещение, сложенное из крупных брёвен, а пол и сплошные нары были настланы из жердей. Никакого тамбура или подобия сеней не было, и тяжёлая, покрытая мешковиной дверь открывалась сразу в жильё. Посередине стояла небольшая железная

печь с трубой, выходившей в потолок, а напротив двери, в противоположном конце, было одно небольшое оконце, наглухо затянутое льдом. На одной из стоек висела лампа с непрестанно закопчённым стеклом.

Разместились мы довольно просторно, но сидеть можно было только на нижних нарах, а попавшие наверх или лежали, или свешивали головы с нар и таким образом общались с остальными. Недалеко от печки стояла небольшая скамья, вмещавшая не больше четырёх-пяти человек, и на ней обычно никто не сидел. Около двери с внутренней стороны висел рукомойник, а под ним стоял грязный таз. И то и другое обычно насквозь промерзало, и, чтобы не возиться с рукомойником, оттаивая его кипятком, который очень скупо давали на кухне, мы почти не мылись от бани до бани, а руки тёрли снегом.

От двери барака в сторону реки шла протоптанная дорожка в глубоком снегу, упиравшаяся в четыре кола, вбитых в землю с прибитой к ним мешковиной. Это была наша уборная, куда мы бегали ночью просто в одних рубашках, едва успев сунуть ноги в валенки. От холода и тяжёлого физического труда эти прогулки совершались не менее двух-трёх раз за ночь. При каждом хлопанье двери в барак врывалось облако густого пара, обегавшего стены и мягко струившегося до самой печки. Там он смешивался с теплом и исчезал.

Утром боец охраны бил в рельс и нас будил, позже, чем это делалось в Эльгене. Потом мы шли в столовую, где получали хлеб и завтрак. Всё – без обвешивания и утайки, так как Пана – наша повариха – вкладывала в это дело всё своё уменье и добросовестность. Потом был развод перед столовой, на небольшом утоптанном пространстве. Боец нас пересчитывал и мирно уходил в свою сторожку, а мы, две бригады, под командой своих бригадиров шли в лес. Наш десятник обычно оставался с бойцами в охране, где до одури играли в карты. В лесу он появлялся при отводе участка и при окончательном замере напиленного, и жить мы стали без всяких начальников.

Протоптав в первый день узенькую стёжку в глубоком снегу, мы все последующие дни ходили цепочкой друг

за другом, стараясь попасть в след предыдущей. Лес был совсем недалеко, и местечко очень живописное. Минуя несколько групп деревьев, растущих сразу же за бараками, мы спускались по обрывистому берегу на дно вымерзшего ручья, пересекали его русло и вновь вскарабкивались на крутой противоположный берег. Тишина была необычайная. Воздух так чист, что чувствовался малейший дымок из нашей кухни. Шли молча, разговаривать, когда идёшь в затылок, трудно. Снег был такой белизны и глубины, что бригаду можно было определить издали только по тёмным головам, бороздящим линию снега. В крутых местах за головами выныривали цепляющиеся за кусты фигуры и снова пропадали.

Расставив своих работяг, я одна уходила в лес в поисках выгодных участков и, забыв всё, отдавалась радости созерцания. В лесу было так тихо, что хруст снега под ногами казался выстрелами из пугача; птиц не было никаких, кроме редких нахохлившихся сов. Правда, иногда мы находили замёрзшие тельца маленьких птичек, но эти, очевидно, по каким-то причинам отстали от своей стаи или замёрзли на лету при сорока градусах мороза. Белки, раскачиваясь, прыгали с ветки на ветку, иногда перелетая расстояния в несколько метров, осыпая стоящего внизу зрителя каскадами снега. Особенно я любила обходить уже поставленные штабеля по утрамбованным тропкам. На штабелях часто сидели поодиночке, а иногда парочками, прелестные горностайчики. Сидели, приподняв передние лапки, спустив с края бревна чёрные хвостики, и с нескрываемым любопытством следили за человеком бусинками глаз. Они были хорошо видны уже издали, так как были желтее снега и настолько не пуганы, что и не думали убегать. Так я останавливалась, и мы друг друга рассматривали. Если я подходила чересчур близко и вытягивала руку, они, взметнув чёрными хвостиками, мгновенно исчезали.

Уже в январе день становился светлее, и когда, обойдя участок, я шла домой поесть (бригадирам, ввиду близости бараков, это разрешалось, а бригада возвращалась с наступлением темноты), небо приобретало невиданную

в средней полосе окраску. Ещё ближе к весне оно часто было фисташково-зелёным, а снег местами лежал красно-фиолетовыми мазками, неправдоподобно яркими и запоминающимися. Я часто вспоминала Гогена, его необычные, невероятные краски. Он был на крайнем юге, я – на севере, и в нашей полярности было много общего.

Приходила в барак одна, ела и снова шла в лес. За эти полчаса перерыва краски уже темнели, угасали, лес из светло-просвечивающего становился тёмным, мрачноватым, непроходимым. За дни моего бригадирства я отдохнула, окрепла и даже отоспалась, так как у нас появились выходные, которые мы наполовину проводили во сне. Угнетало меня только, что я не знала, как закрывать наряды, а наш десятник был настолько ленив и маловедущ сам, что ничем не мог помочь и только сулил пойти в Эльген и списать указания в справочнике. Но в Эльген он не собрался идти, и вся бригада вскоре села на средний паек. Спас меня от дальнейшего бригадирства ушиб ноги. Спускаясь как-то с обрыва реки, я сорвалась и об камень стукнула кость, к счастью, ниже колена. На кости образовалась шишка с детский кулак, нога вспухла, и несколько дней я даже температурила. Пришлось десятнику самому ходить в лес, а я отсиживалась с вытянутой ногой в бараке, где старалась к приходу работяг хорошо вытопить печь, кому-то что-то починить. Оставалось время и на чтение, но книги добывались с большим трудом.

Однажды, когда я уже стала немного ковылять, десятник направил меня на ночную работу. Все наши женщины немилосердно рвали себе об кусты брюки и телогрейки, и конечно, в клочья снашивали непрочные рукавицы, тоже сшитые из ватного старья. Ночная дежурная получала актированные ватные лохмотья, которыми надо было к утру залатать всю верхнюю одежду. Работа эта требовала большой быстроты, так как без варежек в лес на работу не выводили, а норму еды снижали и портнихе, и порвавшей рукавицу. Любая ночная дежурная понимала, что дыра может стоить пальца, и шила, не отрываясь, всю ночь при жалком каганце, до рези в глазах. К тому

же на «8-м» не было ножниц, и мы выкраивали заплаты кухонным ножом или топором. Эта ночная чинка проходила в нашей бане – низком закопчённом помещении, где стояла печь, бочка с водой, две длинные скамьи и на ночь принесённый длинный стол из столовой, каждое утро возвращавшийся обратно с подъёмом, чтобы Пана успела бы его вымыть.

На ночную работу шли после отбоя и поверки. Мне сказали, что я буду чинить не одна, что в бане сидит Довженко и она мне всё покажет. Когда я открыла дверь и перешагнула за порог, мне показалось, что я вступила в театральную постановку. Помещение всё тонуло во мраке, за исключением маленького огонька светильника, стоящего посреди длинного стола. Около огня, склонившись над работой, сидела женская фигура и что-то тихо бормотала. Платка на ней не было, и от пышных, плохо расчёсанных волос шли по стенке длинные ползучие тени. Когда я вступила в небольшой круг света, она мне дала указания: где игла, нитки и рваная одежда. На мои попытки разговориться она отвечала молчанием, и я погрузилась в работу.

Некоторое время мы шили молча. Было очень тихо, на дворе стояла глухая ночь, и от мороза слегка потрескивали стены. Для точки у Довженко был брусок (каким пользуются косари), она прыскала на него воду и, сбрасывая с лица волосы, быстрыми взмахами точила нож. От ножа и взмахов руки колебался огонёк, и на стене появлялись новые фантастические тени.

Вдруг Довженко положила нож на стол и, приложив палец к губам, повернулась ко мне.

– Т-с-с, тихо – вы слышите?

Я немного испуганно замерла, стараясь вслушаться в тишину ночи, но всё было по-прежнему мертво и безмолвно.

– Нет, ничего не слышу.

– Т-с-с, вот опять – неужели не слышите?

Довженко оживилась, смотрела на меня уже совсем не прежними апатичными глазами, вся напряглась и наклонила набок голову.

– Это мои близкие, они хотят со мной говорить, – наконец пояснила она мне.

Мне стало очень не по себе. Отдалённая от сторожки с бойцами баня, длинный нож на столе и эта – явно помешанная...

– Я их сейчас спрошу – что они думают о вас, – добавила Довженко, – и можно ли мне с вами общаться.

Потом она снова вся напряглась и насторожилась, а я с муторным ощущением где-то в желудке стала ждать решения моей участи. Как-то мне не пришло в голову ни выскочить из бани, хотя дверь была не заперта, ни позвать на помощь.

В полном молчании прошло несколько секунд, наконец Довженко улыбнулась, повернулась ко мне и сказала:

– Они там наверху сказали, что мне вас бояться нечего (господи, ей – меня?!), что вы – хорошая женщина и я могу с вами дружить.

Последнее меня не особенно обрадовало, но, во всяком случае, обстановка разрядилась. Потом Довженко как-то вся успокоилась, стала мягче в движениях и начала тихим детским голоском что-то жалостливо напевать.

За ночь я починила гору одежды, все были довольны, а я пошла спать в барак. На следующий день лекпомша сказала, что Довженко вполне тихая, но в лес её пускать нельзя, и что скоро её должны от нас убрать.

Больше я её никогда не видела.

ТЕТРАДЬ ШЕСТАЯ

Наша уединённость дала возможность присмотреться друг к другу. После болезни я вышла снова на лесоповал простой работягой пилить с Милей Луцкер. Это была приземистая молодая женщина, родом из Молдавии, необычайно добросовестная, довольно ограниченная, вспыльчивая и добродушная. Была она членом партии, заведовала каким-то отделом Наркомздрава и обладала детской бесхитростной верой в правоту своих убеждений. Веру эту она сумела пронести, несмотря на все несправедливости и жестокость окружающей жизни. Наши самые мирные разговоры за пилкой или у костра во время перекура часто заходили в тупик, мы ссорились в дым и молча остервенело работали до вечера. По дороге домой ссора забывалась, а на следующий день начиналась сызнова. Она была еврейской пролетаркой и в спорах всегда ополчалась против интеллигенции и белоручек с ограниченностью, всегда вызывавшей у меня желание этих «белоручек» защищать. В быту она была хорошим, бескорыстным товарищем.

Следующую, и самую молодую пару пильщиц составляли Франциска Штейнерова, чешка, и Надя Бурдельная – кавэжэдинка. Франка мирно жила и работала в Праге, пока не столкнулась с человеком старше её и убеждённым коммунистом. Встреча эта кончилась любовью с обеих сторон и переездом Франки к мужу, в прелестную маленькую отдельную квартирку, где они начали строить счастливую семейную жизнь, пока муж Франки не уговорил её, что строить счастливую и честную жизнь можно только в СССР. Оба романтика оказались в Москве. Их приютили, устроили на работу, помогли с жильём и... арестовали. Франка с милым юмором часто рассказывала нам о своей жизни в Праге.

По приезде в Союз они окунулись в совершенно новую, часто необычайную для них жизнь – привыкали и наблюдали. Добродушно смеясь, Франка рассказывала, что первое время она никак не могла научиться с боем садиться в автобус в часы пик и часами простаивала на остановках, а потом шла пешком. Это были 1935–1936 годы, и автобусы тогда ходили обвешанные. Наконец Франкин муж, человек очень большого роста и порядочной физической силы, просто брал маленькую Франку под мышку, вставлял её между людьми, а сам, страхуя её, повисал на руках на последней ступеньке.

Этот большой рост мужа сразу стал причиной их бытовых затруднений. Кое-как находили обувь по ноге, но костюмов его размеров не было категорически, а с собой они ничего не догадались или не могли привезти в запас. Новые знакомые поспешили на выручку и дали адрес портного, принимавшего частные заказы. Жил он в Сокольниках, и тут Франка столкнулась с деловыми качествами русского мастера. Рассчитав по-своему (по-чешски), что, если костюм нужен к январю, достаточно заказать его в середине или конце декабря, супруги купили материал и поехали в Сокольники. С трудом нашли; это была окраина Москвы и не повсюду висели названия улиц и номера домов. Наконец отыскали и были радушно приняты. Портной оказался словоохотливым семейным человеком и, сняв мерку, пообещал сшить костюм к сроку. На первой же примерке оказалось, что материал ещё не скроен, портной извинялся и усадил их пить чай, клятвенно заверив, что к следующему их приезду он всё подготовит.

Франка говорила, что после этого они ездили в Сокольники вдвоём и в одиночку – то портной болел, то его вызывали по делам, то его не оказывалось дома. Прошли декабрь и январь, и Франка успела хорошо познакомиться с семьёй портного, их всегда усаживали за стол – жила семья в одной большой комнате и всегда что-то ела. Она начала возить в кармане шоколадки для младшего отпрыска, уже встречавшего её с радостным визгом. О сроках почти уже не говорили, а когда Франкин муж в серд-

цах показывал проношенные локти на пиджаке, портной очень сокрушался, что они разного роста и он не может дать ему на время свой. «Мы с мужем, – говорила Франка, заразительно смеясь, – просто ездили, уже не надеясь на благополучный исход». Наступила весна, когда костюм был сшит, и очень хорошо сшит. История с костюмом была не единственная, и Франка говорила, что по всей Чехии невозможно встретить такое...

Этот большой здоровый весельчак муж был арестован незадолго до Франки и тоже попал в северный лагерь, куда Франка, свесившись со своих верхних нар у окошка, писала бодрые хорошие письма. «Ты не беспокойся обо мне, я живу хорошо, в чудном сосновом бору, нас хорошо кормят, и одета я в русскую белую овечью шубку и валенки. Кругом много хороших людей, и ко мне хорошо относятся. Береги себя, милый, и до новой встречи в Москве». Эти письма она читала, весело нам подмаргивая. Но ни ответов, ни самого мужа ей уже не суждено было никогда увидеть.

Франкина напарница, Надя Бурдельная, была настоящим Гаврошем в девичьем облике. Хорошенькая, сероглазая, с чудными золотистыми вьющимися волосами, неистощимо жизнерадостная. Я не могу в своей памяти видеть её иной, чем смеющейся, показывающей прелестные ямочки на щеках и ровные жемчужные зубы. Попала она к нам за своего отца, видного начальника с Восточно-Китайской железной дороги, – его любимица и баловень. Надина мать увлеклась другим и уехала с ним в Циндао, оставив мужу маленькую дочь. В дальнейшем Надина судьба трагично оборвалась после неожиданного громадного наследства, но об этом после, так как я с ней долго была вместе уже на Волчке.

Надя с Франкой, конечно, не имели никаких трудовых навыков и скоро махнули рукой на всякие нормы и пилили, сколько хватало терпенья. Никто из нас не ухитрялся так рвать на себе всё, как Надя. Костёр они тоже не научились разжигать и, замёрзшие и измазанные в саже от костровых попыток, прибегали греться к соседнему. Сшитых из ватного старья рукавиц хватало Наде

на один-два дня, а из ватных брюк висели клочья ваты и сверкали голые Надины колени. За невыполнение норм она обычно получала одежду второго срока и снашивала всё в лохмотья. Прибежит, стуча зубами, и сядет почти в самый костёр, а через несколько минут у неё уже от искры тлеет вата на спине, пахнет гарью, и мы начинаем хлопать по тлеющему месту и тушить пожар...

Надя Бурдельная знала и другую нашу харбинку, Наташу Каганскую, и рассказывала, что за несколько лет до нашей встречи были две знаменитые красавицы в Харбине – Наташа беленькая, угодившая к нам, и Наташа чёрненькая, попавшая в США. Наша беленькая получила первую премию на конкурсе красоты и была так безупречно хороша, что не к чему было придраться. Помимо прелестного лица и дивных пепельных кос до колен, которые она сумела сохранить, она умиляла нас в бане маленькими изящными ступнями ног с идеальными ровными пальчиками... Ни грубые портянки, ни бутсы не могли их испортить, и у каждой, глядя на них, мелькала мысль о редкостном женском совершенстве. Наташе было лет тридцать, выглядела на двадцать, не утруждала свою хорошенькую головку никакими проблемами. Во всё происшедшее с ней она и не пыталась вникнуть, но решительно хотела выжить во что бы то ни стало и, по возможности, сохранить свою красоту, считая, что это её постоянный спасительный источник. Для этой цели она мазала лицо от мороза нерпичьим жиром, а в ширинку своих мужских ватных брюк вшила кусок чёрной курчавой овчины. «Вот эту мелочь ни в коем случае нельзя отморозить, может ещё пригодиться», – говорила она, хитро прищуриваясь. От пилки и резких движений на работе у неё всегда всюду отлетали пуговицы, и выползал наружу кусок курчавой чёрной овчины, вызывавший у конвоиров «беспричинный» смех. Ни пришивать пуговицы, ни вообще держать в руках иглу Наташа не умела – не приходилось. С юных лет она была замужем за крупным торговцем мехом, американским евреем по происхождению, и жила очень весёлой и богатой жизнью. Явно не обладая воспитательными талантами, оказалась

матерью прелестного десятилетнего мальчика, взятого после её ареста родными мужа в Америку.

Спустя год она получила письмо от родных, куда были вложены из фантастического далёка трогательные каракули её сына. Вообще, никакие письма из-за границы, естественно, не доходили, и это детское письмо было почти чудом. Мальчик писал уже слегка американизированным языком, что он учится в третьем классе скула, живёт у родных, но что очень соскучился по маме. Свои карманные деньги он не тратит, чтобы скопить побольше и послать маме посылку. Он знает, что надо посылать чеснок, а что ещё – пусть напишет сама мама. Он научился в своём скуле плести спортивные сетки и, ложась спать, всегда думает, что как только подрастёт, сможет плести рыбачьи сети и этим зарабатывать себе и маме на жизнь. Что мама живёт на море и спит в бараке – он знает, но вот правда ли, что кровати у них называются «нарами» и они двухэтажные? Он очень хотел бы, чтобы мама взяла его к себе, а если нельзя, то он очень будет ждать письма – пусть она напишет, как ей живётся.

Мы слушали это письмо, потрясённые душевной глубиной и преданностью русского мальчика, готового бросить комфортабельную жизнь и ехать к маме на край света и содержать её своим трудом! Такой сын и у такой красивой и пустой мамы!

Что стало с Наташей и её сынишкой – я не знаю, но писем от него она больше не получала и узнала, что муж снова женился и куда-то уехал.

Одно звено в нашей бригаде состояло из жён крупных партийных работников, евреек, с нами остальными не очень общавшихся. У них бывали свои «партийные» разговоры вполголоса, кроме того, все они были начитанными, образованными людьми, и до меня доходили иногда обрывки литературных споров.

Понемногу выяснилось, что Лёля Басехес была женой чуть ли не нашего посла или секретаря посольства в Испании, двое других кончали ИКП и были марксистами, а мать Фиры Цимхес близко знала

Надежду Константиновну Крупскую, которая любила и возилась с маленькой Фирой. Через необычайные трудности и препоны Фирина мать добилась личного свидания с Надеждой Константиновной, рассказала обо всём случившемся и умоляла помочь Фире. Надежда Константиновна жила очень замкнуто, совсем не выходила и, выслушав Фирину судьбу, очень плакала, ходила по комнате и, ломая себе руки, говорила: «Я же ничего не могу сделать, если бы вы знали… ничего но могу».

Пересказ этой встречи вызывал у нас смутные догадки и предчувствия, о которых мы не решались говорить вслух. Помню только, как всё это снова всплыло в сознании, когда через некоторое время до нас дошёл слух о смерти Надежды Константиновны. Единственная бытовичка, затесавшаяся среди нас в бараке, в этот момент красила себе перед маленьким осколком зеркала губы и, увидев наши расстроенные лица, полюбопытствовала: «Это какая Крупская умерла? Зэка́ или вольная?» Не представляя себе, как близко она подошла к истине.

Перед самым Новым годом наш барак решил сделать ёлку и общий праздничный чай. Ёлочку принесли из леса, а из ваты, добытой от лекпомши, и конфетных бумажек стали при помощи хлебного мякиша и ниток мастерить игрушки. Свечей, конечно, не было, но для иллюзии мы расставили вокруг ёлочки два-три светильника с нерпичьим жиром. Новый год совпал с выходным днём. С утра мы оттаяли окно от толстого слоя льда, что, к моему удивлению, было сделано кипятком со стороны улицы, после чего внутри от окна целиком отвалилась глыба льда. До сих пор странно, как это при поливке не лопаются стекла, когда на улице мороз в 45–50 градусов?

Потом к нам пришли гости с соседнего «12-го километра», среди которых были и мои Циля и Муся. Пили сладкий чай с чёрным хлебом и присланной мне колбасой. Потом были ещё халва и печенье. При уходе моих гостей, живших и работавших на «12-м», я снабдила каждую продуктовым подарком, а потом организовала в бараке общий чай из полученных продуктов с воспоминаниями

и рассказами о других, сильно отличавшихся от этого новогодних праздниках.

Ночью мороз усилился. Выйдя из барака, я впервые увидела сполохи северного сияния. Они были первые и потому ещё не расцвеченные. Краски появлялись обычно позднее, к весне или, наоборот, в самом начале зимы. Луны, обычно громадной, плоской, окружённой, как кольцом, светлым нимбом коротких лучей, на этот раз не было. По небу скользили и переливались похожие на лучи прожектора светлые широкие полосы, перекрещиваясь и внезапно исчезая. В перерыве между лучами вспыхивали пучками и причудливыми формами фантастические светящиеся или молочно-бледные костры. Всё двигалось, сталкивалось, разбегалось и возникало вновь.

Мы стояли все в наспех накинутых бушлатах, в валенках, мёрзли и не могли оторваться от зрелища. Ушли только окончательно замёрзшие, когда уже перестала двигаться шея.

После этой яркой ночи задула пурга. Нас так заносило за ночь плотным слоем снега, что утром еле-еле выбирались наружу. Работы в лесу прекратились на два-три дня. Мы без конца спали, чинились, разговаривали и у кого что было – читали. Уже тогда мне показалось странным, что среди нас, честно отдыхающих из-за пурги, были одна-две, сидящих дома с освобождением «по болезни» и непрерывно вышивающих какие-то занавеси, скатерти. На наши вопросы нам объясняли, что делалось это из любви к искусству, а что материал был чужой. Когда все эти вышивки начали украшать комнатёнку лекпомши, так же как и присланные в посылках вещи, многие стали что-то прикидывать и соображать, да и больные наши имели обычный вид и ничем от нас не отличались. Теперь мне, конечно, всё ясно, но тогда почти все мы были настолько порядочны, так привыкли добросовестно относиться к труду. Настолько наша жизнь «в миру» 1936–1937 годов не знала взяток, что некоторые, в том числе – к стыду своему – и я, охотно верили, что больные наши страдают чем-то внешне не доказуемым, а что вышивают, чтобы отвлечься от тоски по дому. Про

вещи из посылок обычно говорили, что их продавали – что тоже не возбранялось.

Так, без особых событий, дожили мы до новой весны, когда пилить становилось всё труднее, а сухое дно ручья, через которое мы ходили в лес, стало потихоньку наполняться водой. Ещё некоторое время мы ходили через ручей уже по скользким мокрым брёвнам, поминутно рискуя сорваться в воду, что означало насквозь промокшие портянки и валенки, а вслед за этим и отмороженные ноги. Несмотря на весну, мороз держался между 20 и 30 градусами ночью, и только днём слегка таяло.

В лесу немногие бытовички сразу сбегали на свиданья к своим ухажёрам, тоже блатнякам, неведомыми путями попадавшим к нам в лес. Бойцы нас в лес не водили, а нам полагалось видеть и не видеть. К концу рабочего дня в расплату за любовь парень натаскивал нужное количество напиленного, а иногда, когда не было откуда таскать, напиливал с таким же товарищем сам, чтобы не было придирки к даме сердца или, упаси бог, отсылки её и другое место. Дама же, вкусив сладость любви где-нибудь поблизости за штабелем, уже мирно сидела у костра и ела, руками разрывая, белый хлеб и колбасу. Состоявшаяся сделка никому не причиняла вреда, к тому же боец, обычно получавший папиросы, и не появлялся, и не мешал.

Коснулась любовь и нашего барака. Одна из молодых колхозниц из Марусиного звена сперва встречалась с молодым пожарником из Эльгена в лесу, а затем даже бегала к нему на свидания. Кончилось это тем, что к концу нашего пребывания в лесу Зина явно пополнела, часто плакала и о чём-то шепталась в своём углу барака, а потом перешла в Эльген в бригаду мамок. Её пожарник был из немцев, выглядел молодым и приятным парнем, неуклонно делал Зине через регулярные промежутки времени по ребёнку, так что к концу срока Зина имела уже троих ребят и при помощи того же пожарного устроилась работать в детских яслях нянькой. Зина была чрезвычайно сильная и ловкая в работе, не лишена привлека-

тельности, и судьба её наградила. Её немец-пожарник дождался конца её срока; они мирно сочетались законным браком, и он увёз свою семью куда-то на юг, к своим.

Не всем так всё сошло благополучно, как Зине. Была у нас молодая секретарша-переводчик С. В., соблазнённая обещанием одного бытовика, работника почты, доставить её письмо на материк через отъезжающего вольного, минуя лагерную цензуру. Письмо было действительно отправлено, и близкие бедной С. В. узнали, в чем её обвиняют, как она живёт, не узнав только, какой ценой всё было сделано. А наша бедная С. В. начала ходить в Эльген лечиться от венерической болезни. Все мы знали, что её постигло, и все, точно сговорясь, делали вид, что верим в лечение хронической ангины, ради чего она каждую субботу ходила «смазывать горло». Надо сказать, что от болезни она вылечилась, потом устроилась работать почти по специальности в самом Магадане, а сейчас мирно живёт и имеет мужа и дочь. Сдружиться с ней по-настоящему никто не хотел, была она скрытным и довольно фальшивым человеком, и я нечаянно как-то раз ночью видела в Эльгене, как она в темноте поедала, чтобы не делиться, присланные ей в посылке консервы, чего обычно никто не делал.

Кончилась наша первая зима на самостоятельной командировке. Снова ожидался этап в новое место и на новую работу. Снова мы в страхе жались друг к другу и боялись будущего. Ведь нам никогда не говорили, куда переводят бригады, а переводили иногда не только в Эльген, но и в другие посёлки в глубину тайги и даже на рыбозаводы в Олу, на берег Охотского моря.

На этот раз был всё тот же Эльген, с теми же уже знакомыми работами – пилка дров, маты, горшочки, пикировка и посевная.

Как и всегда, при переброске наша бригада перестала существовать как отдельная единица. Мусю Ковалеву перевели на конбазу, Цилю Ершову неожиданно перевели рабочей на пекарню, где бедная женщина работала в страшной жаре, не успевая менять на себе мокрую спецовку. В дальнейшем она работала помощницей

пекаря, что означало хотя и постоянную сытость, но было изнурительным мужским трудом и надолго лишило Цилю свежего лесного воздуха.

На нарах в новом бараке сперва оказалась моей соседкой Анна Михайловна Перновская, пока мы с Цилей не нашли друг друга и не устроились жить вместе в другом бараке.

Анна Михайловна была старой чекисткой, и хотя по возрасту немногим старше меня, успела не только смолоду работать в ЧК, но и побыть за границей по секретным партийным заданиям. Это была некрасивая суховатая женщина, на редкость прямолинейная, умная и начитанная. Вышла она замуж тоже за чекиста, успела довольно счастливо прожить с мужем около десяти лет и родить от него дочь и сына.

У неё был настоящий дар раздобывать книги для чтения, и на этой почве мы сдружились. К тому же меня мучила мысль, что нельзя же так не противиться злу и являть собой эдакую овечку на заклание, и я начала мысленно писать прокурору просьбы о пересмотре моего дела. Правда, меня, как и многих других, пугали факты прибавления срока к уже имеющемуся после заявления прокурору и «пересмотра дела». Я впервые рассказала Анне Михайловне о своём «деле» и призналась, что, судя по всему, я сижу за то, что была женой англичанина, с которым давно развелась. Анна Михайловна была человеком сведущим в юридических делах, но я не могла не заметить, что моё признание замужества с иностранцем её слегка насторожило. Уж слишком сильна была в ней чекистская жилка. Так промучившись и просовещавшись, я подала заявление о пересмотре моего дела, вероятнее всего, никуда из Эльгена не отосланное и уничтоженное вместе со многими другими в местной прокуратуре. Во всяком случае, никаких последствий это заявление не имело, и всё шло по-старому.

С этой же Анной Михайловной мы перебирали в памяти по нашим редким выходным дням всё, что успели увидеть и прочитать. Была она умным и интересным собеседником. Помимо разговоров с Анной Михайловной

и, конечно, писем домой, я ещё изредка ходила в клуб на кино и самодеятельность. Наша лагерная самодеятельность ставила «Ревизора» и с энтузиазмом готовилась к постановке. Очень скоро стало заметно, что ухаживание Хлестакова за дочкой городничего Машей на сцене, а в жизни за Женей Луговской (одной из трёх сестёр Луговских) – всамделишнее, так же как и первая любовь молоденькой Жени. К сожалению, актёр, игравший Хлестакова, обладал многими качествами персонажа и был не на высоте, но Женя наделяла в простодушии первой любви своего возлюбленного всеми добродетелями и была счастлива, невзирая на обстановку. Попадая случайно поздно вечером в клуб или заходя за книгами, можно было по лицу репетирующих прочитать нехитрую историю их влюблённости и посочувствовать их отрешённой радости.

У всех Луговских была лёгкая формулировка и небольшой срок (всего пять лет!), и влюблённые в конце концов поженились и была у них девочка. Но помнится, счастливы они не были, и Женя от него ушла.

Необычайным был в этом кружке Добчинский. Я забыла сказать, что «Ревизор» переделали в музыкальный водевиль, и актёры пели. За нехваткой мужчин в нашем женском лагере некоторые роли пришлось дать женщинам. Добчинский достался молоденькой маленькой блатнячке с приятным голосом и недюжинными актёрскими способностями. Мужскую роль она взяла с радостью, так как это оказалась та самая Маруся или очередная «Аллочка», по неведомым причинам давшая исколоть татуировкой всю свою спину и ноги. Чрезмерно наглой она не была и стеснялась той смеси мещанства и похабства (иногда в стихах), которой была исписана. Работала она возчиком на конбазе и, разъезжая на лошади по лесу, накладывая дрова и долготьё, распевала от корки до корки не только свою, но и все арии. Память у неё была прекрасная, она увлекалась самодеятельностью и на репетициях была совсем другим человеком.

Конечно, сама постановка требовала больших хлопот и изворотливости. Клуб выделял только куски фанеры

и краски, а амбулатория с трудом дала немного марли – остальное было делом изобретательности самих участников.

В это время я уже объединилась с Цилей, мы стали жить вместе на верхних нарах в новом бараке и заботиться друг о друге. Циля иногда приносила за пазухой маленький кусочек белого хлеба, а я варила на печке в железном котелке концентраты из посылок, ждала её прихода с горячей едой, и витала вокруг нас иллюзия семьи и домашнего уюта. Циля рассказывала перипетии своего романа с пекарем Гришей, увы, такого неизбежного и нетребовательного, а я ей рассказывала о прочитанных книгах, о своей специальности и о литературе. Конечно, период этот был очень кратким, так как свободные минуты у нас бывали, только пока лежал снег на полях и не начиналась посевная страда.

Примерно в это же время я познакомилась с матерью и дочерью Бржезовскими, сидевшими в лагере по настоящему пункту 6, а не по подозрению в шпионаже, как все мы, – чем, естественно, они вызывали наше любопытство. Нина была тепличницей, необычайно рьяно и самоотверженно относилась к своей работе и, как могла, заботилась о матери. Внешне она была типичным мальчиком-подростком, носила мальчишечью чёлку, отчаянно курила и за махорку (если бы не мать) была всегда готова обменять последнюю крошку хлеба. Она очень скупо говорила о своей молодости и жизни в Белой Церкви, где окончила агрономический техникум и вышла замуж. Последнее обстоятельство, как я поняла, не вызвало у неё никаких эмоций, кроме грустного признания самой себе, что к разнополой любви она совершенно непригодна в силу каких-то скрытых физиологических качеств, и постоянно трепетно влюблялась в молодых девушек. Внешне это ничем не проявлялось, так как Нина была обыкновенной молодой женщиной, правда, с несколько плосковатой и мальчишечьей фигурой. Эти качества выделяли её среди окружающих и были часто источником тяжёлых переживаний и горя, так как Нина, помимо на-

ших общих трудностей, часто становилась жертвой насмешек и презрительности. Всё это она знала и молча страдала, а за неё вдвойне страдала и терпела её мать, потерявшая и отца Нины, и её брата.

Нина очень долго ко мне присматривалась, прежде чем признаться в своём «шпионаже». А вышло это так: Нинина мать была родом из Польши, где в молодые годы встретила молодого украинца, вышла за него замуж и уехала на Украину. Скоро у них родился сын, а затем и дочь. Мужа переводили с места на место, наконец они плотно осели в Белой Церкви, где Нина окончила школу, кажется, успела закончить агротехникум. Раз как-то неожиданно приехал к ним из Варшавы молодой привлекательный человек, снабжённый рекомендательным письмом от какой-то дальней польской родни, которую Бржезовские к тому времени почти забыли. Время было трудное, гостиница переполнена, а молодой человек прост и обаятелен, и они его оставили жить у себя, благо, у них была маленькая, но своя квартира. Этот их новый знакомый имел какие-то свои дела, часто уезжал, а приезжая, уделял много внимания семье, интересно рассказывал и водил Нину в кино. Потом он внезапно уехал. Через некоторое время он, к радости матери, появился снова, уже на правах хорошо знакомого, чем вселил в мать радужные надежды в отношении Нининого будущего. На этот раз он уже привёз от родных какие-то подарки, шоколад, мелочи и чувствовал себя как дома. Семья была строгих правил, и Нина, несмотря на возобновившиеся ухаживания, не расспрашивала своего знакомого, чем он, собственно, занят и, разумеется, не заглядывала в чемодан, который он попросил её поставить в свою комнату. Не возбуждала ни у кого подозрения и его корреспонденция на имя Нины «до востребования», по причине трудностей, сопряжённых с иностранным паспортом.

Всё шло мирно и хорошо, пока в один прекрасный день не пришли с обыском, не взяли чемодан и не арестовали всю семью. Следствие было чрезвычайно простым и скорым. Нине показали содержимое чемодана,

состоящее из снимков, плёнок и шифрованных писем. Отпираться и говорить, что никто ничего не подозревал, оказалось бессмысленным. Брат получил десять лет лагерей без права переписки, и почему-то Нина с матерью считали, что он попал в Нарым. Никогда никто от него вестей больше не получал, и сейчас я понимаю, что уже тогда его не было в живых; а Нина с матерью получили пункт 6 и десять лет лагерей на Колыме.

Всё происшедшее сделало мать Нины чрезвычайно подозрительным и угрюмым человеком, она ревниво охраняла дочь и постоянно с ней ссорились. Были они очень советскими людьми, но Нина, травмированная своей «виновностью», казалась странной.

ТЕТРАДЬ СЕДЬМАЯ

Как-то рано утром на вахте вызвали человек десять женщин среднего возраста, в числе которых была и я, и повели в больницу для вольных. Больница эта занимала довольно длинное каменное одноэтажное здание с двумя крыльями. Расположена она была в стороне от всех сельскохозяйственных объектов и стояла, насколько я помню, недалеко от бани и Таскана. Нас привели, поставили на дворе около крыльца, после чего конвоир удалился, а мы остались гадать и надеяться на осмысленную посильную работу, да ещё в тепле. Не помню, была ли это Ольга Тихоновна, скорее всего, нет, так как она, по всей вероятности, начала работать врачом в нашем жалком зэка́шном больничном бараке. Вышедшая на крыльцо женщина-врач сперва нас всех критически осмотрела (совсем как наём подённых батраков у помещика!), сразу отослала нескольких, а с оставшимися с глазу на глаз поговорила уже в коридоре самой больницы.

Врачиха обратилась к нам довольно приветливо и вежливо, и, когда выбор для работы санитаркой пал на меня, я ужасно обрадовалась. Не видеть больше этих чёртовых брёвен, не таскать их больше на себе в штабель, не замерзать день за днём до потери чувствительности пальцев рук и ног, не оттирать их остервенело снегом у костра... Быть ежедневно к вечеру до того замученной, что не всегда хватало сил снять с себя верхнюю одежду, – и вдруг такое счастье! Чистота, тепло и обыкновенные живые люди, которые будут ждать моей помощи, возможно, радоваться мне и во мне нуждаться! В своих мечтах я уже видела, как за хорошую работу меня выдвигают в медсёстры и заставляют проходить спецкурсы. Увы, всё это были мечты, а на деле такое действительно могло случиться разве что с бытовичкой. Весь медперсонал

посылался по договорам самим управлением лагерей, и только при полной невозможности заполучить вольного врача или хирурга вакантные должности заполнялись врачами из 58-х, обычно гораздо более эрудированными и самоотверженными, чем их вольные собратья. Врачей в те годы был очень большой недобор, да и работать с заключёнными не всякий хотел, потому и удалось нашим двум-трём врачам работать по специальности.

На следующее утро я явилась, счастливая и полная энтузиазма, получила кое-какой инструктаж от той же врачихи и приступила к работе. Выяснилось, что санитарок трое, что дежурство у нас круглосуточное, после которого полдня и ночь отдыха до следующего развода. Кроме меня, была ещё Надя, миловидная, молодая, весёлая и ловкая в работе украинка, и злая сварливая женщина моих лет. С первого же дня оказалось, что работы уйма, что хорошенькая украинка чувствует себя в больнице чрезвычайно прочно и что сварливая ей во всем поддакивает и слегка угодничает. Я окунулась в целый мир интриг, подсиживания, угодничества и страстной борьбы за своё место. Завхоз, кастелянша, одна из сестёр и мы, три санитарки, были из 58-х, и нам предстояло не только работать сверх всякой нормы, но и быть всё время начеку, так как каждый старался по мере возможности и уменья чем-то поживиться, а для этого нужны были под рукой свои люди, а чужих остерегались. Кастелянша, латая больничное белье, что-то выгадывала для себя; завхоз в небольших дозах присваивал жиры и сахар; медсестра утаивала марлю и рыбий жир; и все вместе питались от больничной кухни и угодничали перед поваром.

Были сложные отношения и между вольными врачами, так как по роду своей работы они попали в равные служебно-профессиональные отношения с хирургом, терапевтом и даже зубным врачом из числа политических. Возможно, был в их среде и осведомитель, и работа требовала, помимо врачевания, еще необычайного такта – дипломатии. Очень скоро дошло до меня, что главврач Елена Тимофеевна, высокая представительная женщина лет сорока пяти – пятидесяти, живёт с завхозом –

беззубым лысоватым тенором в прошлом, человеком, пожалуй, довольно интеллигентным, но в силу сложившихся любовных обстоятельств двуличным и трусливым. Теперь, вспоминая прошлое, думаю, что страшноватая была эта любовь! С одной стороны, Елена Тимофеевна – член партии, работник МВД, женщина чрезвычайно властная, переживающая критические годы уходящей молодости; с другой – зэка́, осуждённый по 58-й статье, рыхлый интеллигент, распевающий в лагерной самодеятельности слабым тенорком довольно пошлые романсы, – почти кролик и удав!

Вот тут-то и выяснила я, в чём сила нашей украинки. В день её дежурств тенор проводил ночь у своей львицы, а украинка носила им от повара еду, стирала и убирала в квартире у Елены Тимофеевны, состоявшей из спальни и столовой, а главное – была на стрёме. Налёты, в особенности ночные, оперуполномоченного бывали и здесь, и Елена Тимофеевна могла «погореть» со своим любовником, а Надя должна была предупредить об опасности и провести опера другим ходом, дав тенору возможность скрыться. Таким образом, любовники были у Нади в руках, и она вела себя совершенно дискретно, прекрасно использовала своё положение, спихнув всю самую тяжёлую грязную работу на нас двоих, и имела полную власть любую из нас выгнать.

Моё первое же ночное мытьё полов вызвало у Нади едкие замечания: «Уж эти москвички, и пол-то вымыть не умеют, и воды-то жалеют до блеска его смыть» и т. д. Кое-как я прощала эти замечания самой Наде, которая при желании могла мыть полы молниеносно и до блеска, но тошно мне было от поддакивания и угодливого хихиканья нашей третьей... Происходили эти замечания обычно по утрам, при сдаче дежурства самой Наде и в тех случаях, когда Надина критика могла достигнуть «на всякий случай» ушей Елены Тимофеевны. В остальных случаях Надя была вполне терпимой.

Теперь я себе просто не представляю, как может один человек, да ещё не больно сытый, проделать в течение суток такую работу! Думаю, что и я была в то время

очень ловкой и быстрой. На моей обязанности было содержать в чистоте уборную, ванную, пять палат, родилку, громадный коридор, сени, наружную лестницу; затаскивать воду, стирать детские пелёнки и всё необходимое в родильном отделении. В течение дня следить за всеми процедурами, обносить больных пищей, быть для всех на побегушках и исполнять всевозможные поручения. Я получила два халата, белый и чёрный для грязной работы, и должна была успевать ещё переодеваться, так как в палату разрешалось входить только в белом, а для грязной работы предназначался чёрный. Белый выдавался на несколько дней, и, чтобы не получать выговоров, я его часто стирала сама. Как-то, сидя в московской амбулатории на приёме, я подсчитала, что в то время я выполняла работу четырёх-пяти человек, да ещё была довольна!

Для большей конкретности я опишу один день.

Утро, часов около семи. Обход врачей происходит обычно часов в восемь, а до него надо успеть в котельной, где стояла ванна, налить в громадный бак семьдесят вёдер воды. После этого обежать все палаты и убрать ночные горшки, обмыть лица и руки лежачим, привести в порядок ночные столики, убрать грязную посуду. Если ночью шёл снег, смести его со ступенек крыльца и сколоть наледь. Потом обход, и я хожу за врачом, выслушивая замечании и приказания. Всякие процедуры проделывает медсестра, а я снова убираю грязные бинты, урильники, горшки, мóю всё и вношу чистое. Обед около часу. Я тщательно мóю руки в той же котельной, надеваю чистый халат, повязываюсь косынкой и через весь коридор иду с подносом на кухню получать еду для вольных. У повара есть список диет, и, если есть желудочные больные, я, помимо общих подносов с едой, бегаю ещё за диетической. Больные ждут еду нетерпеливо, я делаю всё бегом, чтобы не остыла еда и они бы лишний раз не ворчали. Некоторые плохо едят и говорят: «Нянечка, это я совсем не трогал – ешьте сами». Надо успеть доесть, пока бежишь по коридору за следующими мисками, – спрятать негде, разве что в карман, но это только

хлеб. Потом затолкала одну миску под шкаф и на ходу скидывала в неё остатки еды, если они были нетронутыми. Но в то время лежали почти одни молодые мужчины, желудочников было только два человека, и еды не оставалось, так как больные рады были и сами ещё чего-нибудь поесть. Нам еда полагалась только вечером или утром, смотря по дежурству, в самом лагере.

Всё то же происходило во время чая и ужина.

Вечером ещё иногда мыли самых слабых в ванне, я грела воду и наливала её в ванну; греха не буду таить – наливала только необходимое количество, а не так, чтобы человек погружался по горло. Ведь мне приходилось слабых носить в ванну на руках, выносить обратно в постель (если не было выздоравливающих, которые помогали), а затем всю эту воду из-под больного вёдрами вытаскивать и выливать во дворе, так как канализации тоже, конечно, не было.

После десяти часов был отбой, а я доедала оставшиеся от больных чистые куски хлеба или ещё какие-нибудь крохи; грела воду, если не было в тот день ванны; раздевалась, надевала чёрный халат и начинала мыть сперва все палаты, подлезая под каждую кровать и переставляя все тумбочки, потом снова уборную; потом вытаскивала длиннющие половики во двор и чистила их веником и снегом; потом стирала бинты и подстилки после рожениц (если они были) и детские пелёнки. Пелёнки и подстилки надо было, конечно, кипятить, но не было посуды, а в кухню меня, естественно, не пускали. Я с ужасом думала, что, случись какое-нибудь кожное или инфекционное заболевание и начнись проверка, – виновной окажусь, конечно, я, хотя я и говорила врачу о невозможности кипятить почти после каждого дежурства. Для бинтов был автоклав, с которым мне тоже надо было уметь обращаться.

В бытность мою санитаркой один новорождённый всё-таки покрылся прыщиками явно из-за нестерильных пелёнок, но Елена Тимофеевна на моих глазах пинцетом сковырнула пузырьки, смазала марганцем и выписала «здоровым», сказав приезжей и очень простецкой

матери, что на Севере это бывает и что в тепле у ребенка всё пройдёт!

При большой быстроте (я делала всю работу бегом!) и отсутствии рожениц и очень тяжёлых больных я кончала всю уборку и стирку часам к трём-четырём утра и могла вздремнуть до шести на сложенных табуретках в котельной, где было потеплее.

Вот так я работала целые сутки и обычно уходила с дежурства не в восемь часов, как полагалось, а в десять-двенадцать, так как всегда что-то приходилось доделывать.

Были у меня больные, которых я запомнила на всю жизнь, были печали, радости и благодарности.

В этой больнице впервые умирали у меня на руках, впервые я присутствовала при родах и впервые при операции.

Придёшь, бывало, рано утром и с удовольствием стаскиваешь с себя валенки, ватные штаны и бушлат. Остаёшься в своём домашнем платье и сшитых из обрезков тапочках. Вместе с обмундированием снимаешь с себя всё казённое и становишься обыкновенной женщиной, у которой большая семья и масса хлопот по дому. Повязываешь косынку, надеваешь белый халат, тихонько открываешь дверь палаты и слышишь: «А мы вот лежим и думаем, что это наша няня не идёт», – встречают меня больные. «Уж не пошла ли сперва в ту крайнюю палату, а теперь, значит, долго ждать!» Я успокаиваю, говорю, что хожу утром в палаты строго по очереди, и подхожу к каждому, что-то поправляю, убираю. Рассказываю о новостях: столько-то градусов мороза, что слышала в бараке, кто уже выписывается и т. д., иногда добавляю: «Только что привезли бочку квашеной капусты...» Общее оживление: капуста вызывает радость, потому что зелени нет никакой. Так же, если в этот же момент не привезли воду или не отзывают, обхожу другие палаты. Всего у нас обычно человек двадцать – двадцать пять больных, и я знаю всех в лицо, хотя разговаривать со мной им не разрешается. Они вольные и обычно члены партии, я политическая зэка́. Но всё же человеческое

берет верх, и эта грань в больнице стирается, а для меня она просто но существует: они все лежат, больные, а я хожу здоровая и молодая и всем стараюсь сказать что-то приятное: «Вы себя, наверно, лучше чувствуете – у вас такой свежий вид!» – и так в разных вариантах по всем койкам. Ужасно довольна, что моему приходу радуются, и это меня заряжает на весь день.

Все больные были со мной хороши, и только одна роженица, жена какого-то начальника, сделала замечание, что я вынесла чьё-то судно, а потом дотронулась до её одеколона, который, уходя из больницы, она мне оставила с кислой улыбкой.

Был у меня сорокалетний костлявый верзила, болевший туберкулёзом кишечника. Во время обхода врач как-то отвёл меня в сторонку и предупредил, чтобы я была с ним особенно осторожной, постоянно мыла руки, и в заключение: «Он, знаете ли, вряд ли выживет, и не тратьте на него лишние силы!» А я – тратила. Таскала его на руках мыться в ванну, без конца стирала ему тряпки и, как только урывала минутку, бегала переворачивать на кругу, чтобы не было пролежней. Он был слаб и послушен, как ребёнок, и только одними губами говорил: «Вы мне как сестра родная – жалеете...» Он почти не ел одно время и, отворачиваясь к стенке, шептал: «Сестричка, берите кашу, она не заразная, я её и не касался», – и я благодарила тоже шёпотом и ела. И всё-таки я его выходила! Помню, с какой гордостью я его водила первый раз по коридору, как радовалась, когда кончился его понос и он начал есть. При выписке он пришёл – высокий, костлявый, но уже бритый и в вольной одежде, сунул мне кулёк с подушечками и, быстро оглянувшись, пожал мне руку: «Таким женщинам, как вы, памятники надо ставить...» До памятника я не дожила, но потом, работая на агробазе на общих работах, я иногда слышала окрик: «Эй, ты, слышишь, твой фраер в гости пришел». И подходил мой выздоровевший больной, приносил кусочек масла или немного сахара, украдкой совал мне это в руки, глядел на меня и уходил. Ему скоро дали отпуск и путёвку на материк, и я его больше не видела.

Помню ещё одного красавца-южанина, парикмахера по профессии и совершенно молодого человека. Он умирал от открытой формы туберкулёза, и спасти его было нельзя. С ним я тоже урывками беседовала, он говорил о юге, и чтобы доставить ему удовольствие, «вспоминала» места, про которые он рассказывал.

– Это там, где растут кипарисы, а вдали горы?

– Ах, ты... ведь помнишь же! – улыбался парень.

Перед самой агонией врач мне дал в последний раз лекарство для него и велел разбавить водой. Стакана или кружки под рукой не было, и мне попалась на глаза неведомо как попавшая к нам рюмка. Я налила её водой, накапала лекарство и пошла к нему. Он лежал у самого окна и был в это время освещён солнцем. Вставать он не мог, еле повернул ко мне голову, приоткрыл один глаз и вдруг:

– Ведь вот, блядюшка, знает что поднести! – взял рюмку и выпил её залпом.

Может быть, он не успел понять, что это не была водка или спирт, но больше глаз не открывал и очень скоро умер...

Но самое большое потрясение я перенесла, когда умер двухлетний Валя. Это был хорошенький черноглазый мальчик, весь в колечках и ямочках. Ко мне он скоро привык и, хотя говорить не умел, быстро что-то лепетал по-своему, часто ловил меня за лицо пухлой горячей ручкой и поглаживал. Сперва я его кормила с ложечки, и он через силу глотал, а потом как-то сразу ослабел, притих и перестал есть. У него был дифтерит, а в больнице не было свежей сыворотки. Помню, когда у него до предела поднялась температура и он начал метаться, звать маму и тянуться ко мне, я не выдержала. Постучалась в кабинет врача и спросила, что можно сделать, чтобы спасти его. Александр Иванович ответил, что он сам проверил всё наличие лекарств в больнице и в аптеке, что сыворотка заказана, что её ждут самолётом и что спасти его нельзя, разве что у кого-нибудь из семейных случайно она есть. Я просидела у Валиной кроватки, молясь о чуде, а после конца работы отпросилась на два часа

и пошла по посёлку. Стучалась в квартиры к вольным, некоторые выслушивали, сочувствовали, советовали, другие смотрели подозрительно: «Он что – вам сын?» – и перед носом закрывали двери.

Я ничего, конечно, не достала и проревела всю ночь, а наутро еле дождалась развода. Когда я, холодея от страха, бросилась к его кроватке – он был уже мёртв и лежал, как большая восковая кукла. Я впала в такое отчаяние, что опустилась на пол. Слезы градом заливали лицо, я ничего не могла делать и с ужасом выслушала дежурную санитарку, что умер он часа в три утра и что сейчас придёт его мать.

Когда она пришла, я ничего не могла из себя выдавить и снова страшно заплакала. Плакала, конечно, и мать, гладила мои руки и говорила: «Вчера вечером у меня не взяли свежие пелёнки и еду, и я уже поняла, что он не выживет, – не плачьте так, моя хорошая! Приходите ко мне, у меня ещё трое таких осталось, а муж бросил, и растить мне их не на что».

Через некоторое время, когда я уже не работала в больнице, я нашла в посёлке мать Вали. Она мне рассказала, что у неё была бытовая статья, срок она кончила, домой (она была армянка) возвращаться было не на что, а тут подвернулся новый муж, с которым прижила она четверых мальчиков, после чего он молча, обманом, бросил её и уехал на материк. Она даже не знает – где он теперь. И вот сейчас она одна работает, детей взяли в детский сад, не брали только одного Валю за малолетством, но теперь и Вали нет...

Всё это она рассказывала, снуя по холодной, неуютной, голой и бедной комнате, а из угла на нас с любопытством смотрели трое мальчишек, трое замурзанных купидонов мал мала меньше, и все как один похожие на Валю.

Был и смешной случай с новорождённым татарским сыном. У отца, страстно желавшего детей, не было их в течение восьми лет, и наконец он с женой, возможно спасаясь от презрительных насмешек, завербовались на Север. И вот тут-то судьба сжалилась над ним, и жена

родила чудного косоглазого здорового мальчишку. Отец был так счастлив, что приподнял меня под локти с пола, а потом мы вместе налаживали две табуретки в сугробе под окном палаты, он на них влез, а я, вопреки всяким правилам, его поддерживала, чтобы он не провалился и не высадил бы окно. Его восторг, когда жена приподняла у окна свёрток с косоглазым сыном, принесённым на кормёжку, был так велик, что он обратно нёсся, размахивая табуретками, и при прощанье чуть не поломал мне руку.

Пришлось мне в больнице как-то получать ребёнка из рук шофёра, вёзшего из таёжного пункта молодую беременную женщину. Доехать она не успела каких-то пять километров. Выхода не было, шофёр остановил машину и, промыв руки снегом, выступил на ролях повивальной бабки. Так всё и произошло в кабине грузовика. Роды были удачные, мать осталась совершенно здоровой, несмотря на мороз и необычайную обстановку, а с попки новорождённой дочки я с трудом отмывала автол и машинное масло. Назвали девочку Олей, и через месяц она стала общей любимицей, так как в промежутках между сном и пищей непрерывно смеялась и радостно брыкалась.

Второй новорождённой, прошедшей через мои руки, была дочка Саши Беленького. Саша Беленький где-то мирно учился в зубном техникуме, когда его арестовали и послали на десять лет на Колыму. Попал он, естественно, сразу на прииск, где отморозил себе вконец все пальцы ног. Это обстоятельство спасло его жизнь, так как получил он инвалидность после ампутации всех пальцев и попал на подсобные работы в Эльген. Был это смышлёный привлекательный парень, который сперва работал с нами на строительстве первых бараков в лагере, а потом его взяли в больницу в качестве зубного врача, где он отчаянно, не страшась ничего, рвал без наркоза зубы, пломбировал и даже делал плохие протезы. Впоследствии он так набил себе руку, что стал уже умелым врачом и был единственным долгие годы, а после освобождения остался на той же работе, очень разбогател

и завёл семью. В то время он сошёлся с одной хорошенькой сорвиголовой-блатнячкой, которая родила ему дочку, затем сына, а потом стала его законной женой.

Впервые я в своей жизни увидела, как человек появляется на свет, и была очень шокирована, когда наша акушерка, взяв родившуюся девочку за ноги, наградила звонким шлепком, конечно, вызвав им первый обиженный рёв. Убедилась я, как сильна наследственность. Когда девочку в первый день жизни распеленали, она тотчас же подвернула правую ножку, а ручку пыталась подсунуть под голову. Присутствовавший при этом, на правах работника больницы, отец ужасно смеялся, говоря, что он не может заснуть, не подвернув правую ногу и не подсунув руку под голову. Именно это, неумело барахтаясь, и делала его однодневная дочь!

Случай с маленьким ребёнком, который покрылся прыщиками от плохо простиранных пелёнок, заставил меня добыть у повара продырявленный сверху таз и в его отсутствие кое-как тайком кипятить детское бельё, вернее, старые и рваные куски простынь. Кипяченье это не всегда удавалось, и я берегла эти чистые пелёнки и тряпки только для рожениц и новорождённых.

Моя врачиха, женщина чистоплотная и очень брезгливая, заставила меня как-то мыть её в ванне. Сперва она просила:

– Лейте, лейте воды, чтобы мне было до самого подбородка, – хотя знала, что мне придётся потом эти пятнадцать-двадцать вёдер вычерпывать вручную и выливать на помойке в конце двора.

Потом я ей тёрла спину, а она говорила:

– Адочка, я знаю, что у вас есть кипячёные пелёнки, принесите мне парочку вытереться!

Неожиданно для себя, я процедила сквозь зубы:

– Вытирайтесь чем-нибудь другим, кипячёные только для новорождённых!

Она накинула на себя халат и молча пошла за этими пелёнками сама.

На следующее утро на разводе меня выкликнули на общие работы в бригаду, которая пилила дрова для теплиц.

В своих записях о больнице я отклонилась от своего намерения как можно больше писать об обстановке работы в лагерях, о природе, о людях и как можно меньше о самой себе. Начну с того, что вкратце опишу, какие у нас в ту пору были начальники лагерей. Об оперуполномоченных мне писать нечего, так как, к своему великому счастью, я ни разу не попала в орбиту внимания «опера», меня не вербовали и не шантажировали. Мне пришлось много слышать, каким это было отвратительным злом в центральных лагерях, где «оперы» насаживали и вербовали своих осведомителей – просто говоря, доносчиков, создавали новые «дела» и «организации», потом на основании этого быстро продвигались по службе. А несчастные, ничего не подозревавшие зэка́, облегчившие душу, поведав свои сомнения в дружеской откровенной беседе с необычайно отзывчивой и приятной женщиной, – неожиданно вызывались на «дознание», получали дополнительный срок и даже изредка «вышку». Всё это практиковалось в близких лагерях с большой скученностью. Мы же были на самом Крайнем Севере, на самых тяжёлых работах, катиться дальше по наклонной было уже некуда, а наше начальство и всякий, работавший в системе НКВД, получали двойные ставки Крайнего Севера, бесконечные льготы и поощрения. Мне кажется, они были меньше экономически заинтересованы в новых «раскрытиях».

Короче говоря, мы сперва присматривались, а потом доверяли друг другу; не думаю, чтобы у нас были «штатные» доносчики. За всё время моего пребывания на Колыме я помню только два-три новых дела и дополнительных срока, но не политических, а возникших по сведению счетов или растяпости.

Когда мы только появились на Колыме, лагеря гудели от воспоминаний о недавних жестокости и произволе при Гаранине – начальнике всех Дальневосточных лагерей.

Это был садист и изувер и в 1937 году сделал себе на крови своих жертв головокружительную карьеру. Его боялось всё живое на Колыме. Он создавал процесс

за процессом, «раскрывал диверсии», «вредительства», выводил людей ночью по списку из бараков и тут же их расстреливал. Для дачи новых показаний и пыток была создана штрафная тюрьма на Серпантинке – оттуда живыми не возвращались! Но в чём-то он переусердствовал даже в то время и, сделав быструю карьеру, сам «сложил голову». Орудовал он, главным образом, на золотых приисках, и женские лагеря его не интересовали, а может быть, не успели заинтересовать.

Мы приехали на Колыму, когда эта волна зверств уже прекратилась, а новый назначенный верховный начальник, по слухам, был просто самодуром. Немного притих произвол, и снова вспомнили о призрачной законности.

К нашему приезду в лагере уже довольно долго хозяйничала новый начальник Зайцева. Это была очень полная и бесформенная женщина, лет пятидесяти, с прядями жидких, неопределённого цвета волос, свисавших на серое, невзрачное лицо. Всё было в сероватых тонах, даже глаза навыкате, которые она ещё для важности таращила. Целыми днями появлялась то тут то там её ковыляющая вперевалку фигура. Она отождествляла советскую власть со своей собственной персоной, беспрестанно «якала» и была вполне довольна собой. В разговоре она производила впечатление твердокаменной там, где пахло политикой, в остальном она была баба бабой, любила сплетни, любовные истории и по-бабьи окружила себя всякими старостами, ответственными и просто адъютантами, которые часто её сопровождали, конечно, льстили и развлекали. Думаю, из неё вышла бы в другое время провинциальная помещица, которая бы била девок по щекам за то, что плохо чешут пятки... Но зла в ней не было, и, если не попадаться на глаза и не вызывать у неё желания принимать воспитательные меры, жить с ней можно было. Её от нас перевели уже в 1940 году, и на смену был прислан довольно молодой, в чине лейтенанта, тов. Быстров.

Теперь, оглядываясь в прошлое, легче отмести слой ненужного мусора в своих воспоминаниях и увидеть его несколько иным, чем он рисовался нам в те годы, хотя,

признаться, и тогда он ни в ком не вызывал глубокой антипатии. Это был живой, энергичный человек, чувствовавший себя на своём посту не в своей тарелке, любивший природу и без всякого энтузиазма выполнявший свои обязанности. Когда надо было, он не поощрял доносов и вмешивался сам, но вообще предпочитал особенно не вмешиваться, и мы его часто видели разъезжавшим на лошади, хорошо сидевшим в седле и разглядывавшим в бинокль далёкие сопки. В комариное время он был живописен в чёрной, прикрывавшей его лицо и шлем вуали, которая при быстрой езде развевалась длинным шлейфом от его плеч и летела за ним по воздуху; просто не хватало копья и лат!

В зоне у нас немало было молодых блатарей, главным образом на конбазе, у которых были более или менее установившиеся любовные связи с бытовичками, а иногда и с политическими. Связи эти формально не имели права на существование, и любой начальник мог всегда расправиться с неугодным работником, просто отослав её или его в другой лагерь. Естественно, именно эти пары боялись и, чтобы не навлечь на себя немилость, неплохо работали и скрывали свою связь от начальства. Конечно, все всё знали, но делали вид, что совершенно не в курсе дела.

Работал на конбазе в Эльгене молодой блатарь, у которого была девушка на каком-то ближайшем объекте. Любовь у них была в самом разгаре. Девушка ухитрялась не только почти каждую ночь, но иногда и днём встречаться со своим возлюбленном на конюшне, и они до того забывали обо всём на свете, что кони несколько раз к утру были не чищены и плохо накормлены. Конюха вызывали к начальнику, грозили перевести на «общие» или отослать на прииск, но народ был у нас отчаянный и особого воздействия это не имело. Тогда Быстров разделался с этим делом по-своему. Увидав в один из своих разъездов, как в конюшню юркнула девушка (он, конечно, тоже знал об этой связи), он ещё немного поездил вокруг и, усыпив бдительность любовников, неожиданно появился в конюшне. Было это днём, лошади все работали,

и в пустой конюшне решительно негде было спрятаться, кроме как в большой куче объедьев в углу. К ней-то и направился Быстров, о чем-то беседуя через плечо с подошедшим конюхом, обильно справил нужду по всему сену и, спокойно усмехаясь, уехал.

Девушка во всё это время сидела, боясь себя выдать, как неживая, и, только услыхав топот отъезжающего коня, вылезла, матерясь и отряхиваясь, в своей мокрой телогрейке. Больше не было случая, чтобы лошади не были накормлены и напоены к утру, а конбаза ещё долго валилась со смеху.

Пробыл у нас Быстров всего около года и, как только объявили войну, попросился на фронт. По слухам, получил несколько боевых орденов и был вскорости убит.

Наши два агронома тоже были из числа заключённых. Это были пожилые, довольно приятные люди, из которых один, шестипалый, играл в самодеятельности городничего, а со вторым я столкнулась почти перед концом срока, работая тепличницей на «20-м километре» под Мылгой. Звали его Александр Владимирович. Оставшись иногда с нами с глазу на глаз, он рассказывал, как работал у известного купца Высоцкого и даже ездил от этой фирмы на Цейлон для закупок чая. Отработав добросовестно все свои восемь лет и оставшись в живых, он ещё при мне получил освобождение, но остался работать там же, уже по вольному найму, чтобы заработать себе деньги на отъезд домой. Осенью он присутствовал при заготовке силоса. Для резки у нас использовали как двигательную силу старый, уже отслуживший трактор, который хрипел и поминутно останавливался. Приходилось заново его заводить, а так как ручка у него была давно потеряна или сломана, заводили болтом. Вот этот болт и отскочил при заводе и угодил Александру Владимировичу прямо в висок, убив его тут же наповал.

О третьем молодом агрономе – Якове Ивановиче Ганзелике – я могу написать поподробнее, так как почти всё время работала под его началом. Яша, как мы его все звали, был из немцев Поволжья и, не имея никакого дела, был осуждён на пять лет лагерей просто

по национальному признаку. Думаю, что его фамилию искалечили уже русские, а была она Готзелик. Яша хорошо говорил по-русски, был молод – наверно лет тридцати – тридцати двух, обладал чрезвычайно привлекательной наружностью и мягким весёлым нравом. При первом нашем знакомстве, объезжая верхом картофельные поля при уборке, он неожиданно вырос перед нами в кустах, где мы потихоньку разожгли костёр, чтобы сварить в котелке картошку, подозвал к себе и, свесившись с лошади, сверкая белозубой улыбкой, сказал, что картошку лучше печь, а не варить. «Котелок издали виден, а если печь в золе и углях, то и дыма нет, и начальству ничего не заметно. Видно, все новички ещё!» – добавил он, оглядев всех нас такими мягкими карими глазами, с такими по-девичьи загнутыми ресницами, что мы все были очарованы. К тому же Яша прекрасно ездил верхом и сумел так себя держать с начальством, что ему разрешалось пользоваться настоящими верховыми лошадьми, которых было у нас всего несколько. Как агроном он имел право жить отдельно, а не в общем бараке, и занимал маленькую каморку при одном из агробазных объектов.

При дальнейшем знакомстве я убедилась, что, помимо своих аграрных знаний, он был совершенно некультурном человеком, ничем, кроме девушек, не интересовавшимся. В мужской компании Яша не был особым наглецом и циником, но вряд ли мог поддерживать какой-либо разговор, кроме того, который вертелся вокруг пол-литра. А девушек он любил, даже, пожалуй, они его все любили, а он ласково и мягко давал себя любить и ни в чём не отказывал. Чувствовалось, что был он не злым человеком и жалел все эти девичьи доли, а девичьи сердца безошибочно открывались на этот приветливый голос, на эту ласковую привлекательность, на отсутствие мужской грубой силы. Ни заманивать, ни тем более применять мужскую силу Яше не приходилось. Девушки сами к нему летели, как мухи на мёд, и чуть проскальзывала в его обращении небольшая небрежность, как новая, оттерев свою подругу, вешалась ему на шею. Перепортил Яша девушек великое множество, и были это всё одна

красивее другой, очень молодые и часто из хороших семей. Интересно, что девушки страстно ссорились из-за него, но на него самого никто не обижался. Он умел не только мягко завладеть, но и мягко освободиться. Место свиданий, кроме всего земного покрова летом, было у него удобным и хорошо организованным. Осенью и зимой к нему по делу заходили в каморку девушки. Когда надо было, появлялся Яшин соучастник, вешал на дверь замок и оставался работать неподалёку. На случай появления начальства сподручный что-то врал, а через час-полтора Яша уже сталкивался с этим начальством где-нибудь на объекте агробазы.

Наверно, Яша что-то проделывал со свежими овощами, так как у него всегда была водка или спирт и какая-нибудь вольная еда. Думаю, что всем этим он делился не только с девушками, но, во всяком случае, мужчины его не выдавали, с начальством он ладил, и оно ничего не видело, а девушки были достаточно осмотрительны, чтобы не лишать себя урывков счастья. Яков Иванович хорошо держался, и сникшим я его видела всего один раз. Это в тот день, когда он закончил срок, а все его обожательницы ухитрились в честь его освобожденья даже достать у вольных пирог и вино. Но было это во время войны, Яшу не освободили, а дали расписаться в бумажке, что он задерживается на неизвестный срок «до особого распоряжения».

ТЕТРАДЬ ВОСЬМАЯ

Лето 1940 года ничем особенно не отличалось от предыдущих. Те же работы ранней весной на агробазе, маты, корзины, горшочки; потом посев и пикировка в закрытом грунте; потом посевная, когда надо было в десяти-двенадцатидневный срок засадить и засеять громадные площади. Тепло на Колыме было всего три месяца – в апреле ещё морозы, а в августе уже морозы. Поэтому сроки были сжатые и требовали неуклонного выполнения. Опоздание на одну-две недели становилось катастрофой и грозило неурожаем. Картофель высаживали яровизированным, с небольшими ростками, капусту – уже большой рассадой с четырьмя листочками. Репу и турнепс сеяли и, как наиболее морозостойких, выкапывали уже из-под снега. Овёс хоть и сеяли, но косили зелёным, так как вызреть или хотя бы заколоситься он не успевал.

В посевную приезжало начальство, произносило патриотические речи о славе труда на пользу Родине. Нас немного лучше кормили, и работали мы не разгибаясь от зари до зари, а спали всего по нескольку часов не раздеваясь. На территории лагеря воздвигалась «доска показателей», а если посевная оканчивалась досрочно, в клубе гремел «самодеятельный» оркестр, зачитывали проценты лучших звеньев, после чего перевыполнившим выдавались премвознаграждения от пятидесяти до ста рублей в месяц. Как только оказывалось, что женщины получали деньги, сразу приезжал агент по распространению займов, и нас «единогласно и единодушно» подписывали на наш месячный заработок, то есть на эти же жалкие премиальные. Иногда наши заработки кончались раньше, чем мы успевали выплатить займы, разменных купюр не хватало, и поэтому облигации зачастую до нас не доходили и застревали где-то в бухгалтерии.

В месяцы летней навигации многие из нас получали посылки и письма из дома. Письма родных самолетами не отправляли, так что скапливалась корреспонденция с материка (и наши ответные) где-то в порту и месяцами ждала погрузки. Таким образом, мы получали сразу несколько посылок, а иногда целую пачку писем годовой давности, чтобы, ответив, снова ждать долгие, долгие месяцы. Нас инструктировали, что письма должны носить строго семейный характер, запрещалось писать о работе, на что-либо жаловаться и, конечно, о «деле». Можно было просить о высылке одежды, витаминов и, ограниченно, продуктов. Мы очень скоро убедились, что как только содержание писем углублялось, их просто не отсылали, и поэтому с жаром описывали природу, всегда писали, что живётся неплохо и что мы здоровы, но вот хотелось бы чесноку, сала и белых сухарей... Иногда вдавались в поэзию и декламировали стихи или начальные строфы, давая родным понять, что́ им надо перечитать и сделать вывод. Очень годился для этой цели Кочубей из «Мазепы»: «врагу быть отданным во власть» и т. д. Наши цензоры таких тонкостей не понимали, и ссылка на Пушкина или Лермонтова подозрений не вызывала.

Конечно, вести из дома были сладким ядом, и многие совершенно выбивались из строя, лишались сна и через силу работали. Иногда приходили детские карточки и смешные каракули, рисунки и обведённые ладошки. Серёжа мне прислал два чудных своих портрета – мою постоянную гордость и тревогу. В дальнейшем (военные годы) во время обысков – «шмона», как у нас это называлось, отбирали мужские фотографии. За ними потом надо было идти к «оперу» и давать пояснения: кто, чем занимается, имя, отчество, фамилия. Я этого смертельно боялась, чтобы не навлечь на мужа карающую руку, и потому денно и нощно эти фотографии прятала. Бывали они и в дровах, и в снегу на крыше, и в других малоподходящих местах, но всё-таки я их сберегла и теперь часто на них поглядываю.

Правда, как только я выехала из Эльгена, обысков стало меньше, а тут, помимо нас, 58-й, были ещё и воровки,

постоянно что-то кравшие у начальства. Кроме обычных обысков с поисками краденого, были и ещё обыски перед каждым праздником, в особенности в ноябре и мае. Последние, очевидно, считались «воспитательными» мероприятиями для нас и подходили под рубрику «бдительность» для администрации. Во всяком случае, это всегда было очень унизительным и било по нервам.

Так, в постоянном труде и отупляющей физической усталости, прошло и это последнее моё эльгенское лето, и снова наступили холода.

Убирать капусту в мороз было легче, чем картофель; нам выдавали ножи или отточенные лопаты, и можно было работать в рукавицах. В мороз капуста легко резалась под черенок, и при определённой натренированности каждая срезала громадную площадь, на которой потом вилами эту капусту складывали в кучи.

На этот раз мы были на волчковском поле. Называлось это место Волчком, я думаю, потому, что с одной стороны был недалеко Таскан, с другой – небольшое озерцо, а с третьей – протока. Только с четвёртой стороны были поля, обрамлённые на горизонте дальними сопками, а тут, куда ни крутись волчком, всюду вода, а весной в половодье это место один раз было и островом.

Стоял ясный и холодный конец октября, и мы, навалив громадную гору уже мёрзлой капусты, ждали трактор с санями, чтобы эту капусту погрузить. И вот тут-то и началось настоящее северное сияние, во много раз превосходившее то, что мы ранее видели. Было уже совсем темно, и поблёскивали звезды. Вдруг от края и до края по всему небу прошёл мягкими складками громадный чёрно-бархатный занавес, замер и распался на две половины, обнаружив скользящие красные полосы. Казалось, что это были огни рампы, и сейчас будет сцена, а на ней... но всё уже снова исчезло, потонуло в глубинах малиново-чёрной переливающейся мантии, на фоне которой появились сперва громадные ослепительные лезвия скрещивающихся шпаг, обыскавших все уголки горизонта, и наконец, слившихся в подобие величественного креста.

Это было начало. А потом бешено переносились с места на место целые полотнища фиолетово-красных, чёрных, малиновых драпировок, их разбивали фантастические зеленовато-молочные лучи, а потом кто-то стирал всё, как тряпкой с палитры, и новое очищенное небо начинало как бы фосфоресцировать и медленно разгораться вновь, неестественно белыми мазками. Они внезапно срывались с места, неслись навстречу друг другу, сливались и разбивались на диковинные фигуры и очертания. Это были вихревые пляски света и красок, где каждое движенье и поворот рождали в какую-то долю секунды новый могучий всплеск, и вдруг мягко, плавно исчезали...

Картина эта была столь потрясающа в своём великолепии, что нам казалось: мы присутствуем при сотворении вселенной. Забыв всё на свете, стояли, запрокинув головы, возможно, час, а может быть, гораздо меньше, так как время потеряло свою конкретность и измеримость. Стояли, пока не растаяли краски, потом небо стало посылать на землю уже бледнеющие лучи, которые, обшарив его, плавно с него соскальзывали.

Невдалеке затарахтел трактор, и мы взялись за вилы, молчаливые и уничтоженные... В бараке нас ждала новость. Собирали две бригады для отъезда в тайгу, чтобы жить и работать на месте. Куда отправляли – было, как всегда, неизвестно, но старенькие уже начали готовиться и сколачивать бригады. Обычно в таких случаях выбирали из своей среды бригадира, она, в свою очередь, подбирала остальных. Всё пришло в сдерживаемое волнение. Услыхав, что были разговоры и о новеньких, мы, конечно, жадно к ним прислушивались. Нас успокаивали, что жить вне Эльгена гораздо лучше, подальше от обысков, вахты и «опера»; что, хотя нормы одни и те же, но режим дня больше приноровлен к нуждам работяг; что летом и осенью можно ходить за ягодами и грибами, а зимой пускают в кино в Эльген.

В таком новом волнующем ожидании мы прожили ещё несколько дней, пока, наконец, уже в ноябре нас не отставили от развода и не велели собраться с вещами, предварительно зачитав список. В бригаду попали несколько

моих знакомых: Надя с Франкой, Гета, Перновская и ещё два-три человека, о которых буду говорить. Бригадиром назначили одну странноватую еврейскую девушку с профилем Михоэлса, вокруг которой сразу сплотилось своё, еврейское, звено, говорившее между собой по-еврейски. В остальном это были очень работящие и порядочные девушки из провинциальных семейств, со своими жизненными представлениями, казавшимися нам подчас довольно мещанскими. Мы не дружили, но мирно жили бок о бок. Нас, русских, было на этот раз большинство, случалось, что мы и ссорились, главным образом, из-за этого мещанства, но ни о каком антисемитизме не могло быть, конечно, и речи.

На этот раз нам сказали, что пойдём пешком, что эта наша новая командировка довольно близко и что с нами пойдёт грузовик с вещами и инструментами. Шли мы, действительно, недолго, километров шесть-семь, и пришли к той самой опушке леса на берегу Таскана, которой я так недавно любовалась.

Вернее говоря, мы дошли до конца поля ещё по дороге, а потом свернули направо к небольшой площадке, окружённой лесом. Снег был уже очень глубокий, и мы, идя след в след, образовали узенькую стёжку. Дошёл до этой площадки и десятник, откомандированный с нами, сделал неопределённый круг рукой и, отвечая на наши немые взгляды, объяснил: «Вот тут вам и жить, тут и работать, начиная с завтрашнего дня, а сегодня тут и ночевать, так что надо поторапливаться и браться за дело». Кругом было так хорошо, красиво, был такой ясный тихий морозный день, что ничто нас не испугало, но, конечно, крайне удивило.

Сегодня уже где-то ночевать – но где, в чём? Десятник был явно человек бывалый. И закипела работа. Сперва нам всем – а было нас двадцать – двадцать пять женщин, – выдали по лопате, и мы расчистили дорогу от шоссе до нашей площадки примерно в четверть километра. По новой дороге в снегу сперва проехал трактор, а за ним и наш грузовик, скинувший на снег вначале наши сенники и немудрящий багаж, а потом десятка два

толстых досок и громадный брезентовый куль. Расчистили до земли довольно большую квадратную площадь, разобрали и в кучки сложили своё барахлишко, и вдруг почувствовали себя почти дома.

Конвоя с нами не было, все довольно молоды, здоровы, в воздухе витал какой-то дух предприимчивости, даже приключения, совершенно оторванный от всех обычных представлений о доме, ночлеге и привычных устоев. День уже перевалил за полдень, и до темноты оставалось не больше трёх часов. Все были твёрдо уверены, что мы таки будем сегодня здесь ночевать, но как? А дальше события развернулись ещё более ускоренным темпом.

Десятник, шофёр и ещё какой-то работяга, при нашей активной помощи, свалили очень толстое дерево, росшее неподалёку, и напилили из него штук десять-пятнадцать низких чурок. Их ровно расставили по расчищенному месту, примерно на глубине двадцати-тридцати сантиметров от вечной мерзлоты, образуя удлинённый прямоугольник. Затем эта поверхность была плотно уложена привезёнными досками, и пол нашего дома был готов. В центре оставили не закрытый досками квадрат, на который натаскали мешками и вёдрами битый кирпич и песок, привезённый на том же грузовике. Потом трое мужчин с нашей неумелой помощью вбили в мёрзлую землю колы, поставили стойки и натянули большую брезентовую палатку. В палатке было пять небольших слюдяных окошек с брезентовыми, закрывающимися коклюшками клапанами, была откидная на ремнях дверь и четырёхугольная дыра в потолке. И это всё. Теперь нам предстояло вырезать в снегу большие квадратные глыбы и обложить ими снаружи стены натянутой палатки, примерно до высоты плеч, до того места, где были оконца.

Грузовик наш уехал, обещав скоро вернуться и привезти нам печь и топчаны. Уже стемнело, когда он привёз обещанное, но у нас был уже снежный дом с окнами, дверью и деревянным полом. Мы быстро разобрали топчаны и даже несколько деревянных кроватей, покрыли их своими тощими тюфяками и с интересом следили, как на груде кирпича и песка в центре палатки двое мужчин

установили большую бочку из-под автола с примятым верхом и железной дверцей, провели к ней трубы, укрепив их проволокой от ближайшего подпорного столба, и вывели конец в отверстие в потолке. Нам привезли даже большой стол, несколько скамеек и лампу.

Мужчины, оглядев сооружение и поворчав, что по этому поводу, естественно, надо было бы выпить, критически нас осмотрели и, не найдя ни одной блатнячки, махнули рукой и уехали обратно в лагерь. А мы протопили отходами досок печь, вскипятили на ней воды, поели привезённого с собой хлеба и улеглись спать одни в палатке, затерянной среди снегов у опушки леса.

Несбыточное свершилось. Мы действительно спали в своём, собственными руками воздвигнутом доме, было тепло, а в тёмном квадрате потолка мягко светились звёзды.

Наутро к нам приехал Яков Иванович, дал какую-то работу, но жили мы ещё некоторое время одни, без конвоя. Конечно, дальше так продолжаться не могло, мы были безоружны (если не считать топора) и беззащитны. В лесу могли быть звери, а главное – беглые каторжники, и нам скоро сменили нашу женщину-бригадира и прислали Николая Александровича Чулякова, осуждённого по постановлению «от седьмого восьмого» на десять лет. Командировку расширили, поставили рядом с нами, тем же способом, новую маленькую палатку для Николая Александровича и даже, насколько помню, небольшой дощатый сарайчик, где лежали наши инструменты зимой, служивший нам столовой и кухней летом. Обеспечив, таким образом, нашу женскую бригаду мужчиной и «защитником», лагерная администрация решила не расходовать на нас специального конвоира, а только проверять неожиданными наездами. Н. А. Чуляков не был злым человеком, и работать с ним можно было, а жизнь на самообслуживании хотя и стала труднее, чем в лагере, но давала и некоторые льготы, а главное – была спокойнее и чувствовали мы себя почти свободными.

Эта кажущаяся свобода расправила плечи, и из-под спуда то здесь то там начало выглядывать женское

начало. Всё то, что было возможно скрывать в большой массе, стало на виду у всех, и начали на Волчке появляться и расти бледные слабые побеги северной любви. Мужчин, да ещё полноценных, было так мало, что сразу скрестились чьи-то чувства и ожил наш трудовой день скрытыми женскими переживаниями, влюблённостью, ревностью. Переехавшая к нам на Волчок Гета вдруг проявила необычайные для её плавной и немного ленивой натуры лёгкость и организованность и по вечерам убегала на далёкие свидания, а потом, обнаружив, что её предмет начал сперва поглядывать на Надю, а потом ею всерьёз увлёкся, немного походила грустной и молчаливой, но чувство женской гордости, юмор и необычайно лёгкий Гетин нрав взяли верх. Так и жили они дальше вместе – бывшая и настоящая дама сердца.

Николай Александрович не был ни хорош собой, ни умён, ни образован, но был крепким сильным человеком, довольно добрым, и вызывал уверенность, что на него можно опереться и искать защиты. Слабых он не обижал и даже пригрел и подкармливал у себя в палатке дикого приблудного кота Ваську.

Наша Надюша сперва кокетничала с Николаем Александровичем, а в конце концов его полюбила своей первой девичьей любовью и убегала к нему по ночам. В общем, у них всё шло хорошо, хотя иногда наш Гаврош вдруг прибегала со свидания в слезах, гневно трясла кудрями, клялась, что «он» – дуб, «ничего не понимает», что она и видеть «больше не хочет». Потом под каким-нибудь предлогом заходил сам, поверженный Надей в прах, искоса на неё поглядывал, и наша девочка не выдерживала и через десять минут уже бежала к нему в палатку. Слышен был приглушённый шум голосов, потом всё затихало, и через некоторое время появлялась сама Надя – обрёванная, но уже сияющая и с ямочками на щеках. Я была Надиной соседкой по койке и потому невольной свидетельницей всех её переживаний, часто её утешала и часто внутренне любовалась. Такой это был фейерверк детской влюблённости, смеха, радости, на наших глазах превращавших эту девочку в горячую,

страстную женщину. Эх, не стоили все эти колымские мужчины той любви, что им сама судьба незаслуженно бросала в руки, но для нашей Нади Николай Александрович был настолько окружён ореолом её собственных чувств, что относиться к нему критически она просто не была в состоянии...

Заезжал как-то на Волчок по пути в Эльген какой-то трактор из тайги. Рядом с трактористом сидел механик – высокий, широкоплечий молодой и чрезвычайно привлекательный блондин. Как этот северный Зигфрид не угодил на прииск – трудно понять, думаю, статья у него была бытовая. Конечно, так просто в девичью бригаду, где трактору нечего делать, не заезжают, и выяснилось, что Степан – увлечение нашей бывшей бригадирши с лицом Михоэлса. И здесь судьба перепутала карты, и Степан начал усиленно ухаживать за нашей Франкой. Дело и у этих очень скоро пошло на лад, Франка начала что-то очень часто отпрашиваться по делу в Эльген – отдать книги, показаться врачу, сходить в контору, и возвращалась после этих прогулок «по делу» счастливая и возбуждённая. Она ещё не успела сносить все свои чешские свитера и платья, была часто очень мило одета и вызывала наши весёлые улыбки, когда, раздеваясь в нашей общей палатке, являла на хорошеньких комбинациях следы вымазанных в мазуте крупных мужских рук. Сперва она стеснялась, а мы все делали вид, что ничего не понимаем, а потом уверилась в своём новом чувстве и весело рассказывала о всяких перипетиях своих свиданий.

Была у нас на Волчке и Стефа Подзис, с которой мы начали с того, что отчаянно цапались на работе при обсуждениях тем морали. Стефа жила под Москвой в Салтыковке и училась на первом курсе экономического института. В Салтыковке она жила на зимней даче сестры, у которой был муж и двое детей – Гена, мальчик лет двенадцати, и хорошенькая дочь Лариса шести лет.

Главной темой наших споров был вопрос о взятках и подкупах. Не знаю, почему Стефе приходилось так много с этим сталкиваться, но несмотря на то что она сама по натуре была человеком честным и порядочным,

она мне без конца указывала на способ получения лёгких работ в тепле, на взятки, которые, по её мнению, должна была брать администрация, на то, что за деньги всё можно купить. Когда дело касалось лагеря, я, конечно, во многом соглашалась, но когда вопрос переносился на жизнь вообще и Стефа начинала громить судей, которые за деньги отпускали воров, заводских мастеров, за взятки бравших учеников, и даже преподавателей, ставивших на экзаменах за мзду хорошие отметки, – я восставала и страстно доказывала, что если и есть единичные случаи, то в массе этого нет. Стефа иронически улыбалась и говорила, что она впервые видит такую наивную дуру в тридцать шесть лет! Эти принципиальные споры нисколько не вредили нашим отношениям, а скорее наоборот, так как, видя мою невыгодную добросовестность в работе ещё на лесоповале, Стефа начала учить меня «практической жизни». Это выражалось в умелом укладывании штабеля на пне срезанного дерева, что сразу его повышало на двадцать-тридцать сантиметров, и показывала как маскировать пустоты, закладывая их щепами, а сверху «личиками», то есть срезами дерева. Я следила, с каким уменьем она выбирала место для штабеля в гуще деревьев и с какой ловкостью находила в ближайших сугробах остатки прошлогодних невывезенных штабелей и перетаскивала бревна на свой, свежий.

Видя мой смущённый вид, говорила:

– Ты дура, Ада, и типичная интеллигентка, тебя обманом на лучшие годы закрепостили, а ты, видишь ли, не можешь чужое бревно взять! Тебя государство во всём обмануло, а ты, видишь ли, благородное чистоплюйство проповедуешь!

Стефины уроки совсем даром всё-таки не пропадали, и мы с ней в паре вырабатывали хорошие проценты, да и сама я стала довольно хорошим лесорубом. У Стефы был неистощимый запас нерастраченного материнства. Дома в Салтыковке она была второй матерью для своих племянников, и наверно лучше их родной. Воспитывала их, постоянно учила спорту, готовила с ними уроки, читала, занималась. Она жила ими на воле и без конца

рассказывала о них в лагере. Сама она замуж хоть и собиралась, но выйти не успела и очень скоро сошлась с долговязым некрасивым нормировщиком Мишей Тарасенко, оставившим дома очень простецкую жену и троих некрасивых угловатых детей. Этот Миша был отчаянным бабником и стоил Стефе больших огорчений. Но она упорно за него держалась, Миша стал появляться на Волчке, и очень скоро Стефа начала подозрительно полнеть, что её ни капельки не смущало, а наоборот, делало всю её жизнь осмысленной и полной.

– Вот рожу «красавчика» от Миши, тогда все завидовать будете! – говорила Стефа, искренне уверенная, что её длинноносый и довольно некрасивый Миша тоже «красавчик».

Беременность её совершенно переродила: реже устраивались резкие крикливые принципиальные споры, стала она заметно мягче и заботливее к своим товаркам. Без конца строила планы, как она назовёт «красавчика», как напишет об этом Лариске и Генке, своим племянникам, удивляя нас полным отсутствием таких естественных у женщины в её положении страхов и волнений. «Красавчик» так вошёл в её жизнь, что она уже высчитывала, сколько ему будет времени, когда она окончит срок (у Стефы, к счастью, было всего пять лет), и чему и как она его будет учить.

Вот так у нас на Волчке сразу объявились семейные пары, а в дальнейшем, когда весной к нам прислали ещё одного хромого молодого агронома, селекционера Степана с какими-то очень русскими отчеством и фамилией, сердечные переживания завладели и ещё несколькими.

Теперь, кроме упомянутых, мне хочется ещё рассказать о людях из нашей бригады.

Трудно сказать, что привело сестёр Сухацких из глухого городка Ананьева, что в Одесской области, на Крайний Север – то ли правдивые высказывания по поводу нерадивого колхозного хозяйства, то ли вопросы веры, но получили старшая Матрёна и младшая Марфа по десять лет лагерей. Они не переставая удивляли всех

своей рабочей сноровкой, чрезвычайной скрупулёзной честностью и уменьем в любых условиях и на любой работе перевыполнять норму. Обе они были малограмотны и ничего, кроме своего хозяйства в Ананьеве, не видели, но Матрёна обладала недюжинным умом и осаживала собеседников. Отличалась она меткой, скупой критикой и неистощимой любознательностью ко всему, начиная от вопросов мироздания и кончая политикой, в которой сёстры мало разбирались и к которой подходили с сугубо индивидуалистической точки зрения. В быту они несколько сторонились коллектива, держались друг за друга, никогда не посягали на не заработанное ими самими, но за всё выданное, отведённое и добытое честным трудом – стояли горой.

Марфа была лет на десять моложе, но не отличалась ни умом, ни какой-либо самостоятельностью, всегда во всём поддерживала сестру и всюду за ней следовала. Мне кажется, она была злее и ограниченнее своей сестры, тогда как Матрёна, если её не растревожить, была добродушнее и не лишена юмора. Обе жили до того аккуратно и чистоплотно, что мы не раз удивлялись, когда они успевают всё починить, залатать и постирать. Дело касалось не только их личной безупречной чистоплотности, но и всего, чего касались их руки. После работы они чистили или отмывали свой инструмент, ежедневно чинили и выворачивали варежки, вычистив их перед тем в снегу. Весной, когда нам выдавали для работы корзины или мешки, они то и другое прополаскивали в протоке, а затем высушивали на солнце; даже верёвки с деревянного короба, содержавшего их немудрящую одежонку, они стирали и развешивали. Питались они только лагерным и ни от кого никогда посылок не получали. Выходили на работу на Волчке первыми. Аккуратно одетые, починенные, в ватных штанах и чистой, смотря по сезону, обуви, подпоясанные стираной верёвкой. Матрёна довольно высокая, подтянутая, несколько сухопарая, а за ней след в след идущая Марфа. Работали они синхронно, и если смотреть сбоку, то два кайла или две лопаты поднимались и опускались почти одним движением спаренных

рук. Обе шли в ногу обедать, и даже ночью, если вставала по нужде Матрёна, то тотчас просыпалась Марфа и молча следовала за сестрой.

Говорили они только по-украински и, хотя прекрасно понимали русскую речь, отвечали только по-своему, густо пересыпая сказанное: а это що такэ? Да хиба ж можно, як надо робить и т. д. В праздники они сидели в своём углу на надраенном топчане и проветренных сенниках в белоснежных косынках и что-то грызли. Изредка мы просили их спеть. После некоторых застенчивых отказов они садились рядом на скамейку и на два голоса пели про пойманную птицу, которая не могла жить в неволе. Пели они с таким мастерством, столько было в этом пении и художественного чутья, и глубокой задушевности, столько уменья передать и свою тоску по свободе, и чувство глубокой оскорблённости за попрание человеческих прав, бесконечной грусти за долю русской женщины, что мы всё понимали и чувствовали то, чего они никогда не сумели бы передать словами. Матрёна запевала и смотрела куда-то вдаль, и расступались перед ней холодные стены, и видела она сады своей Украины, а Марфа опускала ей на плечо голову и вторила высокими срывающимися нотами. Пели они всегда вполголоса, а мы молчали и плакали.

Злых у нас было три. Шура Богданова – в прошлом стахановка и передовая работница какой-то фабрики, где она работала с юных лет. Это была ожесточённая грубая матерщинница, презиравшая всех нас и за образование, и за интеллигентность, и за то, что никто из нас ранее не занимался физическим трудом. Нас было большинство, и потому мы её держали в известной узде. Работала она хорошо.

Полька Владя была вруньей, очень хвастливой, и злилась, помимо общих причин, ещё и на то, что судьба её столкнула с русскими, да ещё образованными, которые, по её мнению, пили кровь простого народа и сидели заслуженно. Не думаю, чтобы она верила во всё то, что кричала нам в минуту запальчивости, но приятного в ней было мало, и она часто срывалась.

Последняя злыдня была наша повариха Капа Шуст. Женщина средних лет, жившая ранее в Харбине, в хороших материальных условиях, за спиной у богатого мужа. Эта нас ненавидела за то, что мы – советские и за то, что мы из кожи лезем работая.

– Я для вас всех стараюсь, я для вас, советских дур, работаю, – злилась Капа, – а вы все чего выслуживаетесь? Вам в морду плюют, а вы вытираетесь и снова подставляете!

Вежливость – «Будьте добры, пожалуйста, посторонитесь, извините» и т. д., то есть то, к чему большинство было приучено с детства и что оказалось невытравимым даже на лесоповале, – приводила её буквально в ярость:

– Вы не люди вовсе, а попки, которых чему-то научили, что они и будут делать всю жизнь, марионетки на верёвочке...

Между вспышками ярости она была всегда ворчливая, надутая и язвительная. Но кормить она нас старалась как можно лучше и сытнее, а в остальном мы избегали иметь с ней дело.

Нора Сукут была латышка, и к тому же жена члена правительства буржуазной, досоветской Латвии, арестованного и пропавшего без вести. Трудно было разобраться – кто она на самом деле, до того она была полна противоречий. С одной стороны, довольно спесива, самоуверенна и ленива, с другой – светски любезна, общительна и неплохой товарищ. Те же противоречия были и в её внешности. Очень привлекательная светловолосая голова с подстриженной чёлочкой над фарфорово-синими глазами, опущенными длинными ресницами, с тупым носиком и детски пухлыми и капризными губами. Шея, грудь, спина у неё были безупречны, но потом, к сожалению, шёл грузный тяжёлый зад с такими толстыми бесформенными ногами, что приходила в голову мысль, что торс посадили по ошибке не туда, куда было намечено.

Нора говорила, что все русские губят всю еду солью, что у них атрофированы вкусовые органы; вымачивала всё солёное до полного безвкусия и любила свысока рассказывать какие у них чудные молочные продукты

в Латвии. (Бедной Норе, крупной и высокой, было явно очень голодно.) Как она хорошо одевалась, как ей шёл загар и большие соломенные пляжные шляпы. Была она довольно симпатичной и в высшей степени респектабельной. Последнее качество поставило, с моей точки зрения, Нору в чрезвычайно глупое и даже – это я говорю с большим сочувствием – смешное положение. Как я уже писала, жили мы и работали на Волчке почти на свободе, а возраст большинства не достигал или немного превышал тридцать лет. Всё это были вполне нормальные здоровые девушки и молодые женщины, изголодавшиеся по ласке. Коснулась первая же весна на Волчке и Нориного сердца. Начала она, неожиданно для всех, кокетничать и заигрывать с одним молодым бытовиком, присланным к нам в качестве пахаря. Ваня держал плуг, а Нора водила лошадь под уздцы, а потом они отдыхали в конце поля в кустах. Нора начала носить какое-то подобие сарафана с открытой спиной (ранним летом комаров ещё было мало) и повязывать голову чрезвычайно ей шедшей голубой косынкой. Ваня был высокий привлекательный парень и, попавши в нашу бригаду, пялил на всех глаза. Пустился в какие-то откровенности относительно того, что происходил от образованных культурных родителей, но попал в беду из-за плохой компании и т. д., то есть обычное вранье бытовика, которому никто из нас не верил, но которому вдруг поверила Нора. Она раза два даже приводила этого парня обедать в бригаду (поскольку поле было рядом, мы в обед ходили домой), была с ним светски игрива и любезна. Потом, когда Стефа или кто-то ещё пытались открыть ей глаза, что Ваня таскается за любой юбкой, Нора, гордо запрокинув голову, заявила, что это просто бабья зависть, что она поможет Ване встать на ноги и выйдет за него замуж как только освободится.

Ваня, впервые, наверно, попавший в такое положение, во всём поддакивал Норе, вряд ли отдавая себе отчёт в том, как всё выглядит в представлении самой Норы, и был не прочь побаловаться с высокой представительной молодой женщиной, явно клюнувшей на приманку. Всё это было ясно для всех нас, но не для

Норы, написавшей, к нашему ужасу, письмо домой, в буржуазную латышскую семью, о своём намерении выйти замуж. Не знаю, какой сумбур в представлении о трудовых лагерях могло бы вызвать такое заявление, но родные, очевидно, решили, что дела не так уж плохо обстоят, если единственная дочь собирается замуж, и в следующей поздравительной телеграмме (они разрешались на революционные даты), после обычного в таких случаях поздравления, приписали, что готовы любить Ваню (Нора и имя послала) как сына. После этого Нора пропадала по вечерам на поле, стала подкрашивать брови и ресницы, была весёлой и даже несколько болтливой. Мы уже не говорили на эту тему и ждали развязки. Наступила она, к счастью для Норы, довольно быстро. Ваню перебросили на другую работу, было ещё несколько свиданий, после которых всё кончилось. Нора понемногу обрела свой обычный вид, но на что она рассчитывала, имея сама десять лет лагерей, – трудно понять, разве только была вся эта идея с замужеством вызвана непреодолимой буржуазной респектабельностью! Что случилось дальше с Норой – я не знаю, и после Волчка мы уже больше не встречались. Но я видела Нору в Риге в 1970 году, где Нора уже была пенсионеркой после работы директором на каком-то заводе.

Были ещё у нас в бригаде две сестры из Молдавии – Таня и Адель Вайцман. Таня, при своей молодости, в двадцать шесть лет казалась старой девой, была педантична, ворчлива и к тому же обидчива, а Адель в свои восемнадцать лет была необычайно свежа. Мы все ею любовались. Вся она излучала жизнерадостность и, хотя не была писаной красавицей, пленяла всех лукавством широко расставленных карих глаз, улыбкой, открывавшей чудные зубы, прелестным бархатистым цветом лица и милым картавым смехом. Раздетой она была так безупречна, что наверно каждая про себя думала: какое это преступление такую солнечную девочку загнать на такую судьбу на север! Она ухитрилась сохранить при себе вывезенный из Молдавии маленький сундучок со своим приданым, которое, по обычаю родных мест, начала копить с отрочества.

Приданое, конечно, слишком громкое слово, так как было в сундучке всего две денных и две ночных рубашки, да ещё кофточка под сарафан. Но было это всё отделано необычайно тонкой филейной вышивкой самой Аделью и могло быть экспонатом любого кустарного музея.

– Было две кофточки, – говорила Адель, – да какой-то чёрт нерусский при обыске одну не вернул!

Но тут же сердито нахмуренные брови расправлялись, и Адель разражалась таким весёлым хохотом, что всем было завидно.

– Ведь руки-то остались, я этих кофточек сколько захочу ещё сделаю!

Потом доверительно:

– Ведь я дома обещалась замуж выйти за одного парня, когда мне будет восемнадцать, а что вышло...

Затем у Яши-агронома появилась брешь в любовных связях, и он начал поглядывать на нашу Адель. Девочка сперва давала ему стойкий отпор, хотя Яша и не был особенно настойчив, так как прекрасно знал, что соперников у него нет, и вряд ли будут, и что время всё равно сработает на него.

– Что этот чёрт нерусский от меня хочет! – говорила она, мило картавя. – Я честная девушка и не дам ему воли!

Потом она страшно плакала и говорила, что всё равно ей ждать ещё свободы целых восемь лет.

– Мне ведь тогда уже двадцать шесть будет, совсем стар-р-ая кар-рга, – говорила она в слезах, но глаза уже смеялись, настолько ей трудно было поверить, что она вообще когда-либо будет старой.

Так она плакала и клялась, что она этому «чёрту нерусскому покажет», но Яков Иванович ездил и ездил – он это должен был делать по работе. Адель плакала всё меньше и меньше, а затем неожиданно для себя влюбилась и плакала уж от того, что он давно не был, и горестно:

– Ну, что теперь будет, я ведь без этого чёрта нерусского и жить не могу!

А дальше всё было по шаблону, в котором, собственно, никто не был виноват. Наша Адель стала очередной

возлюбленной, пока мы были на Волчке, а как только бригаду раскассировали, сёстры попали в другое место, на другую работу, а Яша себе сейчас же нашёл новую подругу, которых у него всегда были десятки под рукой.

Видела я как-то, долгое время спустя, в бане Адель. Она уже не смеялась так заразительно, немного побледнела и сникла. Бедный наш «чёрт нерусский»!

Что в нашу бригаду была назначена также и А. М. Перновская – показалось мне большой радостью. То недолгое время, что она работала вместе с нами, во время коротких перерывов или перед сном мы часто вспоминали всё, что успели прочитать, некоторые вещи пересказывали друг другу, разбирали, критиковали. Мы обе были довольно начитаны, и тема книг никогда не иссякала. Потом Анну Михайловну назначили бригадиром на следующую дальнюю командировку, отстоящую от нашей километров на двенадцать, где она заболела острым поносом. Я стала ходить к ней по выходным, когда их давали, и носить ей манную крупу, сахар и концентраты, которые в то время ещё у меня были. Понемногу она, к моей радости, выздоровела, но уже к нам не попала, а затем, два-три года спустя, оказалась в лагерной конторе. В бытность свою на Волчке она мне рассказывала, что муж её – старый чекист, что она сама тоже там работала и даже ездила с каким-то заданием в Бельгию. Дома у неё остались прелестный десятилетний сын Андрей – Адя, копия отца, и дочь, пятнадцатилетняя Майя, к сожалению, некрасивая и очень похожая на мать. Муж после случившегося порвал с ней (или, вернее, был вынужден порвать) и уехал с сыном на юг, а дочь осталась с бабушкой и впоследствии училась и жила в Калинине.

В дальнейшем Анна Михайловна, получившая от меня присланные в посылке туфли и ещё что-то, сейчас же отказалась от моих, с трудом добытых кожаных сапог, хранившихся у неё под нарами. Сапоги у неё при обыске были изъяты или украдены, а она мне в пояснение сказала, что «не буду же я ради каких-то сапог рисковать своей репутацией». И ещё позже, во время войны и голода, к ней пришла Стефа и рассказала о том, что я очень

ослабела и что она с трудом через вольных достала солёную рыбу, которую не может пронести через вахту. Она просила эту рыбу сохранить и передать ей же на следующий день, когда пойдёт ко мне в тайгу. Анна Михайловна сказала, что с конторских служащих берут подписку, что они ничего недозволенного проносить не будут и что она не может идти на сделку со своей совестью и обманывать лагерную администрацию. Так моя рыба осталась и прогнила где-то в конторе, но об этом я ещё не знала и очень была привязана к Анне Михайловне и всячески старалась о ней заботиться. Тогда ещё она была больная, слабая и нуждалась в товарищеской помощи.

Бросая взгляд на прошлое, могу сказать, что жили мы на Волчке, с лагерной точки зрения, неплохо. Работали мы все прекрасно и, очевидно, были на хорошем счету у администрации, решившей, что всё идёт нормально и без конвоя, и нам никого не присылали.

Высокие проценты, может быть, являлись ещё и уменьем Чулякова закрывать наряды, но, во всяком случае, это было для всех нас самое спокойное и сытное время. Хлеба мы получали столько, что даже подкармливали им работающих у нас лошадей, а повар был свой, а потому и речи не могло быть о кражах и утайках.

Были у нас ранней весной ещё и новые работы. Просевали мы за зиму собранную золу, а потом разбрасывали её по полям, что помогало ускорить процесс таяния и служило в дальнейшем удобрением. Мне ещё повезло, как бывшей спортсменке, что назначили меня на маркировку полей. Эта работа чрезвычайно мне нравилась, и дней десять я считала себя счастливицей. Чуляков где-то добыл мне лыжи, а в посылке Серёжа прислал лыжный костюм, и ходила я рано утром, по затвердевшему за ночь насту, совершенно одна и свободная, в далёкие поля. Обычно я становилась у дороги и намечала себе на горизонте ориентир: вершину дальней сопки, большой валун, одинокую лиственницу или вообще что-нибудь очень приметное. Затем шла к этой точке по снегу, любуясь пробуждением красок, вслушиваясь в тишину и скрип снега. Солнце уже

почти не заходило, и к вечеру наступали сумерки, которые густели ночью, но не настолько, чтобы нельзя было шить или даже читать крупный шрифт.

Лыжи были одни, и поэтому я работала без всякого надзора и контроля. Ходить мне было легко, и, исходив громадные пространства в одном направлении, изменив ориентир, я шла под прямым углом, оставляя на поверхности снега чёткие следы лыж. Потом на эти квадраты завозился ещё по снегу навоз, а когда снег стаивал, его по этому квадрату разбрасывали. Так вручную удобрялись громадные поля. Мой рабочий день тоже был необычным. Уходила я так рано, что все ещё спали, часто натощак, засунув в карман кусок хлеба. Надо было ловить эти утренние мгновения, когда лыжи стремительно и легко скользили по насту. К полудню снег начинал прилипать, становилось труднее передвигаться, я начинала проваливаться, и чёткого следа не получалось. Иногда, пробегая над неглубоким оврагом, я слышала нутряной тяжёлый вздох, и снег целым большим пластом оседал, а под ним показывалась вода. Тогда я шла домой в палатку, ела, немного спала и читала. В палатке кроме поварихи никого не было, все были на разных работах, и я наслаждалась одиночеством. Мне кажется, что вынужденное постоянное пребывание на людях, так же как и вынужденное одиночество, очень мучительно, и, бегая одна на лыжах, я чувствовала себя птицей, выпущенной из клетки; иногда пела, разговаривала сама с собой, не боясь грубого оклика, насмешки. Хоть и жили мы в бригаде мирно, но люди были очень разные, была и грубость, и наглость, и даже черты классовой ненависти. Вечером же, когда все возвращались с работы, я снова уходила в поля, если уже слегка подмораживало и снег меня держал, если нет – я возвращалась домой, немного спала, чтобы уже часа в три-четыре утра бежать в свои горизонты.

Чего я только не передумала в эти дни, чего только не припомнила! И в бригаде ко мне в эти дни как-то относились иначе. Никто не мог мне ничего указать, перечить. Лыжи были одни, я пробегала не километры, а десятки их, и единственным моим хозяином была погода –

температура и поведение снега. Что было неприятным – это то, что у меня, конечно, не было защитных очков, и от ослепительного снега болели глаза, но потом я себе смастерила козырёк с тёмной марлей и научилась бегать с полузакрытыми глазами.

На Крайнем Севере почти нет весны, и после короткого дивного периода, когда всюду ещё глубокий снег, днём уже тепло, лицо и руки дочерна загорают, ещё нет комаров, а в лесу пробуждаются робкие птичьи голоса, – сразу наступает лето. Ночью над нашей палаткой стая за стаей летели с юга дикие утки, гуси. В воздухе стоял ритмичный тихий шелест далёких крыльев, изредка прерываемый криком ведущего. Летели гуси и лебеди ровными треугольниками с примерно одинаковыми расстояниями между стаями, а утки – верёвочкой. Почти парад войск на Красной площади...

Потом, когда снег окончательно исчезал и протоки превращались в непроходимые болота, появлялись живописные небольшие натаенные озерца, обрамлённые уже по-весеннему зелёным гибким лозняком, красноватыми пучками распускающегося ивняка, желтоватым пухом над мохнатыми почками тополя. Берега протоки начинали бурно зарастать болотистой осокой, каким-то подобием камыша, а на пригретых солнцем краях ложбинок появлялся мох белесого оттенка, быстро приобретавший на солнце бурые красноватые тона.

Однажды ночью Франка Штейнерова проснулась от неприятного чувства чужого присутствия. Свет в палатке у нас ночью всегда горел, и, к своему ужасу и удивлению, она увидела в одном из окошечек палатки под приподнятым клапаном мужское небритое грязное лицо, которое мгновенно скрылось. Конечно, утром только и было разговоров о каком-то, вероятно сбежавшем бандите, а так как мы были одни женщины и совершенно беззащитны, Николай Александрович Чуляков, наш бригадир, решил сходить в контору и попросить охранника. Кругом был лес, протока и заросли кустов, только с одной стороны были поля и дорога в Эльген. Прятаться

было где. Мы жались поближе к палатке, боялись ходить на протоку и чувствовали себя возможной мишенью чьих-то глаз.

Молодого «вохровца» прислали на другой же день к вечеру. Это был явно только что попавший на военную службу молодой, курносый и белобрысый паренёк. Он слегка опешил, попав в наше чисто женское общество, в котором было несколько человек очень молодых и хорошеньких. Начальство было за восемь-десять километров, Николай Александрович его хорошо принял и даже чем-то накормил, что по уставу не полагалось: «враг народа» кормит «честного сына Родины». Но в палатке было уютно, ярко топилась бочка, и паренёк понемногу забыл о своих строгих функциях – сперва рассказал, что действительно сбежали два рецидивиста и их разыскивают, потом перешёл на какие-то мысли по поводу того, что всё равно их найдут – «никуда не денутся» – и что всё равно, если не поймают, «погибнут от голода». Несколько осмелев под нашими любопытными взглядами (то одна то другая приходила и палатку к Николаю Александровичу под каким-либо предлогом и, уходя, задерживалась у выхода, слушая охранника), – начал хвастливо рассказывать, как он сам помогал ловить уголовников, что от него-то бандит никуда не скроется и т. д. Сидеть у огня стало нестерпимо жарко, парень снял сапоги и пристроил у огня сушить портянки, потом снял спецовку, поставил за спиной винтовку и устроился поудобнее на ночь. Николай Александрович лёг на свой топчан и скоро заснул.

Утром нас ожидала, несмотря на страх, всех развеселившая новость. Бандит таки был ночью. Взял со стола хлеб, переобулся в портянки и сапоги охранника, прихватил телогрейку с винтовкой и был таков. Охраннику ничего не оставалось, как обуться в поношенную грязную рвань, ему оставленную, – запасной обуви у нас не было, да к тому же его размера, и был он в таком плачевном состоянии, что посчитал за лучшее незаметно уйти.

Мы и смеялись, и жалели его. За украденную винтовку он сам, по всей вероятности, был судим и получил срок. Больше мы его не видели, и больше к нам никого

не присылали, а бандиты снова нас посетили и на этот раз ограбили бедного Николая Александровича, украв единственный его, из прежней жизни, костюм и какие-то вещи. Было это поздно вечером, мы ещё не спали и, помню, сидели с Надей Д. у печки и занимались английским. Надя только что была у Николая Александровича (они были тогда увлечены друг другом) и, смеясь, рассказывала, какой отчаянный у него кот, который сам ходит через отверстие в потолке палатки в лес на охоту, а потом иногда ещё прыгает таким же манером обратно, держа мышь в зубах. В соседней палатке нам почудился какой-то шум и даже глухой разговор, и мы так и решили с Надей, что Николай Александрович разговаривает с котом. Шум скоро затих, и мы улеглись спать.

Утром к нам неожиданно пришёл обиженный бригадир.

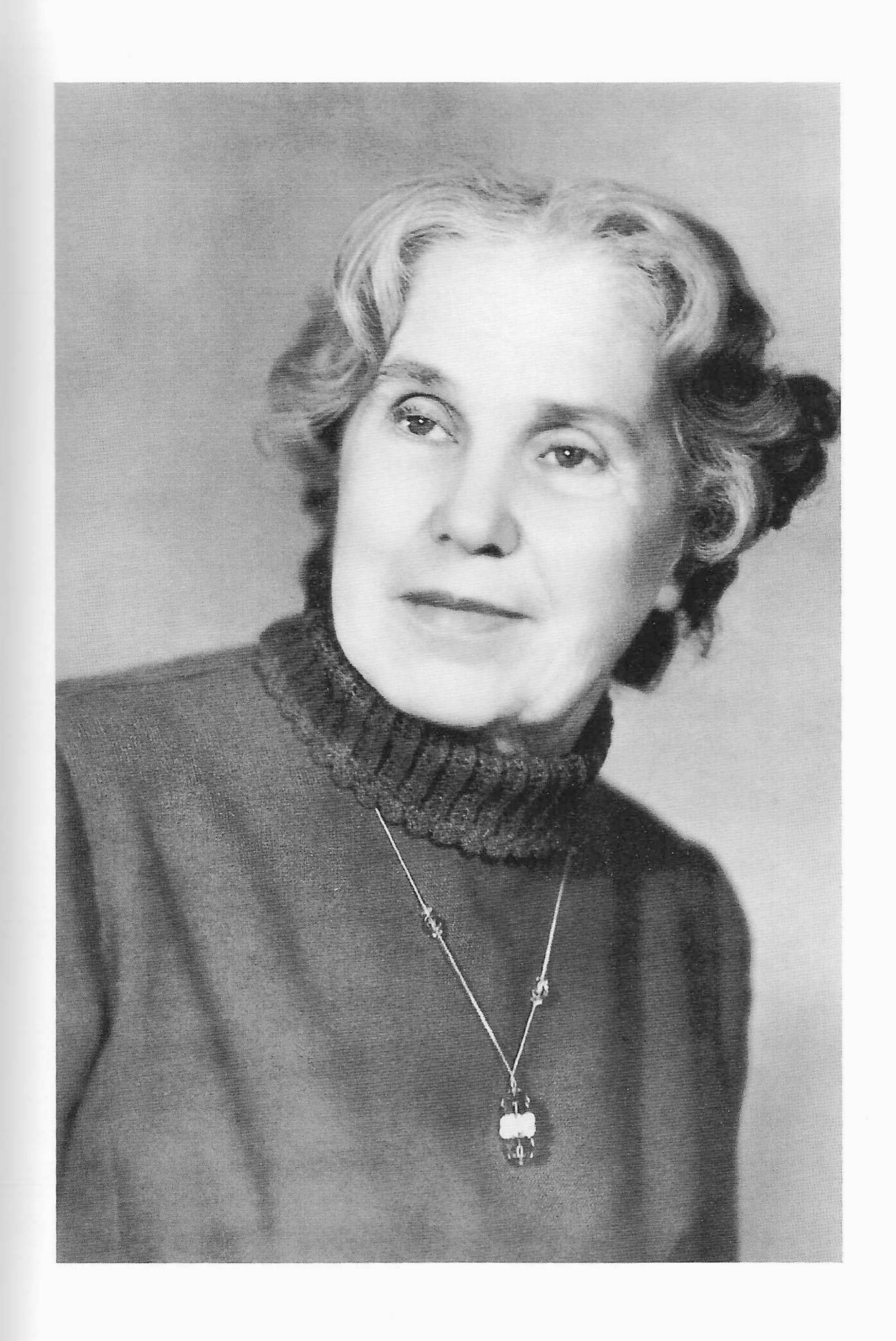
– Эх, женщины, вас тут двадцать человек, и не могли одного бригадира выручить...

И рассказал, что пришли двое, его связали на топчане, заткнули рот, обыскали все его вещи и, украв костюм, ушли. Даже не прятали лиц и показались ему знакомыми. Скручен он был полотенцами и простыней довольно небрежно, так что высвободился сам и вот пришёл утром нас упрекнуть в отсутствии товарищеской выручки.

Мы сконфуженно и виновато молчали.

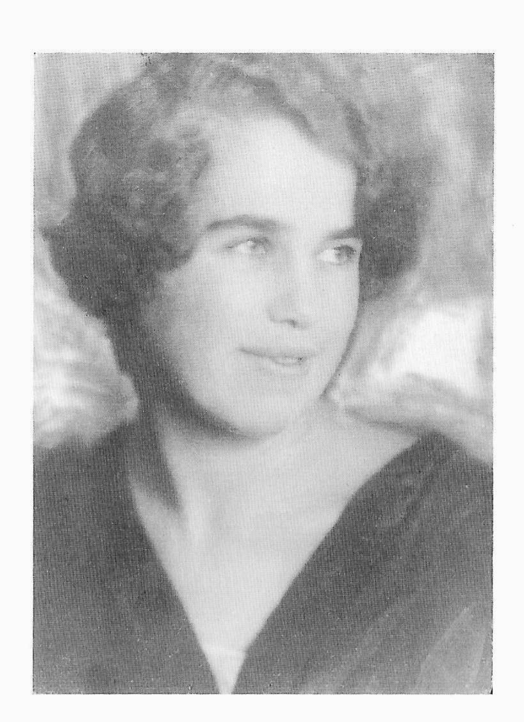
Прошло ещё некоторое время. Работали. Уходили с утра в поле на кайловку торфа, хотя не так рано, как бывало в Эльгене, так как распорядок дня в таких уединённых «командировках» (так это называлось) зависел только от бригадира и самой работы. Но и в восемь утра ещё ярко светила окаймлённая светлым нимбом луна, и если не было ветра, тишина в неразрывном объединении с сильным морозом (около 50°) была такая, что хруст снега под ногами становился громким треском, и казалось, ещё задерживался на мгновение позади уже прошедшего человека.

Домой к обеду не возвращались, чтобы не терять время на ходьбу и из-за краткости зимнего дня. Приходили домой в густых сумерках, почти сразу наступавших



Ада Александровна Федерольф

«Мне 20 лет»





«Мне 30 лет»



Сентябрь 1934. Москва

Ада Александровна
Шкодина.
Туруханск,
начало 50-х



С котом Романом.
Туруханск





С Ариадной Эфрон на пороге их домика в Туруханске. 1953



«Вот я и приехала!» Гатчина, 1961



В Туруханске спустя много лет. 1965. *Фото А. А. Саакянц*



С Ариадной Сергеевной Эфрон во время путешествия по Енисею в Туруханск. 1965. *Фото А. А. Саакянц*



«Рядом с Алей» – в жизни…

…и после кончины. Кладбище в Тарусе. *Фото М. М. Уразовой*

после захода солнца. Было это в четыре-пять часов дня. В палатке обедали – тогда ещё, до войны, довольно сытно, с хорошим количеством чёрного хлеба; после еды каждый занимался при свете одной керосиновой лампы, подвешенной у центрального столба палатки, своим делом.

Бригада была пёстрой. Помимо еврейского звена, говорившего между собой по-еврейски и немного сторонившегося нас, были мы – человек пять-шесть симпатизирующих друг другу, успевших что-то увидеть в жизни и не потерявших интереса к книгам, кино, разговорам об искусстве, театре и пр. Были две злыдни, о которых я уже писала. Одна – кавэжэдинка из Харбина, не терпевшая всего советского; другая – ограниченная молодая, толстая и хвастливая полька, ненавидевшая всякую интеллигентку, которая и вязать-то не умеет, ни шить, ни стирать, тогда как её стирка, даже в условиях нашей жизни в лесной палатке, сверкала белизной, и в работе она была из первых по силе и ловкости.

Наши скромные занятия по-английски с Надей в углу палатки, на моём топчане, приводили её в ярость:

–Так вам всем и надо, проклятым шпионкам, и вот из-за таких как вы и попали в лагерь честные труженицы...

Жила у нас ещё шибко партийная в прошлом, а ныне злобная Шура Богданова, не знавшая удержу в момент плохого настроения, которое она выражала изощрённым матом, испытывая скрытое удовольствие при виде наших смущённых, привычно всё терпящих лиц. Меня это даже вдохновило на целую поэму, которая вызвала смех не только у самой Богдановой и всех нас, но даже и у некоторых в Эльгене, куда она попала при молчаливом содействии Н. А. Чулякова, переписавшего её и пустившего по рукам.

Кроме перечисленных, были наши примерные работяги и чистюли Сухацкие, очень верующие, скромные женщины; были и какие-то пришлые, присланные на исправление – авось, начнёт работать, когда целая бригада женщин выполняет план и не замечена ни в чём противозаконном. Но последнего было немало: мы и овощи таскали осенью с поля, и кисели варили из овса,

отпускаемого лошадям, а главное – человек пять сожительствовали с мужчинами, приезжавшими иногда за двадцать-тридцать километров с ближайшего прииска, чтобы провести два-три часа с подругой, а потом ехать обратно и попасть вовремя к выводу на работу.

Это были нарядчики, трактористы и завхозы, работавшие в Эльгене. На тот случай, когда в палатке спали гости, выставлялся караул, а сторожить было просто, так как дорога на Эльген была одна, позади лес. Фигуры всадников (проверяющей охраны) или сани начальства всегда можно было увидеть за время, достаточное, чтобы кавалеры, кое-как натянувши одежду и валенки, успели бы скрыться за палаткой, а внутри навести порядок (остатки еды, бутылки под одеяло), достойный дортуара спящих институток. Только раз такой приезд был внезапен, и я, на беду бывшая дежурной, увидала приезжих только когда они стояли около бригадирской палатки (шёл снег и было темно). Но всё обошлось: один гость успел укатиться под топчан, а двое из нас успели только снять телогрейки и «спали» под одеялами в брюках и валенках. Когда внезапно вошли в палатку, все лежали, а я штопала какое-то бельё под лампой. Прошли внутрь, оглядели (у меня от страха дрожали колени: пойманные могли быть навеки разлучены и переведены на худшие работы), что-то спросили меня, ещё раз зашли к Чулякову – счастье, что Нади не было у него! – и уехали.

Итак, прошло некоторое время после того, как обворовали Чулякова, и мы с Надей ещё не легли и о чём-то разговаривали. Как я уже писала, тишина зимой была первозданная, и мы ясно услышали какой-то шум в соседней, бригадирской палатке. Прислушались. Приглушённый разговор. Тут уж я, памятуя упрёк Николая Александровича: «Эх, вы, женщины!» – не выдержала, разбудила всех спящих и организовала облаву. Я была настолько категорична, что все почему-то сразу подчинились. Топоры брать было запрещено – а вдруг нечаянное ранение или убийство?! Все натянули на рубашки бушлаты, надели на босу ногу валенки – время терять нельзя было – и повязались платками. Затем

выстроились у выхода. Старшая Сухацкая с поленом, я за ней с ведром воды, Надя с кочергой, затем ещё несколько человек с поленьями. План был такой: младшая Сухацкая тихо отворяет дверь в палатку и скрывается за ней, старшая – высокая сильная женщина – бьёт поленом выходящего по голове, я – бандита поливаю водой, следующая бросает ему золу в лицо и т. д.

Была ясная лунная ночь, и мы цепочкой начали красться к двери соседней палатки. Но не успели мы приоткрыть её, как она открылась первая и на пороге появилась ярко облитая луной фигура Николая Александровича в кальсонах и босиком:

– Что у вас случилось, я давно слышу шорохи и разговоры?

Смеху было много; кое-как одевшись, он пришёл к нам, мы рассказали о том, что его ожидало и как мы пошли ему на выручку.

Виной был всё тот же кот, который на этот раз принёс задушенного зайчонка, сбросил его в дыру крыши и сам спрыгнул за ним в палатку. Шум, паденье предмета и звук голоса Николая Александровича, который выговаривал коту, и показались нам подозрительными.

Мы тогда ещё не знали, как круто переменится наша жизнь в следующем году. Это был ещё 1940 год.

Ранней весной, ещё по насту, по моей маркировке, развозили и небольшими кучами на скрещении моих следов лыж сбрасывали навоз, потом его вилами раскидывали по всему полю. В теплицах в Эльгене пикировали капусту в вегетативные горшочки, яровизировали картофель, который потом в корзинах, ящиках, а иногда мешках завозился на поле. Из этих, часто хороших, тонких американских мешков мы ухитрялись шить себе халаты – срезали штампы фирмы или сводили буквы щёлоком и солнцем. Солнце было ослепляющее и, хотя ещё по-настоящему не грело, превращало нас в какое-то племя арабов с белыми шеями и ушами и ликами старинных икон. Некоторые сжигали кожу так, что ходили с повязками на лице и с болячками на руках.

Была та короткая блаженная пора, когда уже можно было днём снимать лишнюю одежду; воздух был чист и насыщен одуряющими запахами распускающихся почек и оттаявшей земли, и казалось, что не дышишь, а глотаешь, пьёшь, ешь воздух. Прилетели какие-то пичужки, небо яркое, серовато-бирюзовое, и ещё не было комаров. День удлинялся, и работали уже по десять-двенадцать часов, а далее, в посевную, почти круглосуточно. Выходные отменялись.

Близость протоки и уединённость позволяли нам без конца мыться, чего мы были лишены в Эльгене. Хотя плавать не получалось – в протоках были заросли кустарника, болотных трав, мягкое глинистое дно и сотни выводков диких уток, крякв и сплошное море головастиков на поверхности воды – мы всё же ухитрялись если не окунаться, то хоть мыться на стремнине Таскана. Там кристально чистая холодная вода глубиною в пятьдесят-семьдесят сантиметров мягко неслась по отшлифованной гальке.

Когда появлялись комары, мы раздевались в палатке, густо намазывались мылом, сломя голову мчались к воде, быстро размахивая руками и вертясь, смывали мыло, надевали на голое тело сшитые из мешковины халаты и мчались обратно. На мыло комары не так садились, как на голое тело, и способ мытья был единственно возможный. Ничем не смазанное голое тело комары покрывали сразу сплошным покровом, и искусанный человек был готов сдирать с себя кожу острым ножом.

С комарами в лес ходить уже было невозможно. Лес гудел одним мощным звуком, как тысячное швейное предприятие, гул прерывался только ливнем или сильным ветром, сгонявшим комаров в листву и в траву. Говорят, привязанного к дереву голого человека (было и такое наказание!) комары заедали до смерти в несколько дней.

Посевную оформляли несколько торжественно. Выступал начальник лагеря, появлялись новые плакаты «Через доблестный труд – к освобождению», которым решительно никто, кроме разве абсолютных новичков, не верил. Был даже оркестр, и по вечерам крутили кино. Улучшалось питание и поощрялось соревнование.

Я сажала тысячи горшочков капустной рассады за один день. Одна делала лунки по борозде и раскладывала рассаду, затем не разгибаясь шла посреди двух борозд и обеими руками немного размягчала бока лунки, заученным движением вталкивала рассаду (на определённой высоте и, сохрани бог, не повредив тонкий корешок!) и последним движением пальцев утрамбовывала и делала ямку вокруг стебля, чтобы не сбегала вода. Позади меня по пятам шла поливальщица, недалеко были бочки с водой.

Был азарт, настоящий трудовой подвиг, где человек работал, невзирая ни на что, игнорируя усталость, с одной лишь мыслью – сделать больше и не допустить ни малейшего брака. Все мы знали, сколько при неурожае капусты, единственном витамине зимой, умирало от цинги мужчин, и главным образом, интеллигентов. Я работала как зверь, не разгибаясь; сейчас мне кажется просто неправдоподобным, что я начинала работу в четыре-пять утра, обедала тут же, даже не мо́я как следует рук, – не помню, был ли какой-то узаконенный перерыв на обед. Затем мы снова сажали до десяти-одиннадцати часов вечера, приходили домой, спали не раздеваясь, а в четыре-пять снова работали. Обычно утренний подъём не будил; мы во сне что-то ели, во сне шли, и только солнце по-настоящему пробуждало. Я вырабатывала 140–150 процентов (нормы были чудовищные!), имела стахановскую карточку, 50 рублей премиальных за время посевной, и меня выдвинули как представительницу от трудящихся на показательный открытый суд над тремя рецидивистками. Но об этом позже.

А пока что посевная кончилась, мы вымылись, немного отоспались и даже в собственных, не казённых, платьях ходили в Эльген смотреть постановку самодеятельности «Ревизор», переложенную на куплеты и музыку.

ТЕТРАДЬ ДЕВЯТАЯ

Раз как-то, вернувшись с работы, мы застали в палатке новенькую. Была это крепко сбитая молодая нагловатая деваха, сразу внёсшая диссонанс в нашу трудовую скромную по виду бригаду. Очевидно, она чем-то проштрафилась и её выслали из Эльгена. На работу она выходила с нами, что делала – не помню, а после работы держалась отчуждённо, и видно было, что привыкла вращаться среди блатняков и первое время чувствовала себя не в своей тарелке.

И вот однажды Франка, которая ещё имела какое-то приличное бельё и кофточки из Чехии, обнаружила, что её чемодан исчез. Конечно, мы все ей очень сочувствовали и начали уговаривать бригадира сходить за охраной с овчаркой. Чужих вокруг не было, значит, украла одна из нас. Не высказывая свои мысли вслух, каждая думала о новенькой. Крепкая хорошенькая кофточка и сорочка в нашем положении были целым состоянием – все мы были молоды и потому полны сочувствия. Бригада загудела, как встревоженный улей.

На следующий день или несколько позже к нам явились три молодых охранника с овчаркой. У охранников были молодые туповатые лица с налётом важности и готовности действовать «по инструкции». Было это утром, мы ещё не успели как следует одеться, и большинство были в наших изношенных халатиках, с голыми ногами и руками. Овчарка, попав в новую чужую обстановку, начала нервничать и рваться с поводка. Нас всех выстроили в шеренгу перед палаткой, запретили двигаться, и один из охранников дал понюхать собаке Франкин шарф, медленно провёл возле всех коек палатки, а затем обвёл собаку вокруг. Мы чувствовали себя здорово не по себе и следили глазами за собакой, не проявлявшей пока

ни к чему особой заинтересованности. Потом провёл овчарку позади шеренги, и она обнюхала наши голые ноги, потом повел впереди нас, и тут произошло непредвиденное. Дойдя до Франки, собака встала на задние лапы, затем вытянула её за подол из шеренги, повалила наземь и начала на ней рвать халат. Мы бросились врассыпную из шеренги, совершенно растерявшись от ужаса, охранники начали оттаскивать собаку от Франки, издававшей отчаянные крики страха. Укусить овчарка не успела, но сильно поцарапала Франку и порвала в клочья всё, что на ней было надето. Собака была явно молодой и плохо обученной.

После этой сцены дальнейшее мне казалось дурным сном. Охранники допрашивали нас, и мы с трудом поняли, что им (честь мундира!) было неудобно возвращаться с пустыми руками, да ещё с овчаркой (которая, кажется, всё-таки нашла пустой, запрятанный в сарае Франкин чемодан). Не вникая в то, что мы с жаром им доказывали, а может быть, по своей ограниченности и привычной перестраховке – кругом женщины, враги народа, которым нельзя ни в чём доверять, – они собрались уводить Франку в Эльген: там, дескать, люди постарше чином, разберутся в деле.

Кое-как мы убедили парней, что мы все ручаемся за честность Франки, что Франка – хозяйка найденного чемодана, что ни к чему ей самой себя обкрадывать и что они могут попасть в смешное положение. Наверно, последнее всё-таки вызвало у них какие-то опасения за себя, и они ушли, оставив нас морально (а Франку и физически) истерзанными, обрёванными, с полным сознанием нашей отверженности от всего нормального, даже от обыкновенного для всех людей пункта в уголовном кодексе.

Мы утешали Франку как могли, мазали ранки йодом, зашивали дыры в халате, с трудом пытались шутить – с собакой нашли не вора, который был тут же (конечно, мы думали о новенькой, ведшей себя, надо сказать, с большим самообладанием), а обворованную пострадавшую... Так пошатнулась наша вера не в гражданские

законы, о которых мы на примерах своей судьбы знали многое, а в обычные уголовные. Помню, в рассказе «Случай на станции Кречетовка»* Солженицына молодой работник НКВД на станции говорит: «Арестовали, значит за дело, у нас в НКВД ошибок не бывает!»

Дальнейшее показало, что ошибок было свыше двенадцати миллионов...

Была ещё одна работа в посевную, которая мне нравилась, но досталась, кажется, всего два-три раза, – сеять овёс. Делалось это вручную, так как почва была вся в ямах и овражках и никакая сеялка не могла проехать. Поле было отдалённое, граничащее с одной стороны с нашей единственной проезжей дорогой, а с других – грядами валунов, кустарником и оврагами. Вдалеке чётко вырисовывался ряд сопок, всё время менявших краски, смотря по тому, что начинало распускаться или даже цвести, так как сеяли только в июне, когда оттаивала мерзлота, а собирали овёс всегда зелёным в августе на силос. Вызревать он за такой краткий срок не мог. Сопки цвели бурно и были чрезвычайно красивыми на фоне ясного и проникновенно тихого неба. Перелётные птицы в это время уже гнездились по болотам и протокам, а самолёты у нас не летали. Вешала себе на шею на треть набитый мешок с овсом и ходила, ходила, пока не падала с ног от усталости. Наловчилась так, что всходы получались ровные, без плешей, и трудно было только первое время, пока мешок был ещё очень тяжёл и мешал движениям. Зато полный покой, полное одиночество и такая безмятежная красота кругом!

Наверно, мои успехи на посадке капусты и эти посевы сделали меня ударницей-стахановкой, и как таковую выдвинули меня в числе нескольких представительниц других бригад на открытый суд над тремя женщинами с отдалённой лесной командировки, обвинявшимися в убийстве.

---

* Под этим названием рассказ А. Солженицына был напечатан в «Новом мире» в 1963. Настоящее название, под которым он публикуется по сию пору, – «Случай на станции Кочетовка».

Было их трое в возрасте от двадцати четырёх до тридцати пяти лет, и дело оказалось в следующем: за плохую работу, отказы и нарушения дисциплины их перевели из Эльгена на лесоповал. Условия обычные: глушь, лес и кроме работы делать решительно нечего. Книги на такие командировки попадали изредка, да и вряд ли они привыкли читать. Начали приставать к бригадиру, что не могут работать по болезни. Прислали на командировку лекарского помощника – больных в бригаде не оказалось. Просились на какую-либо другую командировку, но для этого надо было, чтобы администрации это было выгодно, или ждать весенних больших этапов. Тогда они решили сами изменить свою судьбу. Принесли из леса топоры, спрятали их за палаткой и, дождавшись случая, когда в палатке кроме них была всего лишь одна средних лет спящая женщина, накинули ей на голову какую-то тряпку или платок, замахнулись, но женщина повернулась во сне, и удар пришёлся не по голове, а отрезал ухо. На страшный крик прибежал бригадир, раненую отвезли на скорой, а вместе с ней на той же машине под конвоем отвезли и этих троих в эльгенскую тюрьму. Очевидцы вспоминали, что они не скрывали своей радости: «Говорили, что не будем в лесу работать и придётся везти нас обратно в Эльген! Говорили?! Ну, вот и везите!»

И вот на этот показательный суд и пригласили нас – стахановок.

На суд приехал какой-то чин из Магадана, были следователь и секретарь, ведший протокол. Нас всех привели в небольшую комнату в административном корпусе, налево стоял крытый красным стол, перед ним скамья для подсудимых, небольшое пустое пространство для охраны, а затем скамьи для нас, зрителей.

Когда ввели подследственных, всем бросилось в глаза, как они подчистились и по возможности принарядились. Лица были обычные, русские, смотрели на всех с любопытством и некоторым оживлением. Самая младшая, блондинка с красивыми глазами и вздёрнутым носиком, всё время заглядывала за наши спины, тянулась и делала, несмотря на окрик охранника, кому-то

какие-то знаки. Ей что-то быстро передали за спиной часового, она радостно улыбнулась и сунула в карман. Когда началось чтение дела, она вытащила только что добытую губную помаду и переданный ей осколочек зеркала, намазала губы, уложила прядь волос и начала с интересом разглядывать присутствующих, явно не слушая чтения дела.

В комнате стало очень тихо, мы замерли, и раздавалось только монотонное чтение. Гражданка такая-то, осуждённая в таком-то году за ограбление по статье такой-то уголовного кодекса и получившая за ограбление десять лет, из коих отсидела два года, она же под фамилией такой-то, и она же под фамилией такой-то за участие в убийстве была осуждена по статье такой-то УК на пятнадцать лет, из которых пять лет отбыла наказание там-то, а затем была вновь судима по статье такой-то УК за побег и бандитизм и была снова осуждена на десять лет, начиная с такого-то года. Это – о старшей! Возраст, примерно, тридцать пять, столько же сроков.

Когда зачитывали дело младшей, оказалось, что она – единственная дочь директора крупного совхоза на юге, вступила в шайку тринадцати лет и бросила школу. Допрос был лаконичным и кратким.

Следователь: Как было дело?

Подсудимая: Да вот, решили порубать старуху, принесли из леса топоры, спрятали.

Следователь: Вы знали эту женщину?

Подсудимая: А как же, месяц жили вместе – ничего была женщина.

Следователь: Зачем же решили убивать, мстили за что-либо?

Подсудимая: Зачем мстили – так решили порубить.

Следователь: Всё-таки, что было причиной?

Подсудимые (*хором, с возмущением*): А что делать-то нам было? Или околевать в лесу? Убьём – обязательно повезут в Магадан, судить будут, всё-таки жизнь, не так скучно. Говорили – не везите в лес, там жить не будем!

Младшая блондиночка: Так ведь не убили, только ухо отрубили!

Как только объявили перерыв, мы ушли в бригаду, до конца не досидели.

Мутило. Молча зашагали обратно.

Теперь, оглядываясь назад, я считаю, что мне всё-таки повезло, что я не попала на фабрику. Конечно, на фабрике было тепло, сухо, но одуряющая монотонная работа, бесконечный рабочий день выматывали не только силы, но притупляли мысль, душу человека, всё то, что лежало за пределами мускулов.

А в лесу и на воздухе, несмотря на морозы, пургу, страх покалечиться и обморозиться, заедающих комаров, всё же была иллюзия свободы.

Косить по ровным участкам мы скоро стали быстро и хорошо, но вот кочки... Они ведь гнулись, и мы с них скользили, чтобы снова влезать на мягкую колеблющуюся высоту в шестьдесят-семьдесят сантиметров, да ещё с острой косой в руках, и скашивать высокую жёсткую траву. Так и прыгали – вверх, вниз, и конечно ранились. Раз, потеряв равновесие, я схватилась за лезвие косы и так глубоко поранила руку, что кровь хлестала, как из крана. И воды не было, кроме жёлтой стоячей, и марли, конечно, тоже – вытерла травой, повязала мешковиной, и всё обошлось. Не было инфекций вокруг нас, а если и оставалось что-либо, несмотря на лютые зимние морозы, то процент был так незначителен, что не помню случаев заразных заболеваний. Были туберкулёз, желудочные заболевания, простуда, ревматизм, случаи заболевания раком, а вот гриппа не было, и не помню, чтобы кто-то погиб от заражения крови.

Однажды нас, несколько человек, послали на Змейку, чтобы собрать ягод и грибов для больницы. Хотя ещё не было голода, но уже появилась цинга, от которой единственным лекарством был горький вяжущий навар из стланика (назывался «концентратом», его заставляли пить перед обедом), и ягоды были просто спасением. Грибы были неказистые – подберёзовики, моховики, сыроежки; благородные не росли, а вот брусники и голубики были целые заросли и поляны.

Змейка – крутая сопка в восьми-десяти километрах от нас, поросшая лесом, омывалась с одной стороны Тасканом, с других сторон была окружена оврагами, на дне которых стояли поросшие яркой травой болотца и текли мелкие ручьи. Лезть приходилось прямо по круче по мелкой осыпи или по небольшим каменистым уступам с низкорослыми кустарниками, за ветви которых мы хватались. На самом верху сосны и лиственницы кое-где расступались, и глазам представлялись усыпанные брусникой поляны, такое великолепие зелени, белесого ягеля, тёмной хвои и ярких полотен сочных, красных ягод, что невозможно было не восторгаться. Сразу под ногами простиралась земля, перерезанная водой, обрывом, густым лесом, малыми сопками, как на топографической карте, снятой с самолёта, и всё это утопало в такой тишине и безлюдье, что казалось нереальным.

Позабыв про норму – надо было собрать по ведру на человека, а это немало, – я села на краю кручи, и захлестнула меня такая волна восторга перед этой дивной природой, что защемило сердце.

Потом мы сломя голову собирали, торопились; нас отпустили без конвоя, и надо было вернуться вовремя во избежание наказания; а обратный путь, да ещё с полными вёдрами, был и долгим и опасным. Когда мы (нас было четверо) спустились вниз к протоке, то каждая подумала, что вернуться к ужину, да с такой тяжестью, да ещё после неоднократных переходов по бурелому, болотам и оврагам, не зная дороги и ориентируясь только по солнцу, – мы не сможем. Решили прежде всего отдохнуть и осмотреться. Самая неповоротливая среди нас, толстая латышка лет сорока пяти, начала вспоминать своё «кафе» где-то в Латвии, и как она при нём имела квартирку из нескольких комнат, и какие милые девочки проживали у неё, и как много ходило к ним кавалеров, и как сытно ели, а потом веселились. Очевидно, содержала заведение с «девицами». В разгар её рассказа из-за угла появился быстро несущийся плот, и плотогоны, увидев в таком уединённом глухом месте неожиданных женщин, начали кричать:

– Бабы, идите к нам, довезём!

Мы радостно замахали, и плот подогнали к нашей круче.

– Прыгайте скорое – не удержишь долго!

Крайней к воде была латышка и потому прыгнула первой. Кто из нас умел ходить по плоту, а тем более – прыгать? Один из мужчин успел схватить ведро, а сама латышка тотчас ушла под бревно, выставив на поверхность пару толстых ног, а главное перештопанные и перелатанные старинные панталоны с прорешкой, обшитые воланчиками и кружевцами.

Плотогоны, привыкшие к трусам и брюкам, рты разинули и чуть не выпустили плот:

– ...твою мать, что надевают – видал! – и, громко захохотав, вытащили из-под бревна нашу латышку, а мы уже прыгнули удачнее на то единственное обвязанное место, как нам указали, не вступив на предательские свободно плавающие бревна.

Мужчины отпустили ветви, за которые держались, встали у кормовых весел, и мы понеслись.

Что это была за поездка! Плот немного скрипел и подпрыгивал на перекатах и каменьях, нырял под свесившиеся над водой ветки, вновь выносился на ровную гладь, вновь что-то задевал, стукался и скрипел и нёсся – нёсся!

Памятуя латышку, я сидела, судорожно вцепившись в бревно, пальцы замёрзли и онемели, были страх, восторг и чувство, что нет ничего под тобой и тебя несёт сам поток.

Мы не опоздали, ягод привезли много, но поездку эту я на всю жизнь запомнила.

Работали мы на поле особой прелести. Чтобы попасть на него, надо было с трассы подняться на небольшую возвышенность, что уже давало ему превосходство и открывало горизонты. Крупные валуны ледникового происхождения, кустарники и низкорослые деревья закрывали сюда доступ северному ветру, было оно какое-то интимное и тёплое. Земли, как мы это привыкли понимать, собственно не было, – поле покрывала крупная плоская

галька, под которой был слой серого песка и торфа. Репа тут созревала прекрасно, и собирать её было очень легко, так как она почти открыто лежала среди камней с маленьким тоненьким корешком, уходящим в землю. В ветреные дни, когда комары прятались в глубине зелени, мы себя чувствовали тут хорошо, и если бы не нормы, не дававшие отдыха, то, вероятно, могли бы наслаждаться солнцем и покоем. В один из жарких дней мы даже разделись и пололи репу просто в бюстгальтерах и трусах. И трусы наши и бюстгальтеры, после уже третьего года носки, были сплошь в штопках, заплатках любого цвета и являли очень жалкий вид. День был такой жаркий, что разделись все и в перекур уселись в тени деревьев недалеко над трассой. Гета рассказывала с мимикой и жестами что-то забавное из прошлой жизни, и мы громко смеялись. Как подошёл к нам по трассе мужской этап – мы просто не слышали, да и было это редкостью. Конвоир, увидев поле с репой, крикнул:

– Вольно – перекур! – и, отойдя в сторону, сорвал себе пару и сел на камень чистить их и есть.

А мужчины, услышав наши голоса и смех, приблизились к нам. Мы не успели ничего на себя надеть, как кто-то из них, раздвинув кусты, замер в неподдельном восторге и крикнул остальным:

– Боже мой, да тут женщины, и молодые! – И, обращаясь к нам: – Господи, говорите, говорите, смейтесь, ведь это райская музыка. Вы для нас... – захлебнувшись и не находя подходящих слов: – просто ангелы! Вот именно, ангелы!

«Ангелы», оглянувшись на себя, на загорелые облупленные лица, истрёпанные и не первой чистоты косынки, а главное на бюстгальтеры и трико, если голубые, так с красными заплатками, если розовые – то обязательно с синими, не могли не рассмеяться. Конвоир, увидев, что никого кругом нет, занялся репой, а целая группа молодых мужчин подошла к нам, и мы узнали, что их сперва долго держали в тюрьмах и пересылках, а потом долго гнали по этапам, и женщин они не видели почти три года. Мы набили их карманы уже

поспевающей репкой – голода ещё не было, но зелени они, конечно, не видели – и проводили в путь. Поговорить и узнать что-либо мы не успели – конвоир не разрешал мужчинам отдаляться, и остались мы для них эдаким «райским видением».

Прислали к нам в это же время на Волчок нескольких блатарей, чтобы навивать стога сена из накошенной нами по лесу и кустам травы. Стога ставили высокие, примерно с деревенский дом, чтобы зимой они не потонули в глубоком снегу, и вот подавать сено вилами наверх было не под силу женщинам. Работали эти блатари (изредка и в охотку они это умели!) прекрасно. Попав в такое женское общество, соревновались в ловкости, силе, были веселы и чрезвычайно хвастливы. Один из них в особенности привлёк моё внимание, настолько он был привлекателен, высок, изящен и двигался по-кошачьи – быстро, бесшумно и ловко. Работали мы почти рядом со своей палаткой, и потому в обед все бежали есть домой, а потом отдыхали и ждали, пока поедят наши парни. Вместе есть не разрешалось. Парней мы уже знали по именам, и всё шло гладко. Но в один из таких обедов мой красавец поджидал меня и неожиданно возник рядом за отдалённым стогом. Пугаться особенно было нечего, так как все остальные были на расстоянии крика, да к тому же у него был вполне мирный вид. Оказалось, что он влюбился, наблюдает за мной с неделю; театрально, но, по-видимому, вполне искренне встал передо мной на колени, обнял мои ноги в бутсах:

– Ну, замучился я, чего боишься, королевой будешь, руки запачкать работой не дам, – и потом, когда я выдернула ноги из его рук, не вставая с колен, задушевно-ласково и с упрёком: – Ну, чего п... хорошо будет.

Ушла от него в палатку, наши ещё обедали, и, войдя, похвасталась со смехом, так как сердиться на этого парня было не на что – вот, получила только что предложение руки и сердца, но в таком словесном выражении, которое не многим из нас удавалось слышать! Блатари уехали через один-два дня, и наша жизнь снова вошла в обычную колею.

Сейчас, по прошествии стольких лет, конечно, невозможно проследить день за днём нашу жизнь на Волчке. Была прежде всего работа и работа, а потом кое у кого скудная личная жизнь с уворованными минутами счастья, жалкие картофельные ростки чувств, возникавшие случайно и увядавшие от непредвиденных обстоятельств и разлук.

Организовали у нас опытный семенной фонд, построили будочку, где были образцы посевов, и прислали агронома-селекционера. Будочку я назвала «SS» (селекция семян), а от агронома осталось только в памяти, что он был примитивным полуинтеллигентом, белобрысым с некрасивыми лошадиными зубами и сильно хромал. Все его невзрачные качества не были помехой тому, что сразу трое в него влюбились и пошли какие-то встречи, заглушённые перешёптывания, ревность и все аксессуары любви. Степан Тимофеевич, несмотря на свой сравнительно молодой возраст – ему не было ещё сорока лет, – принимал все это довольно флегматично. Потом его куда-то перевели и он уехал, а мы снова остались в трудовом и однообразном одиночестве. Конечно, ссорились, мирились, были и те, кто бросали в лицо язвительные слова, что «вы все, конечно, виноваты, а из-за вас мы, простой народ, страдаем». Классовый антагонизм!

Известие о войне мы получили внезапно, от пришедшего из Эльгена чужого завхоза. Газет у нас не было, а летом, работая от зари до зари и без выходных, мы, конечно, почти и не читали ничего, и вдруг – ВОЙНА!

Все были настолько оглушены этим известием и мыслями о том, что теперь всё в мире сошло с места и что миллионы терпят бедствие, во много раз превышающее наше. Мы ведь были на краю земли и в полной безопасности от бомбёжек, обстрелов, пожаров, взрывов. После первого состояния ужаса и ошеломлённости стали появляться мысли и страхи о нашей собственной судьбе. Мы ведь знали, что любая заваруха на Большой земле всегда откликалась у нас ухудшением нашего положения, пайка, работы.

Пока, первое время, всё шло как обычно; в конце лета мы уже собирали урожай и мучились, когда голыми руками (в рукавицах было медленней и неудобней) выдирали из-под подмёрзшей земли репу и турнепс. Почти у всех пальцы кровоточили и очень болели от грязи и холода. Турнепс складывали на поле большими кучами, а потом грузили на тракторные сани. Были иногда и передышки, когда ждали трактор, и вот в одну из таких передышек вновь прошёл мимо нас по тракту небольшой этап мужчин и остановился на перекур, чтоб полакомиться турнепсом. Август был холодным, и мы уже были в бушлатах и телогрейках, ватных штанах и бутсах. С нами работали ещё несколько чужих, присланных из Эльгена блатнячек, и мы, сидя и стоя около кучи турнепса, начали разглядывать прибывших. По одежде и другим признакам пришельцы были новичками, они ещё не хлебнули настоящего ужаса, не знали, что такое работа на приисках и пр. Неожиданно один из прибывших начал медленно приближаться ко мне, стоявшей в некотором отдалении, и вдруг:

– Ада Александровна, вы ли это?

А затем я протягиваю не очень чистую шершавую руку, а он... он её целует.

– Боже мой, какая неожиданность, глазам не верю, – говорит мой знакомый по Дому учёных, не то Евграф, не то Евстав Никанорович (учёный-географ). – Помню, как последний раз на новогоднем балу, несколько лет тому назад, вы подымались по белой лестнице в длинном чёрном платье, а я следил за вашим отражением в зеркале и вы мне так нравились! Где же ваши чудные локоны... Какой это всё-таки бредовый кошмар – Дом учёных и это поле... Как вы могли всё это пережить, как вы можете вот так смотреть, улыбаться – мне кажется, я схожу с ума, я не могу понять, найти маломальское нормальное объяснение тому, что происходит, неужели вы можете что-то понять? – и с отчаянием вновь хватает мою руку.

Мы немного ещё отдалились в сторону, а позади в это время, толкая друг друга, наши блатнячки сгорали от любопытства:

– А кто он ей? Хахаль? А что это он с рукой делал – знак смотрел?

А мой знакомый тем временем рассказывал, что его не раз обокрали, что он ослаб и долго болел, и вот теперь всё его имущество на нём и вот даже шарфа не оставили.

– Извините, я не брит и вот приходится, – шаря слабой рукой у горла, – обматываться этим грязным полотенцем.

Теперь его как слабого гнали куда-то вместе с другими доходягами на подсобные работы. В ужасе рассказывал, что ему как милость предлагали быть дневальным в мужском бараке.

Я:

– Это очень, очень хорошо, обязательно устраивайтесь!

Он столько передумал и столько намучился морально; доходило до того, что он видел движение губ говорящего, а смысл ускользал, и ему казалось, что это начало безумия и т. д. Не знаю, каким образом, но нам удалось привести его в палатку, накормить досыта нашими порциями супа и каши, обогреть и кое-как объяснить, что его ожидает.

Он только растерянно смотрел и, жалко улыбаясь, радовался:

– Ну, вот вы все тут обыкновенные, нормальнее люди, в палатке чисто, никто не ругается.

Блатнячки притихли и во все глаза глядели на такого «чокнутого фраера».

– Ну, зачем вы здесь? Где ваши мужья, дети – кому это всё было нужно?

Так хотелось его, по мере наших утлых возможностей, успокоить, объяснить, что теперь многое в его собственных руках, в его мужестве и жизнелюбии.

Вскоре всех увели, ушёл и мой знакомый, отягощённый нашими советами о том, как жить в лагере, и словами, что ему ещё не раз понадобится мужество, терпенье и уменье ориентироваться. Партия набила себе карманы турнепсом, конвоир построил, и больше мы никогда не встретились...

Последней мучительной работой на Волчке была ночная погрузка нами же накопленного летом торфа. Торф уже промёрз и лежал глыбами в штабелях, и мы должны были вилами, совковыми лопатами и просто руками грузить его в сани. Работали по четыре человека, сани были в два раза выше нас и вмещали двадцать кубометров. К тому же стенки саней, сделанные из двух накрест прибитых досок, пропускали мелочь, и нам надо было сразу заложить все отверстия огромными глыбами, а потом уже через борт, бросая с земли огромными лопатами мелкий торф, загружать середину. Если сани не были загружены до самого верха, тракторист ругался – у него тоже была норма. Грузили мы рядом с Волчком, по ночам уже было около минус 30°, бывали случаи, когда тракторист запаздывал, а мы бежали в палатку погреться у огня, так как в торфяном поле не было ни кустика и костёр развести было невозможно.

Сейчас трудно поверить, что четыре женщины грузили за ночь по четверо тракторных саней, то есть восемьдесят кубометров торфа – это была норма, и мы её делали. Нагрузим, и бежим при луне домой. Тишина хрустальная, яркие звезды – и ни души кругом. Прибежишь погреться, а иногда так и приляжешь в бушлате и бутсах на постель и в полудрёме ждёшь, когда залязгает трактор и услышишь мат тракториста. Вскакиваешь и бежишь на торф, чтобы, сохрани бог, не опоздать к приезду тракториста, – и всё сначала.

Вести с фронта доходили скупо и часто в извращённом виде. Сводки бывали только в витрине клуба в Эльгене, а у нас ничего не было, и нам казалось неправдоподобным, что фашисты под Ленинградом.

Это были наши последние сытые и обычные дни. Потом пришло распоряжение в секретную часть об усилении режима и об уменьшении пайка. Потом мы узнали, что тех, у кого дело прочерчено полосой, будут переводить в другие, много худшие места, что наши сдружившиеся звенья будут разбиты, что мы вновь все будем бесконечно одиноки, что нас ожидает голод и много худшая работа, а может быть, и что-либо страшное.

У меня в деле полоса – значит строгости. К этому времени связь со многими распалась. Муся Ковалёва работала на конбазе. Стефа и Франка были на последнем месяце беременности, Перновская на другой командировке. На уборочной я сдружилась с Вильмой – очень начитанной, сдержанной и умной латышкой, с которой мы в уме перебирали все любимые прочитанные книги, а иногда мы слушали, как она по памяти рассказывала. Кажется, Циля Ершова к тому времени уже была помощником пекаря, эта работа редко кому оказывалась под силу. Замес делался в корытах вручную, и приходилось всё время от печи бегать на улицу прямо на мороз (за дровами) или в подсобные неотапливаемые помещения. Циля говорила, что у печи бывала мокрая насквозь, а переодеваться, конечно, нечего было и думать.

Перевезли с вещами в Эльген, а там вызвали и по списку отправили на мелиорацию, километрах в пятнадцати-семнадцати от совхоза. В этом списке я оказалась одна, а двое мне запомнились. Нина Бржезовская призналась мне вскоре, что она действительно виновата и получила десять лет за дело. Я смотрела на неё, не веря своим ушам, так как «виноватых» ещё не встречала, – об этом я уже упоминала. Вторая была Тося Р., удивительно цельная и необычайно трудолюбивая молодая женщина, сознательная комсомолка в прошлом, а сейчас преданный член партии. Она считала, что аресты в какой-то степени оправдывались тем, что члены партии отошли от чистоты ленинских принципов (господи, за это как раз и сажали!) и что настоящие коммунисты должны и тут, в лагере, быть образцом и самоотверженным трудом помогать Родине. Работала она безупречно, была одета во всё казённое, штопаное и залатанное, не имела ни от кого никакой помощи, была истощена больше многих из нас, получавших из дома посылки. Угостить её было очень трудно. Сдержанно и молча переносила она и голод и холод, была высокой, очень худощавой и мускулистой. Муж её, видно, ей пара по честности и принципиальности, попал за что-то в штрафную тюрьму на «Серпантинку». Там

были дозволены все способы допросов, и оттуда живьём никто не возвращался, да и редко кто выдерживал там год. Тюрьма эта находилась ещё севернее, в тайге, адрес был неизвестен, а называлась так, потому что со всех сторон была охвачена протоками и болотами.

При начальнике Гаранине это было место настоящих бесконтрольных пыток. Позднее, уже в 1962–1964 годах мне дали прочитать записки одного из узников, который вышел оттуда живым, так как внутренняя политика страны сделала крутой поворот и он уцелел. Сейчас это – совершенно измождённый инвалид, но с ясной головой и памятью. Фамилия его Шаламов. Печатать свои записки, по-моему, он не пытался*.

Тося, так же как и мы в то время, не знала об истинном положении вещей, отказывалась верить просачивавшимся ужасам и считала, как и мы, Серпантинку одной из лесных командировок. Тосин срок был всего пять лет, и она так верила в своё освобождение, что, когда срок истёк и конвоир пришёл из Эльгена с бумагой на её имя – это было ещё на Волчке, – она бросилась на поле доделывать свою норму, чтобы с чистой совестью выйти из лагеря. Когда мы пытались ей доказать, что теперь это не имеет значения, она, глядя поверх наших голов, сказала: «Настоящий коммунист меня поймёт!» Было в этой худенькой напряжённой фигуре в эту минуту что-то сродни Жанне д'Арк, и мы её больше не трогали. К тому же в контору её вызвали не на освобождение, а на перевод в лагерь усиленного режима, то есть мелиорацию, так как освобождение всех окончивших срок откладывалось. Тося после этого стала ещё строже и молчаливее, продолжала работать как одержимая, не терпела никаких шуток и фривольностей и только иногда заговаривала о книгах.

Думаю, что ни её, ни её мужа нет в живых, и не дожили они до лучших дней.

* Варлам Тихонович Шаламов (1907–1982) находился в лагерях Колымы с 1937 по 1951. Его рассказы, над которыми он начал работать в 1950-х, впервые были напечатаны в середине 1960-х на Западе. В СССР – после смерти автора, в 1989.

Зима 1941–1942 годов была тяжёлой и однообразной. Газет мы не имели вовсе, вести о войне доходили из каких-то смутных источников, казались необъяснимыми и неправдоподобными. Почему, например, Ира Иоффе неожиданно получила какую-то весточку из Рыбинска от эвакуированных родственников из Ленинграда? Как можно поверить, что фашисты в Ленинграде и что почти всё население эвакуировано? До дыр зачитывали книгу Инбер об осаждённом городе, ужасались и бродили в мучительных потёмках всевозможных вопросов, о которых осторожно не говорилось вслух. Сводки вывешивались на стенде клуба в Эльгене, но обычно это были победы, которые висели долго и не были свежими. Чтобы вывешивались сведения о поражениях – я не помню.

Жили мы в унылом плоском длинном бараке с маленькими оконцами. В нём сплошные нары из досок и кругляка, кругляком же был грубо застлан земляной утрамбованный пол. В соседнем бараке – столовая, тот же пол, длинный, грубо сколоченный стол посередине и скамьи по бокам.

Уменьшили пайку хлеба, исчезли всякие добавки, перестали доходить посылки и письма (в Москве продуктовые посылки были запрещены, и родные иногда ухитрялись посылать из маленьких городов области или с железнодорожных станций). Уменьшили рацион.

Женщины были все новые, незнакомые, в большинстве случаев по статье «кртд» (то есть троцкистки), были и из тюрем. Настроение у всех подавленное, в кино не пускали, все углубились в свои мысли. Начала писать стихи – наверно плохие и подражательные. Скоро бросила.

Обмундирование наше тоже изменилось. Ещё на Волчке отняли у нас бушлаты и даже овчинные шубёнки, выдали залатанные, второго срока брюки и телогрейки, валенки заменили суконными портянками и бутсами, которые впоследствии были заменены лаптями.

Поле, на котором мы рыли каналы, было пустынным и очень большим. Ни рощиц, ни отдельных деревьев; попадались овраги да маячили на горизонте сопки, но уже

не те, привычные и полюбившиеся на Волчке, а новые, незнакомые и отчуждённые. Работала я, пожалуй, дольше всего с Тосей Р. Обогрева не было. Костёр развести было не из чего, так что единственное спасение – это разогреваться работой. Научились глазом распознавать еле заметные щели и трещины в замёрзшем грунте и, попадая кайлом в такую щель, отваливать большие глыбы. Когда земля промерзала ровной цельной поверхностью, шла мелкая мёрзлая крошка, и норму выполнить было немыслимо. Спасал, как всегда, короткий зимний день. Солнце вставало в десять-одиннадцать, уходило за сопки, и сразу после трёх наступали быстро сгущавшиеся сумерки, а за ними полная темнота. Какая работа во мгле?

Сумерки наступали так быстро, что мы только успевали за это время пробежать те два-три километра пути, отделявшие нас от бараков. По очереди дежурили в бараке, топили снег для умыванья, топили железную бочку, над которой за ночь просушивали портянки и одежду. Воздух был тяжёлый, пахучий.

К весне все наши оросительные или, вернее, сточные канавы были сделаны, и нас снова перебросили в Эльген. Конечно, рассчитывать на какую-либо хорошую и постоянную работу не приходилось – все места были заняты. Нас стали посылать то сюда то туда на подмогу или водили на распиловку дров, что было самым нежелательным, так как норма была громадной, а пилить приходилось на виду у всех на площадке на морозе, и почти не сходя с места.

Мечтали и завидовали тем, кто хоть и в грязи, но в тепле – месили торф с навозом и штамповали на нехитром станочке вегетативные горшочки для рассады. Тут можно было и болтать во время работы, и передохнуть.

Помимо дров, я ещё попадала на перекопку теплиц и на пикировку, где выполняла работу очень быстро и аккуратно. Рабочие дни весной становились нестерпимо длинными. Солнце садилось всё позже и позже, сокращая наш отдых и сон. Под конец мы ложились в одиннадцать часов сразу после поверки, почти не раздеваясь, так как

подъем был около пяти утра, и мы от недосыпу вставали, как сомнамбулы, ничего не понимая, с трудом заставляя себя влезть в брюки, идти завтракать. Конечно, не успевали ни как следует вымыться, ни причесаться.

Но был в Эльгене и один плюс – клуб, где можно было взять книгу и даже изредка посмотреть фильм. Книг было мало и лучшие, истёртые и зачитанные, редко попадали на полки. Ходили вдвоём, передавая книгу из рук в руки. Были случаи, что нам, по просьбам, родные высылали книги вместе с сухарями или чесноком – но посылки проверялись в КВЧ и не всегда доходили до нас. Уже упоминала, что присланные мне «Братья Карамазовы» дошли только наполовину, напечатаны они были на дешёвой мягкой бумаге и пошли на курево.

Ни заграничных, ни переводных книг нам не выдавали – исключением был «Портрет Дориана Грея», у которого на титульном листе стояло крупным шрифтом предисловие Корнея Чуковского. Вохровец повертел книгу, насупил брови и авторитетно провозгласил: «Портрет Дориана Чуковского – это можно», – и отдал книгу в руки Ире Иоффе нам всем на радость. Ира Иоффе, какая-то дальняя родственница академика, села в девятнадцать лет за разговор с японцем, будучи студенткой восточного факультета. Её одну сумели вызволить из лагеря после трёхлетнего отбывания срока, хотя было всего десять лет. Сейчас – это известная переводчица с японского И. Львова.

С Верой Половинкиной, женой композитора, мы познакомились на далёком поле возле Таскана. Потом мы встречались с Верой снова на работах в Эльгене. Ей давали развозить рассаду, корзины и т. д. на двух смешных маленьких лохматых осликах, с неимоверно длинными ушами. Она их называла Vitae и Anus, приносила им корочки хлеба, чесала за ушами, разговаривала и совершенно приручила. Дошло дело до того, что, когда однажды она заболела и не вышла на работу, Vitae и Anus сбежали от своего нового погонщика с агробазы и притрусили к ней в барак вместе с повозками...

Ослы не выдерживали морозы ниже 50°, их актировали и оставляли в тепле, а их хозяйку тоже не выгоняли одну на мороз, она что-то делала в помещении.

Мы остро завидовали, так как работали до –55°, что было очень трудно. Всё время обмерзало и белело лицо, всегда обмораживался (и очень болел после) нос, от дыхания края платка становились ледяными и царапали кожу. В дальнейшем мы научились узнавать температуру плевком. Долетает до земли уже ледышкой и разбивается – значит 55° и ниже. Официально это был предел, до которого водили на наружные работы, но если не было ветра, водили иногда и при –56°.

Работать в теплицах Эльгена мне не пришлось, хотя все об этой работе мечтали. Работающие были в тепле, а до помидоров и огурцов сажали лук и редиску. У всех у нас был витаминный голод, и смертельно хотелось полакомиться. Послали меня раз работать в сельхозпалатку – большое слегка отапливаемое помещение, где надо было чистить и разбирать машины, главном образом, сеялки, на которых я не раз работала и имела о них поверхностное представление. Барак этот находился за зоной вблизи тракта, в двух-трёх километрах от молочной фермы и МТС. Послали меня одну, чему я была очень рада. Весенний день был нескончаем, палатку заливало солнцем. Внутри стояли грубо сколоченные верстаки и скамьи.

Я разбирала сеялку как умела, отмечая шурупы, болты, сопла и желобки мелом, карандашом или цветными верёвочками. Раскладывала их по полу в том порядке, как снимала, чистила, обтирала и снова собирала. Удавалось среди дня подогреть и поесть супа, которой я приносила с собой в жестяной банке, а главное – в тишине, покое и одиночестве написать домой письма. И вот однажды приехал в палатку наш агроном Ганзелик на знаменитом Гектаре, впряжённом в лёгкие санки с полостью. О Гектаре мы были все наслышаны. Это был молодой чистокровный гнедой жеребец трёх-четырёх лет от роду, который был привезён каким-то спецрейсом и стоил баснословную сумму денег. Хотели улучшить

породу тех жалких лохматых лошадей, которые прижились у нас на Севере.

Мы все любили Якова Ивановича, он был всегда весел и приветлив, молод и очень красив. Приехал он с каким-то техником, кое-как обмотал поводья о первый попавшийся выступ, ушёл с техником внутрь, в другой конец палатки, бросив мне через плечо: «Покараулъ коня!»

Я подошла к Гектару с некоторой опаской, чтобы подкрутить поводья. Конь был великолепен! Косил глазом, хрипел, изгибал шею, рыл копытом уже осевший и подтаявший снег. Гектар лоснился чистотой, играл расчёсанным хвостом. Ездили на нём только начальники, которые не очень-то жаловали к нам в лютый мороз. Содержался конь отдельно в конюшне, а Яков Иванович запряг его для небольшого моциона. Конь крутился, дёргал головой и перебирал ногами. Я тем временем заметила, что повод начал раскручиваться и соскальзывать с какого-то колышка. Совершенно не думая, что из этого может произойти, я сняла повод, чтобы его покруче закрутить и обвязать вокруг кола, но конь, почувствовав облегчение, взвился с весёлым ржанием и начал, слегка гарцуя, идти вперёд. Я держала поводья в руках, и единственное, что можно было сделать, это прыгнуть в санки, что я и сделала. Шоссе было всё утрамбовано настом, снег искрился и вызывал своей белизной резь в глазах. К счастью, никто не ехал и не шёл, а Гектар мчался сумасшедшим аллюром, почти опрокидывая санки на изгибах. Я сидела ни жива ни мертва, с одной мыслью: «Разобьёмся! Гектар себе поломает или что-нибудь повредит, и если останусь жива, это суд и новый срок – о, господи!»

Как я уже говорила, ездить на Гектаре разрешалось только начальству, а одеты все были почти одинаково: у нас были бумазейные ватные ушанки – у начальства такие же меховые; у нас бушлаты из чёртовой кожи – у них суконные на овечьем меху. У меня был ещё обмотан вокруг шеи домашний, неказённый хороший шарф, а ноги закрыты полостью. Уже издали нас заметили на молферме, начали торопливо сгребать навоз от входа, выбежали

доярки, натягивая фартуки, всё пришло в движение, смотрели вдаль – ждали. Гектар сделал у самого въезда крутой поворот, едва не выбросив меня из саней, обдал меня облаком снежной пыли, так что я стала неузнаваемой, и понёсся дальше по шоссе. Он весело мчался так, как только мог нестись трёхлетний откормленный и застоявшийся жеребец. Как птица, ног под собой не чуя. Я давно уже потеряла надежду, натянув поводья, его остановить – он меня вытягивал, наклонив голову, из саней вместе с поводьями. Всё-таки я держала поводья и упиралась ногами в передок, чтобы не вылететь. Понеслись напрямик к ремонтным мастерским. Кто едет – уже невозможно разобрать, настолько я вся запорошена снегом, но я вижу, как появились чёрные фигуры людей, кто-то открывает ворота, кто-то кричит кому-то в барак, и выбегают ещё люди. Гектара знали все. Ну, думаю, тут мужчины, авось остановят, но Гектар и не думал заезжать, круто повернул и снова понёсся вперёд, оставив у ворот изумлённые лица.

Теперь я уже просто не знала – что будет. Шоссе могло тянуться на десятки километров! Всё дело Гектар решил сам. Домчавшись до какого-то поворота, он, не замедляя темпа, резко повернулся и помчался обратно. Когда мы подъезжали к палатке, около неё уже бегали Яков Иванович и техник. Они вдвоем перерезали Гектару дорогу, один бросился и повис на оглобле, другой ухватился за повод. Гектар взвился и остановился. Конь был в пене.

– Ну, что, мокро в брюках от страху?! – смеясь, наклонился ко мне Яков Иванович, помогая вылезти, так как от страха у меня подгибались колени.

Всё обошлось – слава богу!

– Вот, – потом учил меня Яков Иванович, – надо было дать Гектару хоть везти себя на поводьях, только не садиться в сани, а уж раз сел – надо хорошо уметь управлять, а главное, иметь силу мужскую!

Где-то идёт война, о которой мы почти ничего не знаем, письма доходят мало, посылки становятся скудными и очень редкими. А мы работаем от зари до зари

без выходных, падаем к ночи от усталости и не успеваем отмечать бегущие дни.

Теперь, когда всё так давно позади, я сознаю, каким это было моральном облегчением – не иметь ни времени ни сил о чём-то думать, вспоминать... Редко получала короткие, чисто семейного характера письма от мамы; о Серёже не знала ничего, кроме того, что по здоровью он на военную службу попасть не мог. К осени, по окончании полевых работ нас (с полосой в деле) перевели из обычного барака в новый, ещё не совсем достроенный. Снова всех перетасовали и перераспределили, и я попала к совершенно чужим женщинам, среди которых было много блатнячек, а наших расселили по углам и самым плохим местам, как вновь прибывших. Было грязно, отовсюду дуло, не было даже стола и крепких скамеек. Топилась, как всюду, железная бочка посреди, рядом с ней бачок с питьевой водой, а дальше нары, нары и нары. Освещение было плохое.

В первую ночь я проснулась от ужасного кошмара; снилось что-то страшное, тащили за волосы, а крикнуть, как обычно во сне, не могла и только надрывно хрипела. Когда немного пришла в себя, то поняла, почему снился такой жуткий сон: в моих волосах сидела крыса и дёргала запутавшуюся лапку. Одним рывком, вырвав клок волос, стряхнула её с головы и вскочила на ноги. Крыса юркнула за изголовье. Сонливость как рукой сняло. С чувством отчаянья и отвращения села и стала присматриваться к окружающим. Как только я перестала шевелиться, то тут то там начали проскальзывать осмелевшие гады. То тенью промелькнут у головы спящей, то зашевелится одеяло у соседки, то поднимется спутанная голова и почешет оголившееся плечо. Спали!

Уставали за день так, что даже крысы не могли разбудить! Смертельно захотелось спать и мне. Оделась во всё, что было – брюки, телогрейку, на ноги натянула кустарные чуни, сшитые из наколенков чулок и кусков мешковины. Попробовала заснуть, натянув на голову одеяло, – невозможно душно. Тогда догадалась надеть на лицо накомарник, обвязав голову полотенцем так, чтобы

вуаль не касалась лица. Дотянула до утра, замучилась за ночь так, что еле вышла на работу. Рассказывала – кто ужасался, а кто не верил...

К счастью, в это время произошла смена начальницы лагеря; нашу толстую, ограниченную и невежественную Зайцеву перевели на другой пункт, а нам назначили Циммерман – худощавую высокую женщину с довольно умным, интеллигентным лицом, подтянутую и следившую за своей внешностью. Эта стала придирчиво относиться к нашему быту. Наводила ей одной понятный порядок, разлучала сдружившихся. Почти всех, бывших на мелиорации, вызвали по списку на новый этап.

Вызвали и Нину Бржезовскую, её мать оставили в Эльгене, меня тоже. Нина от этой новой разлуки как-то вся сникла, сжалась и казалась такой маленькой и беззащитной, что я не выдержала и пошла самовольно проситься с ней в этот этап. Циммерман приняла меня вежливо и сухо. Выслушала мою просьбу и, внимательно посмотрев на меня, сказала: «Вы меняете лучшее на худшее – этап в тайгу, в трудные условия». Что было говорить? Нина где-то ждала меня, и я заявила, что мы вместе выполняли норму и приноровились друг к другу. Норму мы, конечно, выполняли далеко не всегда, да и работала я часто с другими, так как Нина была маленького роста. Циммерман вновь на меня посмотрела: «Ну, что ж, внесу в этап, но имейте в виду – обратный выезд не разрешу». С тем я и пришла к Нине и поехала с ней вместе в тайгу. Радости от этого не было никакой. Нина всё время терзалась, что я поехала из-за неё, а мне, и без того измученной, ещё приходилось без конца уверять, утешать и доходить до полного душевного истощения. С ней было трудно и плохо, так как Нина была неуравновешенной, то доходила до истерики, а то молчала или говорила о самоубийстве.

Проработали мы с ней недолго, и её снова куда-то перевели, а я сдружилась и работала или одна, или со Стефой Подзис. Стефа к тому времени родила девочку, которую взяли в ясли. Летом Стефа бегала её кормить, а к зиме девочка уже подросла, и Стефу, несмотря на

её слезы, отослали с нами в тайгу. Единственно, что ей разрешили – это ходить к дочке на свидания, и вот Стефа в актированные или выходные дни отправлялась с какой-либо подвернувшейся попутчицей или просто одна за восемнадцать километров в Эльген по тайге, чтобы увидеть и приласкать свою дочку и снова идти обратно. Отец девочки в это время был переведён нормировщиком на Таскан, лежавший от нас в шести-восьми километрах в другую сторону. Туда Стефа тоже бегала на свидание к мужу или встречалась с ним в лесу у костра. У Стефы было всего пять лет, она верила в то, что выйдет из лагеря и что они с Мишей ещё поживут вместе. Так, собственно, и вышло, но пришлось им обоим, хотя и вместе, живя уже нормальной семейной жизнью, перебиваться как вольнонаёмным в том же Эльгене, так как окончивших срок из-за войны с Колымы вообще не отпускали.

Примерно в то же время родила хорошую белокурую девочку и Франка Штейнерова от своего Степана, но с ним случилась непонятная беда: зимой его нашли замёрзшим на пне дерева, то ли у него был какой-то припадок, то ли ещё что-либо. Степан был крепким, сильным молодым и привлекательным человеком, всем нравился, в лагере попал к трактористам, что было неплохо, и Франка его по-настоящему очень любила. Мы все были ошеломлены этой новостью, на Франку было страшно смотреть. Девочку свою Степан так и не видел.

Стефа относилась ко мне очень хорошо и несколько по-матерински, считая меня неприспособленной интеллигенткой. Учила жить, хотя была младше меня на несколько лет. Мы с ней наловчились сдавать откопанные под снегом прошлогодние штабеля как свои. Стефа умела сложить четырёхметровый штабель лесин так, что при замере кубометров оказывалось шесть.

На Сударе режим не оказался более трудным, чем в Эльгене, – место это было очень глухое и деваться было некуда, а единственная ухабистая, петлявшая по лесу дорога приводила в тот же Эльген. Но было тут уже

много голоднее. С шестисот граммов нас перевели сперва на четыреста, а потом на триста, а не выполнявшим норму хлеба вовсе не давали, и питались они дважды в день жидким овсяным супом. Я свои триста граммов геройски делила на три порции и имела ещё немного пилёного сахара. Но потом и сахар кончился, посылок никто не получал, начался голод.

Сударь был прелестным глухим уголком во внезапно раздавшейся тайге. Мы туда ехали на тракторных санях – вернее, сидя на раме саней, судорожно цепляясь при каждой ухабине за стойки, – упасть было смертельно. Тракторист на сани не оглядывался, да и смотровое окно обычно было покрыто льдом, а тракторы все были обычно с дефектами, плохо отремонтированы и гремели так, что никакой крик о помощи до тракториста не дошёл бы. Ехали мы из Эльгена долго. Тайга была нетронутой, без порубок, но не очень запущенной. Громадные лиственницы и ели стояли свободно, раскинув ветви, запорошенные снегом. Тишина была поразительная, птиц не было. Иногда, стряхивая снег с ветки, перепрыгивала нам дорогу белка, попадались спящие с открытыми глазами небольшие северные совы. В сильные морозы мы их потом находили замёрзшими на земле. Дорога шла по протоке, иногда мы, сильно кренясь и грохоча, взбирались на крутой берег и шли, прокладывая дорогу по целине леса.

Уже ближе к вечеру мы, в последний раз переехав протоку, неожиданно выехали на небольшую лесную поляну с несколькими строениями. Тут была избушка конвоиров, два низких барака, барак-столовая, на отлёте небольшая кухня, банька возле протоки и низкий тёмный барак, где находилось производство финской стружки (дранка, которой покрывают крыши). Жилой барак не был пустым. У окна, в самом светлом хорошем углу, под красным шёлковым одеялом полулежала, с любопытством нас оглядывая, девятнадцатилетняя красавица. Оказалась она последней любимой женой одного крупного вора-рецидивиста, ухитрявшегося даже в лагерных условиях добывать для неё красивые дорогие вещи

и посылать белый хлеб и консервы. Думаю, что конвоиров подкупили, а Сударь был далеко от начальства.

Была она довольно чистой, свежей, с хорошим цветом лица, бойкими карими нагловатыми глазами и резко выделялась среди нас – истощённых, оборванных и грязных. Она нам весело заявила, что она – отказчица и что работать вообще и никогда не будет, что в свои девятнадцать лет она видела лучшие рестораны Москвы и одевалась так, как хотела, что её друг ей ни в чем не отказывает. Она действительно на работу не выходила, сидела в бараке, ни о чём не думала, спала и скучала. На одной из поверок нам зачитали новый приказ военного времени, что отказывающихся работать будут расстреливать на месте, без запроса высших санкций, и я ей об этом рассказала (на поверку, на улицу, она не хотела выходить и лежала у себя в углу полуодетая в кружевных комбинациях). Она нисколько не встревожилась. «Ну и пусть стрелят, работать им всё равно не буду, а жизнь я видела такую, какую вам всем сроду не видать...» Потом она исчезла. Куда-то увезли.

Редко удавалось быть на работе одной, а вечная толчея и необходимость приноравливаться или самообороняться очень утомляла. На Сударе довелось мне и пилить одной в лесу, и быть истопником на финстружке. Жили мы так далеко в лесу, что многие откровенно жили с мужчинами и даже с охраной. Конечно, утаить свою связь от других при таком тесном и малолюдном общении было невозможно, все видели, понимали и молчали. Круговая порука в таких делах была надёжной, и всё-таки именно здесь мне довелось видеть, как собакой травили человека.

Производство стружки происходило в тёмном низком помещении, где в глубоких корытах мокли в тёплой воде чурки осины, круглые сутки топилась печь. Стругать осину на станке можно было только мягкую, распаренную, тогда она не давала отходов и брака. Было тут темно, грязно, жарко, и пахло распаренным деревом. Чтобы не выходить из нормы, я время от времени открывала тяжёлую, низкую, обитую ватным тряпьём дверь и жадно вдыхала чудный морозный воздух.

В эту ночь погода была дивной. Ярко светила луна, всё казалось погруженным в мёртвый сон, когда неожиданно на дороге появилась крадущаяся фигура молодого человека, судя по одежде, явно заключённого. Он вертел головой, всматривался в окна, очевидно, намереваясь постучать в одно из них и попросить помощи, но не знал точно – в какое, и был в нерешительности. Вид он имел усталый, измученный, ведь идти ночью на свидание приходилось по десять-двадцать километров, и не каждому это было под силу, тем более что времена настали голодные. Охрана же наша благоденствовала, никто из нас никогда не пытался бежать, работали по мере сил. Но были, несомненно, у них планы, договора по соревнованию и т. д., так что время от времени происходило запланированное мероприятие – обыск в поисках ножа или ножниц или поимка незадачливого любовника.

Пришелец, возможно беглец, был здесь явно впервые, плохо ориентировался и очень устал. А видно, на эту ночь, возможно по доносу или просто по заданию, была назначена поверка и обход. Где-то послышались тихие голоса, что-то пришло в движение, приглушённо тявкнула собака, И вдруг – чёткий, явственный приказ: «взять!», и по освещённому светлому пространству в два-три громадных прыжка появился громадный великолепный пёс – овчарка охраны. Человек в ужасе оглянулся, и в то же мгновение на шее у него повис этот пёс, вцепившись в горло. На нём был толстый шарф, иначе собака сразу бы прогрызла шею, но их тренировали на поимку и задержание, а не на убийство. Человек бросился бежать к лесу, спотыкаясь и пытаясь оторвать собаку, но это ему не удавалось – где ему, голодному и усталому, было справиться с таким сильным, натренированным животным! А собака не размыкала челюстей и висела всей тяжестью на нём. А всё кругом оставалось таким же мирным, тихим, безлюдным.

Недалеко от меня дорога начала обагряться кровью, человек шёл уже медленнее, но не кричал, а издавал какие-то мучительные стоны и вздохи. Видно, задыхался. Мне стало жутко, тошно – видеть такое

и не быть в состоянии чем-либо помочь! В конце дороги появились вохровцы – один докуривал папиросу, шли медленно, приглядываясь к окроплённому кровью следу. Торопиться было некуда – собака знала своё дело! А свидетелей при таких делах могли посадить в карцер, и я тихо закрыла дверь.

Что с этим ночным посетителем было дальше – я не знаю, и к кому он шёл – никто не признавался. Искажённое ужасом и болью бледное истощённое лицо, а под ним громадная блестящая шкура собаки, и тишина, и девственный белый снег, искрящийся при луне, – мне снились годы.

Наша лесная командировка «Сударь» была окружена и перерезана всевозможными большими и малыми протоками. По тому, какие скопились завалы брёвен и плавника, можно себе представить, какой был мощный приток воды в половодье! Помнится, наша задача и состояла, главным образом, не в валке леса, а в разборе этих громадных нагромождений. Отведёт десятник такой нагромождённый хаос на двоих – и дело с концом, а мы ходим вокруг, присматриваемся, с чего начать и как тут не сложить голову. Кучи были с двух- или трёхэтажный дом, надо было всегда начинать сверху, проявляя максимум осторожности и смекалки. Оступиться, потерять равновесие или – что было ещё опаснее – нарушить равновесие какого-нибудь верхнего бревна в десять-двенадцать метров длины и шестьдесят-семьдесят сантиметров в диаметре – могло кончиться катастрофой.

А красота на этих протоках была поразительная. Были места на поворотах, где весенняя вода подмывала корни громадных деревьев, и они, сцепившись, падали вниз, всё увлекая за собой. Потом вода тут же наслаивала поверх упавших целую гору, ворох наноса, и надо было это разбирать, как в детстве кучку бирюлек, не обрушив всё на себя. В ранние весенние дни солнце подтапливало поверхность снега, и мы иногда с замиранием сердца подползали под таким ворохом плавника по насту, ползая на животе. В этой работе, кроме постоянного риска, был ещё и азарт, и мы сами себе не верили, когда такой

бурелом превращался в десяток уложенных на берегу штабелей.

Был это уже 1943 год, и стало очень голодно. Мы уносили с собой за пазухой небольшой кусок чёрного хлеба – наш денной паёк, а в банках из-под консервов замороженную баланду из крупы и рыбных отходов или из тёмной наружной капусты (белые, внутренние листья шли на квашенье). Первое называлось супом, а второе – щами. В обед мы разводили костёр, оттаивали эту баланду и съедали всё дочиста. Когда у кого-нибудь появлялся сахар или леденец, в этой же банке топили снег и пили чай, то есть снеговую воду, пахнувшую костром, порой с лиственничными шишками.

Оставлять что-либо в бараке было невозможно – дежурная, на чьей обязанности было содержать барак в минимальной чистоте, топить печь и растапливать лёд для воды, обычно всё перешаривала и съедала. Была у меня горстка сахара, которую я берегла на случай болезни, но однажды ночью, вставая по нужде, поискала в изголовье спичку и случайно поймала за руку свою соседку, ворующую у меня этот аварийный сахар. Утром на работе, с глазу на глаз, я, взывая к её совести, произнесла глупый моральный монолог и взяла с неё клятву, что больше это не повторится. Была она женой крупного инженера в Магнитогорске, одной из организаторов «движения жён специалистов» и оставила на произвол судьбы при аресте двух детей-дошкольников. Сейчас мне кажется моё поведение наивным и жестоким. Лучше было бы сделать вид, что ничего не произошло, но это я понимаю сейчас, а тогда мне было и мерзко и обидно. Свои кусочки сахара я после этого поделила со Стефой, а остаток в жестяной баночке унесла в лес и спрятала под корень дерева.

Стефе иногда перепадали какие-то крохи еды от её мужа Миши, который работал с вольными, и она их добывала в Эльгене, когда ходила на свидание с дочкой. Раз как-то передали кусок солёной рыбы и мне, через Перновскую, о которой я писала ранее, но Анна Михайловна, попав в контору, вспомнила о своей партийной совести

старой чекистки и сказала Стефе, что вынести эту рыбу за зону она не может, так как дала в этом подписку. Осталась эта рыба гнить в канцелярии, а мы со Стефой, которая не скупилась на возмущение и ругательства, вспоминали, как я носила той же Анне Михайловне, когда она заболела поносом, белые сухари и манку из своих посылок по ночам из Волчка, бегая по глухой тайге за двенадцать километров.

Случай этот так и остался в моей памяти одним из самых болезненных, но, к счастью, не озлобил меня, и я впоследствии, рискуя новым сроком и карцером, носила многим и многим и картошку с поля, и помидоры из теплиц, и капусту, то есть с радостью воровала государственное, чтобы кого-то поддержать. Всё моё чувство к Анне Михайловне было сразу убито, но не было желанья свести с ней счёты. В дальнейшем, когда мы уже были на свободе, я упросила Шкодина устроить её учётчицей в какой-то подведомственный ему совхоз, так как кроме партийной работы у Анны Михайловны специальности не было.

В эту же зиму на Сударе познакомилась я с Женей Гинзбург, нашей медсестрой, которую прислали с Эльгена и поместили в маленькой каморке при медпункте. Женя эта в дальнейшем стала писательницей (в юности она была журналисткой и женой председателя Казанского горисполкома).

Она вышла замуж за врача в Магадане, туда же вызвала, уже освободившись, своего сына из детдома, так что модный ныне (1969–1972 гг.) драматург Вася Аксёнов доучивался в Магадане, а затем то ли попал в Москву сразу, то ли пожил ещё с матерью во Львове, куда Женя уехала после реабилитации. Потом Женя вновь вступила в партию, переехала в Москву, очень вскоре пустила по рукам знакомых свои мемуары о заключении – «Седьмой вагон» из книги «Крутой поворот»* и др., которые неожиданно попали за границу и были напечатаны.

---

* Книга Евгении Гинзбург «Крутой маршрут» впервые опубликована за границей в 1967. В СССР была напечатана в 1988 и многократно переиздавалась; инсценировка поставлена театром «Современник».

...А тогда мы, в канун Нового года, натолкли и нажарили немного украденного от лошадей овса, сэкономили порцию хлеба и солёной рыбы, сварили из овса кисель, а хлеб подсушили и сосали с рыбой; устроили ёлку и праздник.

Конвоиры тоже что-то встречали и к нам, к счастью, не заходили. Мы все уселись в бараке вокруг печки, ели кисель, сухари, а потом Женя, обладавшая изумительной памятью, сперва прочла наизусть «Евгения Онегина», а потом «Русские женщины». Мы слушали в восторге, затаив дыхание. Были забыты и война, и голод, и холод, и наши попранные права...

После Нового года стало ещё хуже и голоднее. На работу теперь ходили в лаптях, а вместо толстых носков выдали грубые шерстяные онучи. По утрам долго возились с ногами, утепляли чем могли. Греть ноги у костра можно было только разувшись. Лапти горели. Вместо завалов на реке стали отправлять в лес. Стефу взяли в Эльген. Нина тоже куда-то ушла. Стала работать одна. Приноровилась валить громадные деревья толщиной много больше, чем я могла охватить. К счастью, это были тополя, менее жёсткая порода. Теперь мне эта работа кажется очень опасной, тогда я об опасности не думала, хотя была иногда одна на далёком участке, где и крика не услышишь. Подрубала дерево в сторону крена, пилила с обратной стороны, пока не зажимало пилу, потом отбегала в сторону и длинным шестом толкала дерево. Конечно, надо было хорошо всё наметить, так как, когда падает дерево, увернуться уже поздно, а убить может даже суком.

До сих пор помню, как на маленькой поляне подрубила и спилила великолепную лиственницу – просто сказочно роскошную и прямую. Взяла шест, а она не падает! Подошла с другой стороны, снова толкаю, а она скрипнула, вздрогнула и опять встала... Тут меня пот прошиб: и бросить опасно, ведь убьёт любого в ветреный день, и норма не сдана – значит штрафная баланда. И двинуться боюсь, стоит как свеча, хотя и спилена до конца, и упасть

может в любую минуту в любом направлении. Так и пятилась задом, не спуская с неё глаз, и вздохнула, только когда выбралась шагов за сто. Окинула её прощальным взглядом – такая могучая красавица, в два обхвата, метров тридцать – тридцать пять длиной! Больше туда не посылали, и, конечно, в первый же ветреный день она, вероятно, рухнула.

Как-то из кустов внезапно вылез конвоир и спрашивает:

– С кем работаешь?

– Одна.

– Будет врать-то! – полез в кусты, осмотрел кругом, нет ли следов, покачал головой, убедившись, что кроме меня никого нет. – Откуда?

– Из Москвы.

– А не боишься?

– Нет.

Снова покачал головой, поскрёб затылок и ушёл.

Поваром на Сударе была Зоя Мазнина, пострадавшая за мужа, одного из организаторов Ленинградского комсомола по фамилии Дмитриев, и оставившая при аресте трёх детей. Трудно быть поваром в голодающей бригаде, но Зоя была так скрупулёзно честна и порядочна, что не помню случая, чтобы её в чём-нибудь когда-либо заподозрили. Выдавались ей продукты на тридцать-сорок человек, и уж, конечно, один человек мог немного поживиться! Но Зоя всё взвешивала, всё делила, засыпала крупу в котёл, а хлеб и солёную рыбу аккуратно укладывала порциями на всегда чисто выскобленный стол, покрывала чистой мешковиной и садилась, голодная, у крыльца поджидать нас. Мы с ней очень дружили, но она никогда и хвоста рыбы мне не давала. «Ты пойми меня, я не могу, они все голодные в лесу и мне верят...» И я её понимала, и никогда и крошек со стола не просила. Да не было и крошек тогда! После обеда лоснились чистотой ложки, миски, рыбьи кости были высосаны и вылизаны.

Зоя часами рассказывала о своём муже и детях, вспоминая самые незначительные происшествия в их жизни.

До Колымы она уже ездила к мужу в ссылку в Среднюю Азию, а сейчас сама имела большой срок и не надеялась увидеть мужа живым. Уже в Москве, в 1964 году, я случайно узнала, сидя как-то в гостях у бывших колымчан, что Зоя, отсидев срок, встретилась с пожилым немцем там же на Колыме и вышла за него замуж. Кажется, у неё побывал в гостях её старший сын. Она ещё не успела уехать с Колымы – наверно, заключили договора по вольному найму, – как в 1947 году начались повторные аресты по прежнему делу. Зоиного мужа как немца снова арестовали и послали на ещё более Крайний Север, а Зою на этот раз оставили. Было у неё тогда уже очень больное сердце, и врач запретил ей следовать за мужем, но не такова была Зоя, чтобы бросить в беде дорогого человека. Она, оставив новое, только что налаженное хозяйство, поехала за ним и вскоре умерла. Это было такое благородство, самопожертвование и честность... Другого такого человека я не встречала. И вместе с тем, была она тихая, скромная, очень домашняя и очень уютная женщина. Как можно её забыть?!

От слабости и головокружения стала я падать в лесу, и сделала тогда Женя Гинзбург для меня доброе дело. Дала знать в Эльген, что двое-трое из нас настолько слабы, что могут увечиться и не могут вообще работать. И вот, при вывозке очередного леса, навалили поверх наши пожитки, привязали нас и вывезли в больницу в Эльген. В больничном бараке я пробыла десять дней. Мы без конца спали и, хотя еды всё равно было слишком мало, берегли свои силы, а от лежания аппетит не развивался, и осталось у меня впечатление, что в больнице мы окрепли.

Помню, как нас выписывали, и какой-то человек кричал мне вслед: «Бабка, тебе ещё отметиться у врача надо?!» А я не понимала, что это относилось ко мне, что я в свои сорок лет выглядела старухой.

В лес я уже после больницы не вернулась, наступала весна, а с ней обычные совхозные работы. Снова вокруг были все новые, и снова пришлось привыкать и приглядываться к своим напарницам.

Была у меня в ту пору и радость: неожиданно пришла продуктовая посылка с сухарями, сахаром и каким-то странным топлёным жиром от Серёжи из города Риддера, куда он эвакуировался со своим МЭИ. Ужасно обрадовалась, что он жив, помнит обо мне.

Начала таскать кусочки сахара и жира на обед в своё звено и угощать напарниц. Почему-то они очень дичились этого и не верили, что я просто делюсь...

ТЕТРАДЬ ДЕСЯТАЯ

Как-то ранней весной нас, человек десять-двенадцать, погрузили с лопатами на грузовик и повезли отгребать снег на трассе. Весной, при солнце эта работа очень утомительная, так как снег уже тяжелеет, но, конечно, приятная: вдали от всех, тишина, покой, синее небо и ослепительный снег! У многих от снега воспалялись глаза, но у меня не очень, к тому же я старалась сделать над глазами подобие козырька. На трассе этой стоял немного поодаль домик-вагончик геологов и топографов, приехавших на Колыму по договору за длинным рублём. Мы пришли к ним погреться в обед и были очень приветливо встречены – умные люди (и бывалые!) не очень-то верили в нашу виновность. К тому же это были весьма запущенные, заросшие бородами и грязноватые люди, для которых всякое женское общество – приятное разнообразие. Некоторые из них были довольно начитанны, мы наслушались новостей про войну, про жизнь на Большой земле. Нас не расспрашивали – и так всё было ясно.

В вагончике было тесно и жарко, и я вскоре вышла подышать и обнаружила, что вблизи стоял ещё один приземистый небольшой барак, явно для заключённых. Направилась туда. Там встретили с любопытством, но настороженно и неприветливо. Барак был чистый, с жалкими потугами на уют. Не было обычного большого стола посередине, а всё коечки вагонного типа, завешанные какими-то простынями, кисейками, обособленные друг от друга. В углу против двери сидел на пеньке какой-то худощавый человек с короткой стрижкой и подшивал валенки. «Садитесь», – проговорил человек, не отрываясь от дела, и я села на другой предложенный пенёк, заменявший стул.

Что-то было необычным в этом бараке, и я начала незаметно осматриваться. У сапожника были быстрые небольшие руки, сам он был странным, высоким, с бледным, лишённым растительности лицом. Он так и остался сидеть вполоборота ко мне, и мне пришло в голову, что он похож на послушника, инока. «Наверно, таким был Алёша Карамазов», – мелькнуло у меня в голове. Что меня насторожило – это то, что рядом на нарах лежала очень молодая и с точки зрения зэка́ хорошо одетая женщина. Всё на ней было подогнано по росту и даже не лишено кокетства. Она теребила пуховый платок, только что снятый с головы, ноги были обуты в белые подшитые бурки. Они что-то сказали друг другу, и женщина поднялась, отыскала в изголовье чайник и куда-то ушла.

Нары были покрыты чистым одеялом, на стене висела расшитая салфетка, наволочка имела надпись «Люблю только тебя», окружённую тоже вышитыми гладью розочками. Наверно, эти вышивки, наконец, навели меня на понимание окружающего. Это были лесбиянки и жили в этом бараке парами. Та, которая изображала кормильца, зарабатывала ремеслом деньги на то, чтобы получше кормить, а главное – наряжать подругу. Наверно, они обслуживали конвоиров, и те смотрели на всё сквозь пальцы до очередной проверки. Внешне всё было очень респектабельно и чисто.

Присмотревшись к сапожнику, я поняла, что это ещё совсем молодая женщина, со впалой грудью, лишённая каких-либо округлостей. Потом я узнала, что большинство ей подобных – больные слабые женщины, которых по врачебным справкам не могли послать на тяжёлые работы. Были и туберкулёзные. На Эльгене мне попадались среди блатнячек широкоплечие, сильные, мужеподобные девахи с грубыми ухватками и сиплыми голосами, но эти были какие-то иные – больные, беззащитные и щемяще трогательные.

Очистили мы снег, нас увезли, и больше я в этот барак не попадала. Да и где он был? Возник среди снегов у опушки леса и снова исчез...

Всё лето, а затем и осень, как я уже писала, были обычные сельскохозяйственные работы. Пикировка, посадка капусты, уход за ней, поливка, затем уборка, сбор листа (это для заключённых), рубка и квашение (это для вольнонаёмных). Квасили в громадных чанах, куда спускались по лестнице в больших резиновых сапогах, по трубе конвейером всё время сыпалась рубленая капуста. Мы мяли и трамбовали до ломоты в костях, торопясь, наконец, подняться повыше, где не было такой сырости, промозглости и вони и откуда можно было хоть вскарабкаться, подтянувшись до наружной лестницы, и сбегать подышать на улицу. Блатнячки с хохотом рассказывали, что они и не думали вылезать из чана по надобностям и проделывали всё незаметно там же, в капусте. А мы, подсаживая друг друга, выходили.

Уже доходили до нас слухи, что окончивших срок всё равно не выпускали из-за войны. Мы все очень приуныли, опостылел Эльген, и когда под конец зимы зачитали по списку этап на Мылгу, многим даже захотелось переменить обстановку. Пусть на худшую (в Мылге не было кино и библиотеки для заключённых), но лишь бы уехать и не видеть приевшихся лиц. Мы к тому времени уже опасались дружить и сближаться, так как не менее одного-двух раз в год бригады перетасовывали и посылали на новые, иногда далёкие работы, и разлука бывала очень болезненной.

Предложили мне как-то вскользь полуофициально ехать в Магадан работать переводчиком, но, как бы это заманчиво ни казалось, я благоразумно решила отказаться. Во-первых, это не было «требование» на меня, а кто-то из сочувствия решил помочь и попробовать это устроить. Но если бы не вышло, меня с моим пунктом не оставили бы болтаться в Магадане, так как нас, интеллигенток, были считанные единицы и все специалисты – врачи, инженеры, два-три переводчика. На работы в гостинице, яслях, столовых брали только из уголовного мира. Можно было в случае неудачи попасть на засол рыбы в Оле под Магаданом, где женщины по колени в воде выбирали рыбу из садков, а потом потрошили,

солили и закладывали в бочки в ужасающей грязи и холоде. Почти у всех был ревматизм и от соли до крови разъеденные пальцы.

Итак, этап на Мылгу, маленький административный посёлок с теплицами на полдороге от Эльгена. Конечно, разлука с кем-то приятным – ведь ближе друг друга у нас в то время не было, уверения давать знать о себе, стараться увидеться...

Дорога от Эльгена до Мылги шла мимо нашего заброшенного Волчка, потом пересекала лес, поляны, вырубки. Было это километров двадцать – двадцать пять до самой Мылги, а примерно на пятнадцатом-семнадцатом километре дорога выходила из леса и шла по открытому, заросшему редким мелколесьем и кустарниками пространству. Оно полого спускалось к извилистой речке (или протоке), через которую был перекинут бревенчатый мост. Сразу за мостом (которой часто рушился), направо за кустарником, было расчищенное вырубленное пространство, где стояла маленькая низкая баня, затем кухня-столовая и ещё дальше старый низкий барак для жилья человек на двадцать.

Налево же дорога, чуть повышаясь, упиралась в открытую площадку с двумя рядами теплиц. Тут же был, сразу за теплицами, пологий спуск к воде, куда по четыре-пять раз в день ездила на лошади с громадной бочкой Нина Чунчул и вручную ведром набирала воду. Приходилось и мне так работать, сперва наливать двести вёдер (в любую погоду!), стоя на передке телеги в воде, а потом вывозить со страхом пролить, и вычерпывать двести вёдер, поднимая вёдра к деревянном желобам.

Моими последними напарницами по Эльгену были Казанцева, Тоня (не помню фамилии) и Элико. Работали все трое хорошо, но держали себя несколько отчуждённо, наверно боялись за мои жалкие угощенья оказаться в долгу и потому ели нехотя и корректно благодарили. Тоня была безличной и добросовестной, всё в ней было невыразительно, какое-то стандартное. Возможно, она была членом партии. Казанцева была зоотехником и очень любила животных. Кто-то говорил, что, освободившись, она

пошла работать телятницей и ночью, идя на дежурство, наступила на оголённый провод под током, валявшийся на земле. Смерть была мгновенной.

А вот Элико была весёлой, приветливой и чрезвычайно общительной грузинкой моего возраста. Красотой её судьба не наградила, но лёгкий услужливый характер вызывал общую симпатию. Вряд ли она была умна, тем более – образованна, говорила с сильным грузинским акцентом, всегда вспоминала что-либо о своём красивом крае, но не помню, чтобы горевала о семье. Наверно, не успела выйти замуж или не удалось. Её лёгкий и услужливый характер был причиной тому, что, попав в первые годы (как и я) уборщицей в больницу вольных, она скоро оказалась в личной обслуге главного врача Елены Тимофеевны. Вскоре Элико стала доверенной всех прихотей и капризов этой властной стареющей женщины, свидетельницей любовной связи с одним из наших заключённых – тенором из кружка самодеятельности. Тенор этот был не первой молодости, уже слегка обрюзг и имел залысину, но пел сладким голосом романсы. На нём была печать провинциальной спеси, держал себя независимо и умел сделать приятный комплимент. Назначили его заведующим производством больницы, получил каморку среди служебных помещений и стал, под бдительным оком Элико, принцем-консортом «самой» заведующей. Пригласил этот тенор на работу в больницу в качестве санитарки нашу Гету Иммерман, тогда ещё очень привлекательную и весёлую женщину, ничего не умеющую толком делать, так как была женой обеспеченного литературного работника и имела прислугу.

Не знаю, писала ли я об этом, но отказалась я Ольге Тихоновне (врачу, которая травилась при прибытии на Колыму) выдать вытираться после ванны прокипячённой пелёнкой для новорождённых – это был страшный дефицит, и, если мать не приносила белья, я всё время кипятила эти несчастные десять-пятнадцать пелёнок. Очень скоро после этого случая меня перевели на другие работы и взяли Гету. Гета очень скоро немного отъелась, отмылась, завела себе чистые косынки и на

мои вопросы – как она справляется с таким количеством работы? – уклончиво отвечала, что она раздаёт пищу и занимается бельём. Думаю, что не миновала Гета забот тенора, а впрочем, кто их там знает! Но, во всяком случае, вылетел из больницы и тенор, неожиданно появившись у нас на Волчке в качестве кого-то и так же быстро исчезнув. Попала на общие работы и Элико, и только долгое время спустя, очень скупо и сдержанно говорила о своей работе в больнице. Помнится, что после освобождения (выезд с Колымы не разрешали) она снова пошла к Елене Тимофеевне работать по хозяйству. Элико умела готовить.

На этот раз мне расставаться было, собственно, не с кем, и я без сожаления покинула Эльген.

На Мылгу мы приехали ранней весной, и я сразу окунулась в новое кустарное производство. На этот раз это было плетение корзин и матов. Для корзин мы заготавливали лозу, ползая в глубоком снегу по берегам протоки. Лозу приносили в отапливаемый барак, нашу мастерскую, и клали у печки. Скоро она становилась гибкой, как резина, её шкурили и плели корзины. Круглые из «жучка» и квадратные по каркасу. Работа требовала и ловкости, и скорости, так как норма была, если не ошибаюсь, две с половиной корзины в день, но сидели в тепле, и хоть вонь от лозы и захламлённость была основательной, каждый считал, что в лесу было бы много хуже. Люди были всё новые: приятные пожилые благообразные женщины, нахальные развязные молодые блатнячки и мы. Помимо корзин, плели ещё и маты для укрытия теплиц. Для этого брали жёсткое длинное сено, сперва крутили вручную на бобинах, а потом из этой пряжи плели маты по раме из натянутых верёвок. Рамы мы, конечно, тоже делали сами.

Всё-таки это был более женский труд, чем валка леса, и многие в этом ремесле не только выполняли норму, но и плели красивые корзины. Промучившись несколько дней, начала делать хорошие корзины и я, не могла же я со своим самолюбием работать хуже других! Да и к рукоделию у меня были способности.

Как ни странно, наш азарт и старанье совершенно не заражали блатнячек. Они слонялись по помещению, потихоньку рассказывали сальности, подлизывались или угрожали бригадиру, когда тот заставлял работать. Однажды мы не успели и ахнуть, как одна хорошенькая, очень молодая девушка, с криком «Не буду я работать!» – схватила топор и на наших глазах начисто отрубила себе палец. Брызнула кровь, и её увели бинтовать руку. Вот уж горбатого могила исправит!

Постоянная настороженность, всегдашний подспудный страх, что будет хуже и вызовут на дальний страшный этап; барачные ссоры; блатнячки с их наглостью и матом; просто страх, что украдут последнюю пару носков или сбережённые на тяжёлый случай несколько кусков сахара, – страх, страх и страх, наверно, сделал многих гипертониками, что, конечно, выяснилось позже. В лагере знали только высокую температуру, воспаление, понос и поломанные конечности. Всё остальное считалось нормой, а о нервах даже и не вспоминали.

Вот нервы-то и были у всех больные, и когда на работу посылали в одиночку, я воспринимала это как удачу.

На Мылге такой удачей была моя работа стекольщицей на крыше теплиц ранней весной. Конечно, надо было проявлять осторожность, вместо алмаза мне дали победит, плохо режущий стекло, и ржавые клещи. Целых полотен стекла не было, приходилось на самодельных жестяных крючках и уголках разводить целую инкрустацию стёкол и обрезков. Поверхность должна была получаться без щелей, иначе ветер их срывал с крыши, и более-менее герметичной, иначе ночью замерзала рассада.

До нашего приезда остеклением занималась Ирма Брандт – пожилая угловатая коротко стриженная латышка, молчаливая и угрюмая, делавшая чудеса своими узловатыми большими огрубелыми руками. В Латвии у неё остались сын и дочь, и она писала им короткие письма, что её очень хорошо кормят и одевают в лагере. На самом деле у неё было только то, в чем её арестовали, до неузнаваемости изношенное и залатанное, но она всегда что-то

порола и вязала за хлеб блатнячкам и делала прелестные корзиночки из ивовых прутьев.

Научила меня стеклить именно Ирма, и первое время на крышу нас посылали вдвоём, но, поскольку вес двух человек иногда грозил провалом, стали посылать меня одну. Лежать после сделанной порции работы на соломе узкой стёжки между двумя скатами крыш и смотреть на небо – было счастьем. Покой и тишина лечили, подбадривали.

Ирма Брандт не дожила до встречи с детьми, как ни крепилась. В дальнейшем умерла от дистрофии.

В нашем новом бараке стояли деревянные кровати без верхних нар, потому все были очень на виду друг у друга. Была у нас Ольга Кобылянская, молодая украинская деваха, чистюля и чрезвычайно работящая. Красоты не было, но статность и ловкость в работе делали её привлекательной. Соблазнил её приехавший с материка за «длинным рублем» инженер. Человек этот был донельзя жаден, примитивен и хамоват. Но Ольга всего этого не видела, влюбилась в него всей нетронутостью неопытного девичьего сердца и невероятно гордилась своим инженером. Дурочкой она была феноменальной. На какие-то крохи добыла у мужчин аляповатую рамку с расписными цветами и ангелами и всадила туда свою фотографию, чтобы «она у него на столе всегда стояла»; вышивала ему кисеты и салфеточки на стол и всерьёз собиралась за него замуж. «Он так любит и обещался ждать, когда я окончу срок», – сияя, сообщала она нам, не желая видеть наших скептических улыбок и не слушая наших мнений. Что-то она, наверно, с собой сделала однажды, так как не могла разогнуться, побелела и исходила потихоньку кровью. Но могучая украинская природа победила, и она снова повеселела и ждала, когда появится её инженер с подарками для нашей бригадирши Кульбас и для самой Ольги.

Сперва он шёл в гости к Кульбас, туда же иногда приходил и управляющий, там шла выпивка, сдобренная хорошей «вольной» закуской, а потом Кульбас посылала нужных за чем-нибудь в теплицу и там происходило всё

что надо. Мы старались не вникать в это и молча ненавидели инженера, который выходил из теплицы красный, самодовольный и отправлялся куда-нибудь спать. А Ольга считала его чуть ли не героем, обожала и серьезно собирала у нас и записывала неграмотными каракулями кулинарные рецепты, так как «жена инженера должна и принять гостей, и всем угодить». Не помню, при каких обстоятельствах Ольга к нему куда-то бегала на свиданье под выстрелами охраны, и потом я за неё писала длинное письмо с упрёками, что он её бросил и что она ему готова всё простить. Наверно, инженер нашёл кого-то поближе и получше, и Олино обрёванное и измазанное письмо осталось без ответа. Окончив срок, Ольга оказалась заманчивой партией, очень скоро вышла замуж за армянина и осталась на Колыме.

Нина Чунчул была романтической блатнячкой, спала рядом со мной и вела бесконечные разговоры «за жизнь и благородство». Мы одно время всем делились, но когда она всё-таки не выдержала и украла у меня единственную и последнюю, спрятанную в подушке пару носков из Серёжиной посылки, мы молча разошлись, ни о чём не говоря, и дружбе настал конец.

Шура Белоус была маленькая, белобрысенькая, аккуратненькая, со слегка косолапившими короткими ногами. Муж её – инженер с КВЖД – хорошо зарабатывал в Харбине, у них была комфортабельная квартира, прислуга, двое маленьких детей. На беду, муж рвался на родину, получил визу, направили его работать на Урал, где вскоре арестовали и увезли неизвестно куда сперва его, а потом и её. Перед арестом у них начала налаживаться новая семейная жизнь, они понимали трудности, но были всем довольны. На первом заводском детском празднике попросили Шуру позволить дочке изобразить Снегурочку. Это была маленькая, нарядно одетая девочка, вся в белокурых локонах и блёстках. Сфотографировали всех участников, а потом дети остались без особого присмотра на сцене, костюм девочки вспыхнул от свечей, и она буквально сгорела на сцене на глазах у матери, которая от ужаса не могла к ней вскарабкаться

на сцену. Девочка умерла от ожогов в больнице, а Шуру увезли в психиатрическую лечебницу.

Следующим этапом был арест мужа, потом её, а маленького сына взял кто-то из друзей. Шура, как иконку, возила всюду с собой фотокарточку с девочкой и мальчиком в бархатных костюмчиках, кружевных воротничках, белых туфельках и локонах. Карточку эту постоянно выкрадывали проститутки и уголовницы. Было модой показывать новым знакомым карточку оставшихся дома «брата и сестры», или своих родных «малюток», или «племянников». Шуре говорили, где и у кого её видели, и Шура бежала со слезами или своей пайкой хлеба, упрашивала отдать. Обычно приносила обратно. Показывала она письмо сына – уже школьника – о том, что он никогда не ходит больше на ёлку и что старается расти и быть сильным, чтобы скорее ехать отыскивать маму. К письму была приложена плохая фотография с таким жалким, худым, наголо остриженным мальчишкой, в таких явно не по росту широченных трусах, из которых торчали длинные, тощие, с острыми коленками ноги, что мы не могли видеть это изображение без слез.

Шура осталась после своей психиатрической клиники очень истеричной, болела базедовым пучеглазием; была на редкость порядочной и не ленивой. Мы с ней хоть и ссорились до хрипоты, но дружили, я, помнится, хранила у себя какие-то её заветные шерстяные кофты, которые потом пересылала в Магадан. После срока ей предложили идти домработницей к овдовевшему человеку, кажется, с тремя детьми. Шура мигом навела порядок, самоотверженно вела хозяйство, приручила детей, и кончилось тем, что вдовец чуть ли не на коленях умолял её стать его женой. Шура говорила, что она должна проверить, не жив ли её муж, и достать своего сына, а там будет видно. Говорят, этот вдовец был специалистом и хорошим человеком.

Были у нас ещё две сестры, немки, из которых одна очень мило пела. Журналистка Надя Федорович – начитанная, умница, с хорошей литературной речью –

бывало, на какой-нибудь работе подсаживалась ко мне: «Давайте, Ада, абстрагируемся!» И заводила разговоры о книгах, живописи, всегда имела своё мнение и вкус. Мужа у неё тоже арестовали, при аресте остался четырёхлетний малыш, увезённый после всего в какой-то детский дом. Надя его не могла найти. К сожалению, раз я её застала за тем, что она распускает большую вязаную шаль Шуры Белоус и мотает шерсть в клубок, и я поняла происхождение тех варежек, которые она меняла у уголовниц на хлеб и сахар. На том наше общение и кончилось.

О бригадирше нашей Кульбас тоже надо написать несколько строк. Латышка по происхождению, она была деятельна, практична, с большой организаторской жилкой и хорошо разбиралась в агрономии, кажется, не имея специального образования, но немалый опыт. К сожалению, была зла, лицемерна, двулична, с явными садистскими наклонностями. В бригаде всегда были любимицы, с которыми она шутила, была ласкова, хотя и требовательна, и даже заводила разговоры на личные темы. Но если ей кто-нибудь перечил или просто не нравился, она начинала плести сеть интриг, угнетала работой, всё забраковывала, подслушивала разговоры, неслышно подкрадываясь и доводила людей до сплошного отчаянья и ненависти.

Со мной вышло так. Раз, при приезде начальника, ей надо было приготовить ужин из овощей, ещё были селёдка, хлеб, растительное масло и консервы. Сама она должна была водить начальство по теплицам и производству, а затем привести домой к ужину. Водка у них была.

Домик её стоял отдельно от бараков и лишних глаз, был чистеньким и ухоженным. Сама она была чистоплотна, но, конечно, полы в домике скребли песком и мыли мы. Я была рада такому простому естественному женскому делу, сделала хороший винегрет, наварила вареников, всё убрала красиво и аппетитно. Кульбас была в восторге, и я тотчас попала в любимицы.

Наш старший агроном на Мылге Александр Владимирович в прежнее время был управляющим или просто

специалистом по сортам чая у известных миллионеров Высоцких. По делам фирмы он ещё до революции живал в Китае, Индии, хорошо знал Восток. За своих хозяев, эмигрировавших в Париж, Александр Владимирович расплатился репрессиями ещё до 1937 года, и не похоже было, что он успел осесть и обзавестись семьёй. Во всяком случае, этот высокий, поджарый суховатый старик никогда такого не упоминал. Его англизированная внешность, корректность и некоторая отчуждённость всем импонировали, все к нему хорошо относились, не допуская, однако, никаких фамильярностей. Бывало, где-нибудь в теплице, без свидетелей, спросишь его что-нибудь об Индии, и в небольших, глубоко сидящих глазах вспыхивал живой огонёк, он присаживался на ящик или прислонялся к стойке, начинал скручивать цигарку длинными пальцами красивых рук. – «Приходилось мне наталкиваться на явления, совершенно неизвестные обычным путешественникам»... И шло сообщение хорошим литературным слогом, сдержанное и скуповатое по форме, видно, не раз виденное внутренним оком его одинокого лагерного существования... Немножко посидит, потом замолчит, потушит цигарку и снова – замкнутый и отчуждённый – пойдёт прочь...

Одна стареющая фривольная кокетка, работавшая во всяких ярких, завязанных по-блатняцки косынках, игриво спросила, прикрывая накрашенной губой отсутствие зубов: «Представьте, что меня, вот такую, как я перед вами, заносит судьба в Берлин. Что бы фашисты подумали?» И спокойный моментальный ответ: «Что Советы спустили к ним очередную гадость на парашюте!» Сцена была до того комичной, что мы долго смеялись. Погиб Александр Владимирович очень скоро после моего отъезда с командировки (я пошла уже вольной работать у секретарши суда). Я уже упоминала об этом: при закладке силоса трактор, приводивший в движение режущий аппарат, заглох, тракторист болтом старался его завести, болт неожиданно сорвался и ударил в висок наклонившегося Александра Владимировича. Смерть была мгновенной.

Пока я была в любимицах у Кульбас, она согласилась с моим планом разбить у теплиц цветник, а в самих теплицах у дымоходов повесить корзинки с землёй, посеять в них настурции так, чтобы они в двух-трёх местах с потолочных стекольных рам красивыми каскадами спускались на стеллажи. Конечно, стоило завести одной, как все начали соревноваться, и по утрам я просто рвалась скорее увидеть эту красоту и скорее открыть верхние люки и впустить радостно чирикающих птичек. За клумбами у входа я следила, сокращая свой отдых и сон. Семян мне достали, газона было сколько угодно, песку я натаскала вёдрами с протоки, и цвели мои клумбы затейливыми вензелями и узорами. Кульбас хвасталась нашими стараниями перед начальством. Те благосклонно кивали головами и даже дали распоряжение вольному фотографу заснять самые удачные уголки. Говорят, была страничка какого-то северного журнала, где под рубрикой «Наши передовые хозяйства» упоминался управляющий Офицеров, «под чьим руководством» всё было сделано, засняты клумбы перед входом и уголок моей теплицы. Всё это организовано, как явствовало из описания, руками приехавших комсомольцев, о нас не было ни полслова.

Потом с одной женщиной, приехавшей по путёвке комсомола и назначенной секретарём суда, я познакомилась, почти две зимы вела её хозяйство и жила у неё в доме. Об этом напишу далее.

Так в тяжёлой работе незаметно прошли лето и осень. Летом дали большой обеденный перерыв за счёт удлинённого рабочего дня, так как поливать и рыхлить посадки полезнее рано утром и поздно вечером, до наступления темноты. Среди дня было жарко, и всё сохло.

К тому времени и у нас почти не было женщин, не страдавших цингой. Мы уходили за поля, в редколесье, где густели заросли голубики и княженики – ягоды здесь неизвестной. Ягода эта с трудом отдиралась от пестика, по виду растения напоминали нашу клубнику, по форме плода – малину, была ярко-красной, сочной и сладкой.

Там мы в ветреные дни, когда было меньше комаров, снимали всё с ног и на солнце грели и сушили цинготные язвы (у меня на левой ноге их было девять штук!). Тогда же и до оскомины наедались голубикой. Даже смастерили из дощечек и гвоздей род гребней, которыми снимали ягоды с кустов. Правда, в этом скоростном методе вместе с ягодами срывались ветки и листья, но и тут был найден выход. На шершавую, необструганную доску высыпали всё собранное, потом доску слегка приподымали, спелые круглые скользкие ягоды сбегали вниз, а листья и сор застревали на доске. За лето таким способом язвы рубцевались, и оставались только бурые пятна.

Из запечатлевшихся событий тех дней было два. Во–первых, к нам среди лета привезли молодую заключённую, которую сразу же поселили в маленькой, стоявшей поодаль избушке, давали ей хлеб и еду в маленькое вырубленное отверстие в стене, а дверь заложили тяжёлым засовом и повесили громадный замок. Избушка эта, очевидно служившая карцером (никто из нас в неё не попадал), стояла наискосок от домика охраны и была видна из всех окон. На работу девицу не выводили, но подходить к окну и с ней разговаривать запрещалось. Конечно, кто-то из нас всё разузнал от неё же, и выяснилось, что её (блатнячку, конечно!) привезли из ближайшего прииска, где уголовники проиграли её в карты, кто-то донёс охране, и её ночью инкогнито привезли к нам. Было это вызвано отнюдь не гуманными соображениями, а страхом конвоиров и администрации. За жизнь заключённой несли ответственность, за смерть (принудительную) понижали в должности и могли послать на фронт. Должна добавить, что ответственность была за бытовиков и уголовников. С 58-ми, то есть политическими «контрами», всё обстояло иначе. Дело не предавалось гласности, а погибшего списывали по акту как «подстреленного во время попытки к бегству».

Правда, у нас, женщин, таких случаев не помню, но говорят, они были там, где работали мужчины. На приисках условия были бесчеловечные, и люди гибли и часто кончали с собой. Так, мы слышали, что если

заключённых привозили из одиночек, тюрьмы с большими сроками и строгой изоляцией, они имели номера на спине и в деле, фамилии нигде не упоминались. Работали при любом морозе, приводили из бараков и уводили под строгим конвоем и строгим порядком: «Шаг в сторону – стреляю!» В бараке сразу запирали, еду подавали в окошко, нары были голые, и спали не раздеваясь. Через какой-то срок работы без замечаний выдавался тюфяк, одеяло, грубая подушка. Ещё через долгое время, как поощрение – постельное бельё, ну, до этого, наверно, редко доходило...

Тюремное заключение имели обыкновенно члены партии и изредка – убийцы. А политические деятели всех толков, действительные или вымышленные, были зачастую людьми интеллигентного склада, не имевшими ни сил, ни рабочих навыков, и потому смертность была высока. Хоронили в общих могилах, с железной биркой с номером на ноге.

Вторым запомнившимся событием (ведь прошло-то с тех пор двадцать восемь лет!) было моё ночное дежурство в теплице, где надо было всю ночь, уже в августе, поддерживать огонь в двенадцати печах, так как ночи уже были морозные и урожай мог погибнуть. С вечера я колола и подтаскивала к топкам громадные кучи дров и приноровилась их закладывать. Если я закладывала бегом двенадцать печей и усаживалась у первой с книгой, то могла около двух часов читать, имея первую, контрольную, у себя перед глазами. Конечно, света не было, и я читала, лёжа на куске рогожи или на доске, прямо под топкой. Заснуть было нельзя – загаснут печи, разжечь можно только за тридцать-сорок минут, а к тому времени всё замёрзнет. Истопник получает новый срок, уже по бытовой статье.

Итак, заложив очередную порцию дров, я выскочила на улицу, вернее, наружу, чтобы продышаться. Была ясная морозная ночь, конечно, тишина. Звёзды свисали с бархатного чёрного неба прямо над головой. Впереди большое поле уже созревшей капусты, и вдруг – чу! – тёмные фигуры в отдалении, какой-то шум, хруст срываемой

капусты. Воры! А капуста – единственное, что спасало зимой людей от цинги! Всматриваюсь, но силуэты фигур (их было три-четыре) расплывчаты и неясны. Я в ужасе бегу к охране и дубасю кулаками в дверь. Конечно, все спят. Наконец слышу сонные голоса и объясняю в чём дело, советую взять для острастки винтовки (это я-то, враг народа, – доблестному сыну пролетариата!). Двое выходят, наспех застёгиваясь. Разбиваемся на три партии и с трёх сторон начинаем брать в окружение. Оказалось – несколько коров охраны, которые ушли из плохо запертого сарая и лакомились капустой…

Когда зимой меня перевели на работу на конбазу, я не знала – радоваться мне или огорчаться! Сперва у меня были два бычка – Беленький и Чёрт. Запрягать бычков очень просто, можно даже не снимать рукавиц, что очень важно; но справляться с ними! Пока я возила из лесу дрова, дело шло довольно просто. Можно было привязать бычка к дереву около штабеля, пока накладываешь воз. У Беленького были глупые добрые глаза навыкате, и он был послушным, но Чёрт! Сперва он не хотел идти в лес, надо было привязывать к задку саней Беленького, а потом, прибыв в лес, он ждал малейшей моей оплошности, чтобы трусцой двинуться обратно, а пока я гналась за ним, уходил Беленький. Ездок было две-три до обеда и две после, то есть до сумерек. Конечно, я отдыхала, пока ехала порожней в лес, но наваливать дрова или долготьё надо было до предела, иначе бригадир мог не засчитать воза за норму.

Были ездки в ближний лес, но бывали и дальние, когда приходилось гнать бычков в обе стороны, чтобы не остаться в темноте в лесу. Иногда на Чёрта находило звериное упрямство, он становился с нагруженными санями поперёк дороги – хорошо ещё, если не вываливал все дрова, – растопыривал ноги, опускал голову и зло косился на меня. На этот случай у меня была соль в кармане, и я, насыпав её на ладонь, кое-как его выворачивала. Но мокрая рука сейчас же замерзала, болела, да и не всегда это удавалось. Я и била его палкой по спине, и кулаками по морде – мотал головой и… ничего! Потом

посмотрит с удивлением на мои слёзы и вдруг безропотно потрусит домой. Вот такой характер! Наверно, и дали его мне потому, что все отказывались (бытовики, конечно!) на нём работать. Но с сеном было труднее. Правда, быки стояли, потому что я им под нос клала по охапке выдернутого из стога сена, но навивать воз и закладывать сверху надо было двоим. Один подаёт вилами, другой укладывает. На конбазе в основном работали бытовики и подбирали себе в напарницы девах, которым и навивали возы, и увязывали так, что девкам приходилось только расплачиваться натурой, к обоюдному удовольствию.

В одну из первых же ездок кто-то из мужчин мне сразу предложил помощь. «Не дури, всё равно одной не справиться, а там поцелуешь и вся недолга!» Остальные, громко хохоча, ждали ответа. Дать ему по морде было нельзя – затравят, да и за что? Он же другой жизни и не знает! Я просто отговаривалась, что знаю место, где сено получше, и под общий хохот – «всё равно вернёшься, а тогда не приму!» – уезжала подальше. Находила стог у края леса, где стояли деревья, сама навивала, стоя внизу, пока хватали руки, потом, цепляясь за дерево, лезла на воз и утрамбовывала и уравнивала наверху. Потом использовала верхушку дерева как рычаг, петлю верёвки закидывала на верхушку дерева и его отпускала. Дерево, выпрямляясь, тащило за собой петлю и затягивало верёвку – тут надо было только уловить момент и пропустить верёвку под копылья саней – и дело в шляпе...

Мужчины подсмеивались и ждали, когда я сдамся и приду за помощью, но я не пришла, а кругом было столько лёгкой дешёвой победы, что они махнули на меня рукой (чёртова интеллигентка!) и оставили в покое.

Однажды было несчастье: бычок дёрнул уже развязанный воз у самого сарая и всё опрокинул. Мне пришлось уже ночью, в темноте, всё затаскивать. Конечно, никто не помог, женщины из бригады уже были в бараке и ничего не знали, а мужчины даром не помогали, а расплата была одна...

Очень на меня орали и ругали и, очевидно после этого случая, дали хорошую смирную конягу, бочку и послали

возить воду с реки. Вот тут я намучилась с упряжкой, хотя очень быстро усвоила весь процесс. Конечно, сперва иногда переспрашивала старика-инвалида, конюха конбазы, но не это было самое трудное. Горе было в том, что засупонивать лошадь, продёргивать ремни через небольшую скобку чересседельника в наших грубых брезентовых, негнущихся рукавицах было невозможно. Делалось всё голыми руками, и я уже выезжала с совершенно окоченевшими от холода пальцами. Там, на речке, надо было сперва ломом пробивать за ночь промёрзшую прорубь, её расширять, чтобы пролез черпак (ведро на шесте), а затем, стоя одной ногой на оглобле саней, а другой – на горке льда у проруби, начерпать сорок вёдер воды, как можно меньше пролив. Всё моментально превращалось в корку льда, на оглобле уже было невозможно стоять, а отверстие бочки так затягивалось, что снова приходилось откалывать лёд ломом. Короче говоря, надо было работать очень аккуратно, иначе работа удваивалась.

А местечко было прелестным! Дорога от нашего жилья сперва шла по открытому месту, потом сворачивала в редколесье, переходившее в заросли высокого тальника. Там, где речка огибала кусты, был небольшой деревянный бревенчатый мостик с лёгкими перильцами, по которому можно было проехать только на лошади или бычке. Под мостом был небольшой бочажок с нависшими над ним деревьями, где и брали воду. Это было единственное место, где вода не замерзала, так как на мелководье речка промерзала до дна.

И вот начала я чувствовать в бараке какое-то странное ко мне отношение. Стали расспрашивать о моей семье, сколько лет маме, пишет ли письма и наконец признались, что уже дня два получена на моё имя телеграмма о смерти мамы. Телеграмму получили в моё отсутствие и решили сразу не давать и как-то меня подготовить. Мама мне всё время писала на Колыму и была моим единственным корреспондентом. Не больно с нами переписывались в то время! Я совершенно ничего не знала о Серёже, и она была единственной ниточкой, связывавшей меня с прежней жизнью. Я мысли не допускала,

что больше её не увижу! Папа был мне всегда далёк, Нина боялась писать, да и не были мы никогда близки. Оставалась только мама! Я просто окаменела. Не могла ничего говорить, не плакала, только, кажется, повторяла – не может быть! Этого не может быть! А женщины сочувствовали и молчали. Чем они, бедные, могли помочь, когда почти все тоже имели неутешное горе!

На следующий день я, как обычно, поехала по воду. И вот тут, ранним утром, когда еле проступал контур леса, а небо, хоть и посеревшее, но было всё усыпано звёздами, я до конца поняла свою утрату и дала волю слезам. Ревела в голос, не стесняясь, что меня могут услышать, говорила маме всё то, что не успела ей сказать, когда она была рядом, говорила о своей любви и о том, что она – единственная в моей теперешней жизни, умеющая и могущая понять меня! Уткнулась лицом в лошадь и очнулась только тогда, когда лошадь начала слизывать с лица мои солёные слёзы. Сунула голые, окоченевшие руки под хомут, и живое тепло лошади медленно вернуло меня к действительности. Больше никогда не плакала. Всё вырвалось у меня из сердца в словах и в слезах в то утро. Черпала, ехала, привозила, сливала воду, снова ехала, снова черпала, снова возвращалась и снова сливала. Счастье, что работа была тяжёлой, требовала сноровки, и думать уже не оставалось времени.

В это же примерно время ехала я своим последним рейсом на реку в моё обычное место. Уже быстро темнело, а когда мне показалось, что у обочины дороги кто-то сидит на пне, я решила, что это, наверно, просто обман зрения, подъехала. Действительно, на пне сидела скрючившись мужская фигура и что-то неясно бормотала. Одет незнакомец был жидковато: телогрейка, конечно ватные, но сильно проношенные брюки и какие-то не то бурки, не то валенки. Начала его трясти и спрашивать – кто он и почему здесь сидит? Но он продолжал бормотать и начал как-то нелепо валиться на бок. Я очень испугалась. Отодвинула пустую бочку для воды поближе к передку саней, махнула рукой на воду – «Будь что будет, надо будет – ночью съезжу!» – и перевалила окончательно

упавшего человека с обочины на сани. Сама села на бочку и стала что есть силы погонять конягу. Сани были лёгкие, поехали мы к дому, и лошадь, словно понимая, припустилась изо всех сил. Человек, лёжа на санях, делал какие-то слабые движения и всё бормотал и бормотал. Привезла я его прямо к бане и кому-то крикнула, чтобы мне помогли. Баня не была топлена, но был ещё жилой дух, так как недавно мылись. Положили человека на пол, стали тормошить, растирать. Но было уже поздно, ничего не могли сделать, а прибежавшая медсестра сказала, что он мёртв. Кто-то приставил зеркальце к губам – чистое! Вытащили из грудного кармана документы. Такой-то. Сорок с чем-то лет, окончил срок тогда-то. Видно, пошёл в Эльген за справкой для получения паспорта. Не дошёл. Умер. Послали семье письмо.

Второе личное горе произошло с Гетой Иммерман. Она часто нам рассказывала и очень гордилась своей маленькой дочкой, умненькой, хорошенькой школьницей и чрезвычайно привязанной к матери. Перед самой блокадой Ленинграда девочку вместе со школой эвакуировали куда-то на Юг (в Ростов, кажется), поехала за девочкой и её бабушка – мать Геты. До этого года доходили редкие письма, где девочка писала, что перед тем как лечь спать, она всегда любуется таким «красивым, добрым лицом её мамы» с фотографии, приколотой у изголовья. Потом все вести прекратились. Гета мучилась неизвестностью, но мало об этом говорила, так как говорить об этом, особенно ленинградцам, не было принято – у всех была одна и та же тревога и страх.

Но вот – жалкая, немногочисленная почта. Всего несколько писем, и среди них открытка из Ростова на имя Геты от совсем чужих незнакомых людей. Они жили рядом с Гетиной семьёй, и почти на их глазах фашисты убили и замучили сперва бабушку, а потом девочку. Они слышали отчаянный вопль девочки: «Мама, мама, где ты, спаси меня!»

Прочли сперва мы эту страшную открытку. Скрыли её от Геты и начали совещаться, как быть, как умерить этот смертельный удар для матери. Как всё произошло –

не помню. Нас разъединили, и встретились я с Гетой уже много позже, когда она об этом знала.

Голод тем временем становился уже всерьёз. Конечно, сравнить его с тем, что в это время люди переживали в блокаду в Ленинграде, нельзя было, мы это знали и никогда не жаловались. Но тем не менее всегда хотелось есть, особенно было трудно уснуть, и просыпались от ужасного кошмара: пришли в дом к сытному обеду, но не успели сесть, как дом качался и разваливался, или в окно поезда вам подавали большую белую булку, но поезд трогался и вы не успевали её схватить. Просыпались каждый раз от отчаянья, что всё было так возможно, почти осязаемо, и не свершилось...

Хлеб нам стали выдавать неожиданно ослепительно-белый, кукурузный американский. Север тогда был на американских продуктах. У вольных в магазинах стояли американские консервы, главным образом, мясные, со странной этикеткой МОР, что вызывало у нас, конечно, полугрустные реплики. Так вот этот белый хлеб не насыщал, был лёгким, очень белым, но казался синтетикой, настолько проходил незаметно. Мы радовались, когда нам выдавали наши 350–450 граммов обычным, черным, пусть кисловатым хлебом. Было сытнее.

Махорку перестали выдавать, и мужчины, жившие неподалёку и работавшие, кажется, на прочистке дорог или ещё где-то, появлялись у нас на задворках и меняли свой хлеб на махорку. Хлеба они получали немного больше нашего. У меня было две заветных пачки махорки, и настал день, когда я решила сменять одну из них на хлеб. Иногда на хлеб меняли у проституток тюбики губной помады – острый дефицит на Севере. На мою просьбу прислать мне две-три самых дешёвых тюбика моя сестра, не давшая себе труда подумать – что может скрываться за такой просьбой, нравоучительно ответила, что сейчас не время заниматься кокетством и я могу обойтись без помады. Ничего наши родные тогда не понимали, да и самим было трудно.

Итак, я решила взять одну пачку махорки и в обед пройти в мужской барак, отстоявший от наших на два-три

километра. Я случайно перекинулась двумя-тремя словами с десятником этой мужской бригады, оказавшимся начитанном, культурном человеком, ленинградцем. Он удивил меня тем, что в свои сорок лет попал не на прииск, а вот в такую бригаду, где большинство было слабых и инвалидов – хромых, с покалеченной рукой и т. д. Я постеснялась ему сказать про махорку, и он мне показал рукой в направлении, где находился барак, в котором он жил. Полушутя он сказал, что это не женский барак, конечно, и кисейных занавесок у них не имеется. Замечание это я пропустила мимо ушей, не сочла серьёзным.

Так вот, взяла я в карман пачку махорки и отправилась в обеденный перерыв в мужской барак. Свои триста пятьдесят граммов хлеба мы теперь почти все съедали в первую половину дня, а во вторую мучились от желания есть и с трудом, как я уже писала, засыпали ночью. Когда я открыла дверь и на минуту застыла от представившейся картины, на меня сразу закричали с нескольких сторон и сверху, чтобы я её скорей закрыла. Когда улетучился пар от ворвавшегося воздуха и можно было оглядеться, я увидела длинное полутёмное помещение с двойными, а может быть и тройными нарами. Холода не было, но нестерпимо смрадно. Не было ни одеял, ни подушек, а если всё это и было, то настолько грязное, затёртое и потерявшее какой-либо облик постели, что осталось одно впечатление серой массы. На этом слое лежали, полусидели, корчились одетые в плохие телогрейки и во что-то непонятное обутые мужские фигуры. Ко мне повернулись десятки лиц, все немытые, заросшие, нездорово бледные, многие беззубые, с отёкшими и гноящимися глазами. Молча глядели, потом, оправившись от неожиданности, хором начали спрашивать – что мне нужно. Я обругала себя последней дурой, что полезла в такое место, ведь могли наверно сделать всё что угодно, только вот не хватало сил! Я сделала шаг назад и захлопнула дверь. Тут выскочил тот человек, который накануне умолял меня принести махорку, хоть сколько-нибудь, и уверял, что у него есть сухари и что поэтому он может сменять свою пайку хлеба.

– Не надо, не надо! – крикнула я ему, потрясённая только что виденным зрелищем, и с одним желанием – унести скорей ноги.

Махорку я держала в кулаке, надеясь быстро совершить обмен и не задержаться в бараке, куда ход нам был строго запрещён. Так и пошла, не оглядываясь, зажимая завёрнутую в газетку махорку. Внезапно мужчина меня догнал, сунул хлеб и вырвал из рук махорку, потом, пытаясь засунуть махорку в карман, бросился догонять меня и вырвал хлеб. Был он не старше меня, выглядел алчным и жадным, и, неожиданно для себя, я почувствовала необычайный прилив злобы за такое вероломство. Погналась за ним, задыхаясь от слабости, но и он бежал спотыкаясь. Настигла, дала ему кулаком по голове, вряд ли удар был сколько-нибудь ощутим, и вырвала хлеб.

Мне сейчас неприятно вспомнить всю эту борьбу, но мы раскрошили этот хлеб, выдирая его друг у друга. Рассыпалась махорка.

Разошлись проклиная, и я кричала вдогонку:

– Подонок, слюнтяй, пусть всё никому не достанется!

Вернулась в барак, никому ничего не сказав, но избегала десятника и боялась ходить в сторону мужчин после этого.

Из пятидесяти-шестидесяти человек, которые жили и работали на Мылге, бóльшая часть была политические, хорошо работавшие и не вызывавшие никаких хлопот в быту. Блатнячек было около двадцати, молодых и здоровых женщин. Конвоиры на Мылге до того заленились, что только делали поверку на ночь, давали отбой и подъём, а остальное время сидели в караулке, спали или до одури дулись в козла, а чаще в карты. Мы все работали при теплице и мастерской, где блатнячки только всё портили, и потому было распоряжение создать из них лесную бригаду и водить на распиловку леса. Лесные участки были не далее трёх-пяти километров, деревья были уже во многих местах вырублены и сложены в штабеля, оставалось только повалить и разделать

оставшиеся, затем вывезти все дрова, а в дальнейшем выкорчевать пни и пустить землю под посадки.

Пускать в лес одних, без конвоя или по крайней мере бригадира не дозволялось инструкцией, и потому конвоиры, прикинув в уме возможный выход, присмотрелись к более дисциплинированным женщинам постарше и решили назначить из среды политических бригадиршу. Она будет выводить на работу и приводить домой эту компанию, состоявшую, главном образом, из молодых проституток. Среди них одна, постарше, женщина лет тридцати пяти – Мария – почему-то пошла «на исправление», начала работать и интересоваться нормами. Была она неприветливой, мало следившей за своей внешностью женщиной, довольно высокой и сухопарой. Говорила сиплым, надорванным голосом, не переставая курила махорку, но работать при желании умела.

И вот выбор охраны пал на меня. Отказаться, естественно, нечего было и думать, и я, как обречённая, пошла с ними в лес.

– Смотри, бригадир, всех до единой приведи обратно, за каждую не явившуюся будешь отвечать карцером!

Я мотнула головой, подтянула бушлат, выстроила по четыре в ряд своих подмазанных и хихикающих красавиц и решительными шагами пошла по дороге. До места мы все дошли благополучно, а там я им выделила делянки, показала, какие деревья подлежат валке, и сказала о норме. Выбрала себе центральное место на этой большой, сильно поредевшей поляне, где группы деревьев были несколько вдали, убедилась, что мне видны с этого места все работяги, нашла хороший низкий пень и начала перед ним разводить костёр.

Мария заявила, что пилить вдвоём ей не выгодно – «девки плохо пилят», и я ей отвела недалеко от себя кучку трёх-четырёх больших деревьев, которых было вполне достаточно для нормы и было удобно валить одной. Когда я с ней договорилась и вернулась к своему пню, меня удивила окружавшая нас тишина, пилка раздавалась только в одном-двух местах. Зато были слышны смех, мужские голоса; через лес, подскакивая на пнях

и кочках, напрямик к нашей поляне шли два грузовика. Девки куда-то поисчезали, а с ближайшего грузовика слез водитель и, играя плечами, лёгкой походочкой подошёл ко мне:

– Мамаша, моё вам с кисточкой, поотдыхайте у костра, пока мы делом займёмся, всё будет в порядочке, на большой палец! – и для убедительности присыпал щепотью правой руки этот большой палец.

Быстро ушёл и он, и осталась одна Мария, пилившая за моей спиной.

Что можно было делать при уже свершившемся факте? Села, ошеломлённая происшедшим, на пень, подбросила чурок в свой небольшой костёрчик, поставила баночку со снегом вскипятить чай и погрузилась в свои думы.

Хотя по-настоящему холодно не было – дело уже шло к весне, – но заниматься любовью в кустах на снегу долго нельзя было, и стали мои девки со смехом появляться то здесь то там со своими кавалерами. Последние, быстро смахнув снег, перетаскали старые штабеля от ещё прошлогодней пилки, их заново уложили, некоторые натаскали долготья валежника, что разрешалось, а один просто вывалил из кузова грузовика долготьё, которое подобрал на дороге. Каким-то непонятным образом все они знали, что нынче девахи эти будут в лесу, а прииск от Мылги был недалеко, километров десять-двенадцать, не больше. Навезли они с собой консервов и хлеба и, соорудив эдакую декорацию проделанной работы, уселись парочками поесть и выпить со своими подругами, кто где сумел, так, чтобы мне их не было видно. Как только начало темнеть, кавалеры завели машины, а «девицы», к моему крайнему изумлению, появились все до одной, и некоторые угостили хлебом.

– Ванька мой велел консервы тебе дать, может, возьмёшь? – сказала одна, явно надеясь на мой отказ.

Пришлось отказаться, девок этих я совсем не знала, а становиться «купленным бригадиром» было опасно.

Привела всех домой почти вовремя, в бараке меня осаждали «наши» вопросами, а конвоир небрежно крикнул, вечером зайдя в барак:

– Теперь так и будешь водить – завтра снова в лес!

На следующий день я шагала уже более уверенно, всё произошло почти так же, но мне предстояло дать сведения о проделанной работе и отметить штабеля в лесу в своих сведениях. Мария доканчивала ту группу деревьев, отведённую накануне, а я села на тот же пень, у которого было удобно разводить огонь. Все разбежались, и я уже понимала, что до сумерек, то есть времени возвращаться, нечего искать своих девок.

– Слушай, бригадир, замерь мой штабель, и я домой пойду! – вдруг появилась за моей спиной Мария.

Возвратиться из леса, сделав норму, нам разрешалось, но норма была большая, и сделать её было очень трудно. Я подошла, на глаз увидела, что нормы нет, но на 60–70 процентов работа сделана. Перемерила, перемножила и спокойно сказала:

– Ещё допилишь одно дерево – будет норма, а сейчас нет.

Лицо Марии злобно перекосилось:

– А ты напиши, бригадир, что норма есть, мерить ты, видать, не умеешь!

– Умею, – говорю я спокойно, – ты сама знаешь, что мало, пили ещё.

Отошла и села на пень.

– А это ты видишь?.. – неожиданно услышала за собой и, обернувшись, увидела быстро выдвинутую из рукава мужскую опасную бритву.

«Только не показать, что я испугалась», – мелькнуло у меня в голове.

– Отвечать будешь! – бросила я ей через плечо и села на пень крутить козью ножку из махорки. Я тогда от голода покуривала.

До того мне стало всё тошно и противно, что страха, действительно, не было – чем так жить, можно и не жить – безразлично. Сидела долго не поворачиваясь, не повернулась и тогда, когда за спиной снова неохотно, а потом всё быстрее заходила пила. Норму Мария выполнила, и я её засчитала. Казалось, такая чушь – в море дважды, трижды заприходованных штабелей засчитать

один неполный! Но жить нам, возможно, пришлось бы дальше вместе, а став однажды игрушкой в руках блатарей – обратного хода уже не было.

Но, к счастью, как внезапно меня на эту работу назначили, так же внезапно сняли и поставили снова на работу возчиком, и больше я со своими девахами не сталкивалась.

Возчиком я снова попала к своим бычкам – Беленькому и Чёрту – и на этот раз меня направили с двумя-тремя мужчинами и одной блатнячкой на конях на ближайший прииск за навозом для полей. Блатнячка была неудалая – голодная, болезненная, средних лет женщина. Услыхав, что мы едем «к мужчинам», она сделала какие-то жалкие потуги кокетства, подкрасилась, узлом по-блатняцки завязала платок на темени. Была она всегда голодной, и когда мы запрягались, возчики ей, хохоча, подмигивали и говорили, что на прииске уж обязательно досыта накормят.

Ехали мы цугом, дорога была узкая, плохо наезженная, и я со своими бычками замыкала шествие. Возчики на конях быстро уехали вперёд, и когда подъехала я к первому служебному строению прииска, то наши кони были уже выпряжены из саней и мерно похрустывали сеном. Недалеко была большая куча навоза. Из дверей барака доносился говор, смех, я узнала голоса своих и открыла дверь.

В бараке было жарко, посреди помещения стоял большой стол, вокруг которого разместились наши возчики, девица и сидели трое-четверо мужчин – хозяев. На столе была громадная сковорода жареной селёдки, а вокруг валялись куски хлеба. Посторонились, посадили за стол и меня, дали вилку, кусок хлеба и предложили есть с ними со сковороды. Кругом шутили по поводу нашей девицы и наперерыв её угощали.

– Ну, а одна такую булку хлеба съешь?

– Съем, – говорила девица.

Но мужчинам, успевшим вдобавок к рыбе ещё приложиться к спирту, шутка понравилась.

– Ну, а такую сковороду селёдки одна съешь?

– Съем! – говорила девица.

Мне от всего этого смеха и шуток стало не по себе. Уже не хотелось больше есть, и, съевши одну рыбёшку с куском хлеба, решила больше не пользоваться хлебосольством этих пьяных. Девица была какая-то жадно жалкая.

– Ты поосторожнее! – шепнула я ей.

– Ну, ты, мамаш, не встревай, не лезь не в своё дело! – кто-то окрикнул меня, и я вышла во двор.

Там я наложила свои возы и, зная темпы своих бычков, поехала одна домой. Возчики на лошадях догнали меня уже на полдороги, были все сыты, полупьяны и, обогнав меня, поехали вперёд, девицу они оставили позади. Когда она подъехала ко мне, я обратила внимание, как она осунулась и скрючилась на возу.

– Ты что?

– Да, вот, живот схватило, резь такая, разогнуться не могу!

Так и поехали дальше. Но девице становилось хуже и хуже.

– Да ты что сделала?

– Так мужики, сволочи, так и скормили мне всю буханку хлеба и всю сковороду рыбы! Сперва вроде ничего, а сейчас схватило!

Пришлось мне перевалить её навоз, сколько могла, к себе, часть вывалить. Постелила ей рогожу, она легла на неё, уже больше не говорила, только хваталась за живот и стонала. Привязала поводья её лошади к задку своих саней и погнала своих бычков домой. Когда мы, наконец, подъехали к конбазе, парни, успевшие всё рассказать, с хохотом встретили.

– Вот она, вот эта, ну и жрёт!..

Девица с саней уже слезть не могла. Я, наорав на парней, бросилась искать лекпома. Он без труда определил воспаление брюшины и сказал, что надо немедленно везти в больницу. Ни переложить её, ни что-либо сделать уже не было времени. Так, скрючившись на рогоже, на навозе, она и умерла по дороге в больницу.

Наши бараки на Мылге были построены ещё задолго до нашего прибытия. Ни ремонта, ни побелки вообще не производилось, потому клопов развелось такое множество, что они падали с потолка. Мы ставили около ножек топчанов плошки с водой, некоторые даже мазались вонючими составами. Ничего не помогало. Мы перестали вообще спать, ночью метались в полубреду и днём валились с ног на работе. Разрешили спать на улице. Вот было блаженство! Мы натаскали досок, чурбаков и устраивались спать под стенами барака... Дальше барака удаляться не разрешалось, но и тут мы немного отошли от клопиного кошмара. Спали одетые почти на голых досках – боялись брать клопиные тюфяки из барака, – но мороза по ночам уже почти не было, ещё не появились комары (следующее летнее бедствие!) – воздух был опьяняюще чист, и пахло уже подопревающей землёй, как яблоками.

Начали делать ремонт. Все наши вещи выбросили на улицу, оставляли дежурную караулить наше добро, вещи получше сдали в каптёрку. Барак проклеили изнутри по всем щелям и пазам, поставили какой-то вонючий аппарат, выделявший едкий пар, заперли все двери и окна и оставили нас ещё на один-два дня жить снаружи на досках. Потом, когда дверь открыли, мы выметали клопов вениками, как мусор, нам сделали свежие верхние нары, починили старые, и на какое-то время жить стало легче.

Весна эта была очень тяжёлой морально. Вызывали тех, которые закончили срок, в контору и зачитывали постановление, что всех будут отпускать после «особого распоряжения». Когда оно будет – никто не знал, а под постановлением заставляли расписываться, что содержание вам известно. Конечно, втайне все надеялись, что срок есть срок, а потом будет хоть какое-нибудь освобождение. Слухи о том, что с Колымы вообще не выпускают и заставляют тут же наниматься на работу, конечно, циркулировали, но всё это происходило где-то в Эльгене, Магадане и других крупных посёлках, а до нашей лесной глуши не доходило ничего конкретного.

Бытовиков отпускали, и все старались выбраться в Магадан. Был у нас милейший пожилой, больной

сапожник, попавший в лагерь по какому-то пустяковому делу. Жил он отдельно в небольшой каморке, завёл себе молодую жену, тоже из бывших бытовичек, и даже маленького сына. Мальчику, еле-еле начавшему ходить, он сшил настоящие мужские прехорошенькие сапожки, и ребёнок в них скользил и, смешно растопырив ноги, падал.

В конторе при его освобождении решили подшутить. Молодой делопроизводитель дал ему подписать нашу бумагу о том, что задерживается до особого распоряжения. Сапожник прочёл бумагу, побелел и сел, как подкошенный. Ему тотчас дали справку об его освобождении.

– Чего испугался – это же ошибка! – хохоча и подмигивая приятелю заявил конторщик, но сапожник съехал с табуретки на пол и потерял сознание.

Жена потом рассказывала, что его в тяжёлом инфаркте отвезли в больницу.

Бывали и такие шутки.

ТЕТРАДЬ ОДИННАДЦАТАЯ

Как-то раз вызвали меня в контору и предложили идти в домработницы к завхозу. Работала я снова на корзинах, норма была неразгибаемая, очень голодно, а тут семья всего из трёх человек, в чистом домике. Коровы, к счастью, не было, всего один поросёнок и куры. Контора выдавала хозяйке за меня сухой паек, столько-то конопляного масла, селёдок, овса или овсяной муки, иногда пшено и немного сахара. Вместо хлеба тоже давали муку.

Работать надо было с утра, как на производстве, а к вечеру приходить домой спать в бараке. Завхоз был довольно молодой человек, почти не бывавший дома, жена – привлекательная сдобная крашеная блондинка, алчная, скупая, ничем не интересующаяся, кроме добычи новых платьев, часто находящаяся на грани скандалов и сведения счетов или ревности к своему мужу. Их семилетний мальчуган был развитым хорошеньким ребёнком, уже совершенно испорченным воспитанием матери.

Встретила меня хозяйка довольно сухо. С пренебрежительной, брезгливой гримасой откинула на стол в кухне мой скромный паёк в застиранном мешочке, показала две светлые, чистые, мало обставленные комнаты и уселась на стул в кухне, чтобы ввести меня в курс её хозяйства. Нужна я была только для грязной черновой работы: мыть полы, посуду, убирать курятник и свиной хлевик. Готовила еду она сама, так как, во-первых, ей иначе просто нечего было делать – шить было нечего, её обшивали, а книг она не читала. К тому же продукты у неё были такие, какие нам и не снились, и ей неудобно было, а вернее, страшно, давать в руки голодному человеку сало, колбасу, картошку, белую муку, сахар. Все эти продукты были американскими, их привозили непосредственно из Канады, отстоящей сравнительно близко

от нас. К тому же в Европе была война, а эти северные самолётные рейсы были вполне безопасны.

Судя по первому впечатлению, я ей не понравилась. Была недостаточно стара и некрасива, к тому же явной интеллигенткой, говорящей на хорошем языке.

На работу я набросилась со рвением. Мыла, чистила, топила печки, доедала то, что они выбрасывали свинье и курам (были целые куски чистого хлеба, а курам, для носки, давали мороженую бруснику). Успевала что-нибудь рассказать мальчугану и была довольна вопреки обстановке. Так прошла неделя, другая. Хозяин был в отъезде, наверно, добывал что-нибудь съестное для начальства. В первый же день по его приезде хозяйка устроила ему ревнивый скандал, муж оправдывался, а потом, уже в кальсонах, перед сном, спасся ко мне на кухню под каким-то предлогом. Положение моё было очень щекотливое, и я инстинктивно почувствовала, что добром всё не кончится. Так оно и было. После выпивки и очевидно бурного объяснения хозяин снова уехал на следующее утро, а меня попросили убрать комнату и вымыть посуду после ночной попойки, в которой, по всей вероятности, участвовало мелкое начальство. Когда я всё убрала, вымыла, прибрала у кур и поросёнка – хозяйка всегда следила за курятником (большая клетка на кухне) сама, наверно, боялась, что я смогу выпить снесённое яйцо, – и села передохнуть, меня пригласили в комнаты. Там хозяйка сказала, что она мной довольна, если надо будет, подтвердит, что я была вполне честной и добросовестной, но она меня увольняет и просит больше не приходить.

– Но почему же? – выдавила я из себя сразу пересохшими губами.

– Видите ли, мы люди простые, муж даже любит дома в одних кальсонах ходить, а вы женщина образованная, и нам такая не ко двору.

Что было говорить? Я молча собрала пожитки – всё уложилось в головной платок – и пошагала в барак. Встретила меня администрация недоверчиво, как возможно провинившуюся, но хозяйка сдержала обещание,

дала мне хорошую характеристику, и я снова вернулась к плетению корзин.

Семью эту, помнится, скоро перевели в другое, лучшее место, и больше я их не встречала.

Когда во второй раз меня вызвали в контору, сказав, что пришла просить подсобницу секретарша районного суда, я уже пошла, не веря, что из этого получится толк. В проходной меня приветливо встретила молодая женщина лет тридцати, добротно, но скромно одетая, с лицом, встречающимся десятками или сотнями в любом большом коллективе. Была Анастасия Николаевна ни хороша, ни дурна, и всё имела какое-то стандартное, безличное. Как будто бы и овал лица правилен, и глаза приятные, и нос неплохой, и рот аккуратный, а вот ничто не задерживалось в памяти – не было ни женственности, ни обаяния.

По дороге Анастасия Николаевна приветливо меня обо всём расспрашивала и объясняла, что у неё небольшое хозяйство, свой плохонький домик, а главное – двое детей: шести месяцев и двух лет. Она не успевает справляться с мальчиками, а уж хозяйство вообще всё заброшено. Есть у неё муж, тоже приехавший, как и она, по комсомольской путёвке, работал он нарядчиком на одном из крайних северных приисков. Но когда родился Валерик, она умолила начальство перевести её южнее, где можно доставать молочные свежие продукты для ребёнка и где ей тоже найдётся работа. Так она и попала на Мылгу и была назначена секретарём суда, здесь у неё родился вскоре второй сын. Муж её снова получил работу по снабжению, но не отличался деловыми качествами, выпивал и был слишком компанейским парнем.

Посёлок Мылга, через который мы шли, оказался состоящим из одной широкой улицы-дороги и нескольких боковых улочек. Всё административное (Мылга была райцентром) сконцентрировалось в одном приличном каменном доме, на той же улице находились больница, школа-интернат, общежитие, выполнявшее функции гостиницы, и детдом. Остальные дома были в большинстве случаев самодельные, приземистые, с маленькими

окнами и всякими пристроечками. На пороге некоторых сидели тепло одетые старухи, обычно якутки, и курили трубки. Раза два мы прошли мимо строений, напоминавших юрты, с маленьким слюдяным оконцем и низкой, сплошь обитой старым ватным тряпьём дверью. Всё снизу доверху было покрыто глыбами снега, из маленького отверстия в центре наверху шёл пар. Это были зимние коровники для наших мелких, низкорослых, лохматых, почти как яки, коровёнок. Стояли они в этих хлевах в темноте и на самообогреве долгие зимние месяцы и давали по один-два литра молока в день. Всё молоко шло детям – взрослые питались консервами.

То жилье, к которому мы, наконец, подошли, уже на окраине посёлка, трудно было назвать домом: длинное, узкое, очень низкое строение, неумело построенное из брёвен строительных отходов, горбыля и досок. Снаружи и внутри дом был обмазан известью и даже имел подобие комнат, обклеенных обоями. Теперь, зимой, снег так засыпал его, что крыша оказалась немного выше меня, окна виднелись на какую-нибудь треть их нормального размера, а к входной двери, тоже обитой и утеплённой всяким тряпьём, надо было спуститься по ледяным ступенькам, вырытым в небольшой траншее утрамбованного снега.

Из входной двери мы попали в род полутёмного коридорчика, в углу которого стоял стол с наваленной на нём, уже промёрзшей грязной посудой – в коридорчике было примерно –3° или –5°, и вода промерзала. Сразу за столом была сложенная из кирпича печь с плохой духовкой и с двумя конфорками на плите. Печью этой почти не пользовались, она была сложена горе-самоучкой, дымила и ничего не отапливала, так что пользовались керосинкой.

Затем мы открыли ещё одну утеплённую дверь и попали в жилые комнаты, где было сравнительно тепло и витал семейный дух. У окна стоял покрытый клеёнкой стол, у противоположной стены – буфет с немудрящей посудой, за буфетом – железная голландка, а возле неё висели дешёвые плюшевые портьеры, закрывавшие

проём в соседнюю комнату, ещё более тёмную из-за не расчищенных с улицы окон (так было теплее). Во второй комнате стояли обычный гардероб, двуспальная кровать и детская деревянная. Пол был покрыт линолеумом, имелось несколько стульев, а в первой комнате возле стола – протёртый и продырявленный диван. Грязно не было, но на всём лежала печать бесхозяйственности и небрежности.

Нашего прихода ожидал маленький мальчик, одетый в крошечную пижаму и штанишки, сшитые из казённого американского серого одеяла, какие были и у нас. На ногах – домашние войлочные бурочки, которые были явно малы, из одного торчал довольно грязный пальчик.

Что сразу привлекало к этому мальчику – это его природный шарм. Всё в нем было прелестно и сразу очаровывало. И вихрастый беленький вьющийся чубчик, из-под которого пытливо смотрели два серых внимательных глаза, и смешной маленький курносый нос с родинкой на боку, и пухлый небольшой рот с белыми острыми зубками с ещё не сомкнувшимися щёлочками. Говорил Валерик необычайно чисто для своих лет, совершенно не употребляя детского шаблонного лепета – бай-бай, бо-бо и пр. На лету схватывал слова в разговоре у взрослых, а потом, их старательно выговаривая, повторял. Он, видно, поджидал нас, сидя на широком подоконнике маленького окна, выходившего наружу у входной двери. Бросившись к матери, он покосился на меня и застенчиво уткнулся ей в колени.

– Вот, Валерик, это Ада Александровна, новая тётя Ада, она будет теперь жить у нас.

– Всегда? – спросил Валерик, заглядывая матери в глаза.

– Всегда! – ответила я за мать. – Хочу с тобой подружиться. Хорошо?

Валерик отошёл от матери и приблизился ко мне, потом доверчиво положил маленькую ручку на мою, намного помедлил, затем, глядя мне прямо в душу своими серьёзными серыми глазами, добавил:

– Наверно, подружимся.

На меня хлынул такой поток тепла и нежности к этому малышу, что я, чтобы не разреветься, быстро поднялась и попросила Анастасию Николаевну ввести меня в курс моих обязанностей. Уходили они с мужем рано утром, и на моём попечении оставался весь дом: новорождённый, которого она прибегала в обед кормить, Валерик, вся готовка еды, вся уборка и расчистка снега снаружи ради света, топка печи и кормёжка свиньи в маленькой пристроечке между кухней и комнатой.

– Потом, – сказала Анастасия Николаевна, смущённо отведя глаза, – надо бы Валерику и на воздух иногда выходить, ведь он всё время взаперти, а вот и ходить не в чем, бурки прохудились, а валенки всё некогда купить. Может быть, купите?

Рассказала она мне, как по путёвкам комсомола завербовали из разных городов большую партию комсомольцев, как ехали они поездом, потом попали все вместе на один пароход, где она познакомилась со своим мужем. Ехали весело, всё время пили и пели, ни о чём не задумываясь, а уже подъезжая к Магадану, в порыве особого удальства (почти Стенька Разин!) швырнула в волны совершенно новую гитару, повязанную красным бантом. При этих словах Анастасия Николаевна испытующе покосилась на меня, и я поняла, что ей самой этот поступок казался очень значительным и романтичным.

Потом всех разослали по всяким местам. Она с мужем попала на прииск, где было трудно, хотя заработки были большие, и где вскоре родился Валерик. Несмотря на трудности и отсутствие водопровода, она его каждый день купала.

– Ведь подумайте, каждый день грела воду и купала! – с гордостью говорила Анастасия Николаевна, снова глядя на меня и считая это купанье необычайной материнской доблестью.

Потом муж стал выпивать и похаживать к разным женщинам, и она выпросила у начальства перевод сюда, на Мылгу.

– Я ведь сирота и в детском доме росла, и вот будете мне матерью!

От всего её рассказа веяло такой безыскусственностью и просто сердечностью, что я ей охотно обещала делать всё, что смогу, и, конечно, быть ласковой и заботливой с детьми.

Тут пришёл её муж, и я увидела, что свою привлекательность Валерик унаследовал от отца – был тот же белокурый чуб, хорошие серые глаза и приятный голос.

Сейчас же добыли из недр кухни большой кусок сала, Анастасия Николаевна нажарила сковороду картошки, нашлась и хорошая солёная рыба, и белый хлеб. Усадили меня за стол и потчевали до того сердечно и щедро, что у меня слёзы на глаза наворачивались.

– Да вы ешьте, ешьте, вы теперь член нашей семьи, забудьте про барак, теперь всё будем вместе делить! – говорил Сергей (забыла отчество!).

Тут пришёл ещё какой-то приятель семьи, принёс вина, и я первый раз за много лет и пила, и ела, и душевно отогревалась. Осмелев после выпивки, Сергей начал наизусть читать стихи Есенина и ещё не помню кого, но я с грустью поняла, что это делается в мою честь. А я предпочла бы, чтобы они больше рассказали о себе, своей жизни на прииске. Читал Сергей с мелодраматичным подвыванием, жестикуляцией и очень провинциально. Улеглись мы в этот день поздно. Валерик давно заснул одетым на диване – мне неудобно было в первый же день вмешиваться в семейный распорядок. Мне дали тюфяк, и я постелилась на полу, вдоль стены столовой, укрылась одеялом и полушубком Сергея, первый раз в семейном доме после стольких лет бараков.

Хозяйство Анастасии Николаевны было очень безалаберным. Север приучал к заботливости и запасливости, но с первых же дней я убедилась, что всё делалось кое-как и очень небрежно. Была засолена большая бочка капусты, которая стояла под полом, туда надо было спускаться по небольшой лестнице, но крышку к бочке сделать поленились, закрыли холстом, и там хозяйничали мыши. Купили целого телёнка, разрубили на части, немного оставили в ведре на кухне, остальное закопали в снег на крышу – собаки или кто-то ещё разгребли, растащили

и съели половину. Я просто ахнула, что мясо (такая ценность!) было заброшено просто так, хотя имелись и вёдра и ящики, но надо было проверить и проявить инициативу. А Анастасия Николаевна была очень ленива: «Да ладно, никуда не денется!» – был обычный припев, и в свободные минуты она садилась греться к печке, брала на колени Валерика, читала ему вслух что попадётся под руку или пела с ним песни. Ходила она всегда в одном и том же синем шерстяном, очень неопрятном платье, на голове всегда был берет. В баню ходила с работы, очевидно, а дома почти не мылась.

Когда я обнаружила под матрасом в кровати Валерика гниль и плесень, она простодушно заявила, что они не встают ночью к мальчику, и он до сих пор не приучен к горшку. Начала приучать мальчика проситься и стала так чутко спать, что приноровилась его вовремя выхватывать из постели, которую я всю выморозила на улице, выскоблила и снабдила новым матрасом. Приходилось мне бежать к мальчику в супружескую спальню и застигать их врасплох, чего они совершенно не стеснялись и говорили, когда я смущалась: «Ничего, ничего, ведь это дело житейское, а вы нам, как мать!»

Потом я заметила, что Анастасия Николаевна всё время почёсывается, а главное – в расчёсах ножки и руки не только Валерика, но и шестимесячного Сашки. Оказалось, у них есть пожилой друг – пьяница и совершенно одинокий человек, грязный и неопрятный, но обожающий детей и постоянно приходящий провести с ними вечерок. Он был весь покрыт чесоточными язвами и заразил всю семью. Позднее Анастасия Николаевна призналась, что стеснялась из-за этого раздеваться при мне. Когда я, набравшись смелости, поговорила с этим человеком и попросила полечиться самому и не трогать детей, он очень добродушно согласился, но всё осталось по-старому.

Когда я поделилась своим беспокойством с Анастасией Николаевной, она мне сказала: «Да ладно, обойдётся к весне, он очень одинокий старик – пусть ходит». Начала лечить детей сама, мазать марганцем, йодом,

зелёнкой, кипятить их бельё и ни на шаг не отходить от детей в часы визитов старика. Брать их на руки при мне он боялся. В одном я всё же взяла верх – это не разрешать ему спать на нашем диване, что он часто проделывал до меня, так как ленился ночью в мороз идти домой. За это, думаю, старик меня невзлюбил, и, смеясь, Анастасия Николаевна говорила, что за спиной называл меня «злыдней».

День за днём я всё налаживала, чистила, убирала, заставила детей есть вовремя и не капризничать, варила для родителей горячую еду.

С Валериком была просто беда. Я ему тотчас починила кусочком войлока бурочки и, закутав, заставляла с лопаточкой копаться у окна. Ведь он совсем был без воздуха! Но мальчик, очевидно, уже был застужен и от холода сейчас же напускал в штаны, а смены у него не было. Я его даже наказывала за то, что он не бежал домой в трудную минуту. Кончалось тем, что он, насквозь мокрый, играл на морозе, а когда я, почуяв недоброе, вела его домой, он отчаянно плакал и причитал: «Он сухонький, он совсем сухонький!» Что мне было делать, когда штаны были одни и сохли не меньше суток, да и то у печки?!

С гуляньем тоже было трудно. Принесла я ему с великой гордостью где-то купленные новые настоящие валенки. Были они добротные, толстые, но совершенно не гнулись. Это трёхлетним малышам-то! В первый же день, когда я его одела в эту обнову и рассказала, как мы сейчас хорошо пойдём гулять в рощу, он радостно согласился. Но когда я его, закутанного и в новых валенках, выставила на снег, он смешно растопырил ноги и вдруг отчаянно зарыдал: «Он не умеет гулять, он совсем не умеет гулять!» Как я его ни уговаривала хоть попробовать передвигать ноги, он страшно плакал и даже ложился на снег черепахой: «Он совсем, совсем не умеет гулять...» Что было делать?! Я брала его на руки, ходила, потом, как маленького, спускала на снег и, отступая, манила его к себе. По вечерам я колотила эти злополучные валенки кругляками, мяла, и так постепенно они помягчели, и он начал в них ходить.

Бывало, уберёшь всё в доме и, пока спит маленький Сашка, бежишь из дома сломя голову за каким-нибудь делом – ведь в доме одни и заперты двое малышей. Возвращаешься и находишь Валерика сидящим на ящичке из-под кубиков на самом подоконнике и поющим чистым тоненьким голоском, иногда пропуская, но совершенно не фальшивя: «Эх, как бы дожить бы до свадьбы, до женитьбы!» – и потом серьёзно в сторону мне: «Он совсем сухонький, тётечка!»

Всё-таки через два-три месяца он и спал в сухой постели, и гулял почти всегда сухой.

Бывали у моих хозяев и ссоры, и примирительные выпивки. Я с ними не пила, было всегда невпроворот работы, да и пить с ними не хотелось. Однажды ночью, после очередной попойки, когда я уже замертво спала на своём тюфяке, с Анастасией Николаевной было здорово плохо. Пульс еле прощупывался, она стонала и хваталась за сердце. Муж побежал за врачом, а я, решительно не зная, что с ней делать – она была ещё и навеселе, клала ей на сердце снег и, как могла, утешала. Было ей очень плохо. Она задыхалась, вдруг присела на кровати и заставила меня поклясться именем моей покойной мамы, что я не брошу Валерика.

– Я до утра не доживу – знаю, что не доживу, и если вы поклянётесь – мне будет легче. Вам одной могу поверить!

Что было делать?! Я, конечно, поклялась, а потом сидела, пока она была в забытьи и стонала, у её изголовья и думала, как я могу ввязаться в судьбу этого ребёнка, если что-нибудь случится? Бесправная заключённая, присланная по наряду в эту семью!

К утру Анастасии Николаевне стало легче, пришёл фельдшер, сделал укол, она заснула. О ночной клятве она никогда не вспоминала больше. На следующий день отпустила меня в барак навестить своих и даже разрешила взять хлеб и остатки картошки, рыбы и даже, помнится, пирожки, которые я им напекла под выпивку.

Как же меня встретили на корзинах, где все работали! С какой гордостью и счастьем я раздала всем

принесённую еду, рассказывала, делилась своими новыми заботами! Была героем дня!

В один из мартовских солнечных, но ещё морозных дней у нас были гости – двое товарищей по работе Сергея. Конечно, пили. Валерик бегал около дома, а я следила за столом, подавала, убирала. Анастасия Николаевна была уже сильно пьяна и полулежала на диване. Я взглянула в уже оттаявшее окно – Валерика не было видно.

– Уж больно вы о нём волнуетесь! – сказала Анастасия Николаевна – Ну, куда он денется?

Я смирилась с такой уверенностью матери, снова занялась чем-то, но начало меня беспокоить отсутствие мальчика, и я выскочила, как была, без верхней одежда, наружу. Позвала, прислушалась. Вдруг мне почудился не плач, а скорей тихое приглушённое всхлипывание. Бросилась искать у дома – никого, обошла дом и вдруг в глубокой канаве, за домом, на дне которой летом был колодец, а сейчас – слежавшийся за зиму пласт снега в метр-полтора глубиной, я увидела Валерика. Он лежал, неловко завалившись в снег, задрав голую, уже покрывающуюся восковой бледностью ногу, и беспомощно отчаянно всхлипывал.

– Милый, что с тобой? – крикнула я и бросилась к нему по пояс в снегу, разрывая свой путь руками, утрамбовывая валенками, к счастью, всегда бывшими на мне, рассыпающийся снег.

– Тётечка, я здесь, тётечка! – уже несколько обрадованно рыдал Валерик.

Из прерываемого слезами рассказа я поняла, что он отправился смотреть колодец, но не мог через несколько шагов вытянуть ноги из снега, провалился, вытянул одну ногу из своего злосчастного негнущегося валенка и, обессиленный борьбой, завалился на снег и заплакал. Кругом никого не было, а в доме пили и не заметили его отсутствия. Я бросилась оттирать ножку снегом, чуть-чуть порозовела пятка и ступня, потом расстегнула на себе кофту и бюстгальтер и положила его ножку себе на грудь, чтобы её отогреть. Тут я заметила на краю оврага прохожего якута, который

с большим интересом следил, как я раздеваюсь в снегу, и даже вынул изо рта трубку.

– Что глядишь? Женщин не видел? – со злостью ему крикнула. – Беги сейчас же в этот дом, скажи – с ребёнком несчастье, пусть отец бежит с шубой!

Серёжа действительно через одну-две минуты появился тоже без верхней одежды, но с большой шубой в руках. Добрался до нас, завернул сына в шубу и понёс в дом. Дома мы снова тёрли и оттирали пальчики ног снегом, но они оставались восковыми. Тогда я быстро оделась и, видя, что от пьяных родителей толку вообще не будет, завернула Валерика в одеяло и бросилась в аптеку. День был воскресный, и всё было заперто. Из аптеки – в больницу, где были одни тупо уставившиеся на меня санитарки-якутки, от которых с трудом узнала, что врач больницы Печёнкин живёт во флигеле, но по воскресеньям не принимает. Я так отчаянно дубасила в дверь квартиры врача и так умоляла скорее открыть, что меня впустили. Там жена врача сделала марганцовую ванночку и чем-то намазала пальчики, сказав, что два из них получили обморожение второй степени и мальчик помучается.

Пока врач смотрел и мазал ногу, его жена, не переставая глядеть на меня злыми осуждающими глазами:

– Вот, эти матери, народят детей, а потом и не смотрят, что они делают!

– Я не мать, – говорила я, почти не слушая и утешая Валерика.

– Ну, бабушка, ещё хуже, неужели не понимает, что это Север и всякое случиться может?!

Я молча слушала, глотая слезы и в полном отчаянии, что пальчики здоровыми и крепкими уже никогда не будут.

Принесла Валерика, уже испуганно молчавшего, домой в том же одеяле и уложила его в постель. Отец делал какие-то попытки укрыть Валерика, а пьяная мать, не слезая с дивана, начала охать. Ночью у Валерика был жар. Он плакал, вскакивал, я не отходила от постельки. Палец вздулся, стал болезненно красным и горел. Лежал

Валерик дней пять-шесть, потом ещё долго ходил с забинтованной ногой и не мог выходить на улицу.

Когда я снова его принесла к врачу, тот сказал, что всё пока обошлось, но что на всю жизнь этот палец или пальцы будут реагировать на мороз и болеть.

– Ну, больше не будешь в овраг лазить? – обернулся врач.

– Он ходил смотреть, есть ли водичка в колодце, – серьёзно глядя в глаза, ответил Валерик, – и почему-то потерял валенок.

Валенок я нашла только два-три дня спустя, разрыв целый кусок дна оврага; он был в нескольких метрах от того места, где я нашла Валерика. Он, видно, пытался ползком выбраться из снега, но силёнок не хватило, а потом, увидав свою застывшую восковую ногу, испугался и стал плакать и звать меня.

Так я была долгое время зла на равнодушие и пьяную беспечность родителей, что, когда с наступлением длинных светлых дней меня отозвали обратно на общие работы, пошла с лёгким сердцам. Хотелось забыть этот трудный быт, где доброта и гостеприимство тесно сплетались с полным отсутствием заботливости и хозяйственности, где ели, пили и спали когда и как хотелось, миловали и забавлялись с сыном, а потом часами не знали, где он, что делает и не грозит ли ему какая-либо опасность. Лень, беспечность, всегдашняя готовность выпить...

В лагере меня снова направили работать на корзинах. Сидела и, пока были заняты руки, рассказывала о Валерике, его забавных рассуждениях, вопросах и, конечно, нелепом воспитании такого умненького очаровательного мальчугана.

Потом направили на мою любимую работу в теплицы. Война уже кончилась, и, хотя мы продолжали быть заключёнными и некоторые даже пересиживали срок, отношение к нам стало несколько свободнее. Я бежала утром в теплицу уже без конвоя, меня знали в лицо, не обыскивали, и возвращалась тоже после работы, не считаясь со временем, лишь бы быть в бараке

к вечерней поверке. Летом ели без конца ягоды – в обед пускали за ними в ближайший лесок, и хотя голодны были по-прежнему, всё-таки удавалось изредка сменять, купить или заработать немного хлеба у вольных. Связь с домом почти пропала. Мамы не было, больше никто не писал. Не знала, что с мужем.

Ночные дежурства в теплице и на парниках в конце лета не были тяжёлым физическим трудом: надо было проверить, хорошо ли укрыты рамы, сделать уборку дорожек и слегка подтапливать печи, чтобы не угасал огонь. Пока не было морозов, быстро всё убирали, а потом разводили ночной костёр, сидели у него с книгой или шитьём. Спать не полагалось – были ночные проверки, и можно было попасть в штрафные. Не помню, почему я в это дежурство не была одна, но началось это с того, что, заложив печи и сделав уборку, я развела маленький костёр и села у него передохнуть. Ещё не подморозило, но ночи уже были прохладные и ясные, с целым ковром звёзд, осыпавших небо.

Теплицы находились вдалеке от трассы, имели свою проезжую дорогу, которая потом шла через лес, к следующему маленькому таёжному пункту. У края теплиц через дорогу стояла небольшая срубленная дежурка с телефоном. Пока не наступал сбор урожая, охранника обычно не было.

Тишина в тайге дело обычное, но тут ночью она была спокойной и проникновенной. Надо было хоть как-то подумать и быть самим собой после тяжёлого трудового дня, и я со вздохом облегчения уселась на облучок около огня. Просидела я недолго и услышала хрусткий конский топот по лесной дороге. Мужской голос понукал и покрикивал. Слов я не разбирала, но голос был неровный, спотыкающийся. К моему ужасу, выбравшись из леса, конь, вместо того чтобы обогнуть теплицы и пойти по дороге, заупрямился, а всадник, явно пьяно его понукая всякой матерщиной, приказывал:

– Прямо на костёр езжай, так твою мать!

И конь пошёл, проваливаясь, прямо по стёклам парников. Тишина сразу наполнилась треском и хрустом лома-

ющегося стекла, конь упрямился и фыркал, но всадник неуклонно гнал прямо по парникам...

Я просто оторопела от ужаса. Стекло не производилось на Колыме, привозилось очень издалека и только в навигацию, и мы привыкли бережно относиться к каждому обломку. Всадник подъехал вплотную и, с трудом спешившись, качаясь, подошёл ко мне.

– Чего тут одна делаешь?

– Дежурю.

– Ладно, дежурь, вот мы с тобой сейчас выпьем – знаешь, что в бидоне? Спирт, вот что...

И, плохо рассчитав расстояние, сел мимо лежащего бревна прямо на землю и начал искать в кармане махорку. Стало мне здорово не по себе: ночь, и крика никто не услышит, а здесь молодой здоровый парень, вдребезги пьяный. Успокаивало только то, что он еле стоял на ногах, и наверно, можно было увернуться. Тут подошла женщина, тоже молодая, наверно вторая дежурная, о которой я не знала. Вообще хорошо было, что нас стало двое, так как к тому времени пьяный уже уселся рядом со мной и при моём малейшем движении хватал меня за руку или за ногу.

– Куда идёшь?! Не пущу, сиди тут!

Я подмигнула женщине, и стали мы его расспрашивать: кто он, откуда (оказался завхозом из какого-то пункта) – делать вид, что очень им заинтересовались, даже пытались шутить. Женщина оказалась или из бывалых, или просто догадливая и мне подыгрывала. Теперь пьяный не знал, на ком из нас сосредоточиться и перестал меня держать.

– Ну, что ж, выпить так выпить, – сказала я. – А чем же закусывать?

– Ну, это-то есть, – заявил парень и вытащил из кармана раскрошившийся ломоть хлеба и завёрнутый в жирный грязный обрывок газеты кусок завалявшейся солёной рыбы.

– Так вы сидите тут, а я принесу стаканы, – сказала я, быстро встав, и направилась в сторону.

Парень заворочался, но встать было трудно, к тому же другая начала быстро ему что-то говорить и отвлекла

внимание. В дежурку я примчалась боковой дорожкой и бросилась к телефону. К счастью, сразу же соединили, я вызвала охранника, предупредила, чтобы взял винтовку, и объяснила где мы. Вернулась я к костру, держа в руках найденную на окне дежурки эмалевую кружку и обломок стакана.

– Вот это правильно! – встретили меня у костра. – А я уж думал – куда баба делась?! – заявил пьяный и начал вскрывать бидон. – Уж не заявлять ли побегла...

Открывать мы не помогали, а ему это долго не удавалось непослушными пальцами. Наконец, матерясь, он уселся просто на землю и поставил бидон между ног. В эту минуту из темноты появился охранник – винтовка явно торчала за спиной.

– Ах, ты, блядюга продажная, успела-таки, – сказал пьяный и покорился неизбежному.

Слухи, что начали освобождать таких, как мы, становились всё упорнее. Стали понемногу к этому готовиться, робко надеясь и со страхом и ужасом думая: а вдруг меня не... Всё лето я с разрешения агронома выращивала на пустующем клочке земли табак. Теперь я его сушила, вялила и резала по советам знающих людей. Табак, чай плиточный и спирт были ходовой монетой, а на стакан «самосада» можно было выменять две булки хлеба.

К осени в теплицах было уже много крупных помидоров, которые я снимала, и они дозревали на стеллаже возле борова. Выходя, запихивала себе по одному в бюстгальтер и в особой марле подвешивала так, чтобы не попасться в проходной. Приносила в барак и раздавала по очереди самым слабым. Носила осторожно и понемногу, поэтому, наверно, ни разу не попалась, хотя это было строжайше запрещено. Зато раз, когда меня посетил какой-то эмгэбэшный чин, да ещё с женой, да ещё с ребёнком, и, глядя сквозь меня, небрежно бросил в пространство: «Надо будет взять десятка два с собой», – я, так же глядя сквозь него, предупредительно сообщила, что не имею права сорвать ни одного помидора, а что если он принесёт письменное разрешение агронома –

отберу лучшие. Была награждена взглядом неприкрытой враждебности, а когда я отошла, то и сам, и жена, и девочка бросились напихивать карманы и сумки помидорами. Ну, тут я уже была вынуждена благоразумно не оглядываться и не видеть. Привычная жадность хапать даром! Ведь эти же помидоры начальству продавали в ларьке!

В это же время я сдружилась с одной латышкой – Ирмой Крумень. Она все годы прекрасно держалась в лагере, была честна и трудолюбива и получила лакомую работу – заведовать маленьким продуктовым ларьком в одном из лесных пунктов. Конечно, работа эта её кормила, но и была чревата опасностями. Приходилось давать «взаймы» начальству бутылки водки, а потом вымаливать, чтобы они их оплатили; приходилось одной возить через лес продукты, когда было столько голодных! Спасало то, что голодные обычно были 58-е, которые не грабили и не убивали.

На одном распределении Ирма столкнулась с другим ларёчником или завхозом, из бытовиков, который тоже работал в лесу. Они встречались при получении продуктов, отчётах и т. д. И вот Ирмино женское начало не выдержало! На его ухаживанье она сперва старалась не реагировать, но понемногу начала сдаваться и наконец привязалась. Я была поверенной её увлечения и диву давалась, на какие ухищрения шло женское самолюбие, чтобы всё представить самой себе в должном освещении! И стал-то под её влиянием добросовестным в работе, и книги стал брать в библиотеке, и порвал с прежними связями, и хочет жить по-новому, и мать-то свою любил и уважал, и т. д. И всё это было говорено, чтобы добиться Ирминой привязанности, а когда мне его украдкой показали, у меня сердце защемило от того, каким он был обычным, глупым, самодовольным мелким человечком, рядовым лавочником. А Ирма подняла его на такой пьедестал, что всего этого видно ей уже не было.

Помню такой же, если не более трагичный, случай, который произошёл на наших глазах с Алей, уже много

позднее, в Туруханске*. Ольга Яновна Балодис была изящной породистой блондинкой, в прошлом женой крупного военного в буржуазной Латвии. Свой срок она получила просто за то, что она жена своего мужа, ей ничего больше не инкриминировалось, потому её допустили вести отчёт в столовой и не посылали на тяжёлую работу. Держалась она вежливо, корректно и очень отчуждённо. Поддерживала дружелюбные отношения с латышами, остальных сторонилась. К нам она пришла неожиданно за советом в большой беде. Её вызвал к себе опер и очень недвусмысленно предложил быть осведомителем среди своих латышей, за что обещал улучшение условий. Ольга Яновна наотрез отказалась, а за это была вскорости выслана на один из самых северных пунктом Туруханского района. Вот там-то, в отчаянии и одиночестве она сошлась с очередным снабженцем из бытовиков, всячески его возвышая и облагораживая. Потом дошло дело до того, что он её материл последними словами, дразнил аристократкой, а пьяным тыкал сапоги в нос, чтоб разувала.

Слава богу, к этому моменту подошло наше освобождение, и Ольга Яновна смогла уехать на родину в Латвию и оставить этого подонка. Но это было позднее.

Моей последней работой перед освобождением был сбор капусты на полях, а затем её сортировка, рубка на силос и квашенье. На этой работе мы последний раз видели нашего милого старого агронома Александра Владимировича, погибшего вскоре тут же от сорвавшейся ручки трактора, угодившей ему в висок.

Когда вызвали в контору и написали направление в Эльген за получением справки об освобождении – я не помню особой радости. Бывает так, что человек так долго мечтает, надеется, ручается и так на этом подрывается, что когда радость, наконец, приходит, он уже так выдохся и столько потерял моральных и физических сил, что встречает событие почти равнодушно.

---

* О пребывании в ссылке в Туруханске вместе с А. С. Эфрон см. воспоминания «Рядом с Алей» (М.: Возвращение, 1996, 2010).

Меня мало кто поздравлял, нас столько раз разлучали и переселяли, что под конец старались быть в хороших отношениях, но не дружить, чтобы не испытывать новую боль. Помню, что было уже очень холодно, и когда я вышла из конторы, увидела грузовик с мороженой капустой, стоящий у ворот. Шофёр крикнул: «Догрузят доверху, садись, до Эльгена подвезу!» Я бросилась в барак предупредить об отъезде, кто-то дал варёных картошек, и вот я уже бегу к воротам и карабкаюсь на капусту. Уселась. Конечно, очень неудобно, очень холодно и очень одиноко. Но до Эльгена двадцать пять – тридцать километров, авось не скачусь и не замёрзну!

И вот тут, раздвигая грузчиков и каких-то работяг, вдруг, запыхавшись и держа в руках половину булки хлеба и несколько завёрнутых в газету селёдок, появляется Маруся. Та самая Маруся, собиравшаяся меня резать или, во всяком случае, стращать бритвой у костра в бытность мою горе-бригадиром у проституток...

– На, держи, это тебе! – крикнула она мне, суя хлеб и селёдку, и вдруг улыбнувшись: – А ты знаешь, ты – баба – во! – и подняла наверх палец кулака и потрясла им на прощание в воздухе.

Это было последним лагерным напутствием, грузовик тронулся, и я вцепилась в борт, чтобы не скатиться...

ТЕТРАДЬ ДВЕНАДЦАТАЯ

Трудно человеку, привыкшему за много лет иметь и кров над головой, и хоть плохое, питание, очутиться на свободе в вольном положении со справкой об освобождении на руках! В лагерь идти жить нельзя, квартир нет, да и настоящей работы тоже. Тут меня снова разыскала Анастасия Николаевна и умолила вернуться к ней жить, как раньше, до весны и открытия навигации. Недолго думала и согласилась. Забрала все свои домашние вещи из каптёрки, разрешили взять себе старое казённое одеяло, а верхнюю одежду и валенки пришлось сдать.

Прислали мне из дома несколько тёплых вязаных вещей, даже старые мамины валенки. Что до остального, то до сих пор не понимаю, как из моего сданного на хранение в каптёрку самодельного чемодана было украдено всё лучшее. Каптёрша Варя Паюсова, миловидная тридцатилетняя женщина, хорошо ко мне относилась и даже оказывала мелкие услуги. Сидела она по бытовой статье, и видно, была ловкая воровка – у чемодана были целы и не тронуты стенки, петли, довольно хороший новый замок, и всё-таки все до единой вещи проверены. Воровка всегда останется воровкой, и даже при наличии некоторой симпатии и понимания бедственного положения товарки обязательно обчистит, хотя и знает, что освобождённой из лагеря надо всё казённое сдать, хотя бы пришлось остаться зимой голой. Купить было негде, да и не на что. В лучшем случае на руках оставалось 100–200 рублей «премиальных». У меня осталась шуба-цигейка, немного старого белья, сатиновое платье, присланное Артоболевскими, моё голубое, в котором арестовали, чьё-то старое шерстяное, приобретённые в лагере американские сапоги, юбка, свитер, лыжный костюм, шапка и мамины валенки. Я себя считала вполне одетой.

С этим своим деревянным чемоданом, распростившись со всеми в бараке, наплакавшись и наобнимавшись, с целой записной книжкой всяких адресов, я и побрела снова к Валерику.

Идти было трудно; полотенцем обвязала свои пожитки, перекинула через плечо и зашагала в Мылгу. Все мы были истощённые, время было голодное, и мне приходилось часто останавливаться, садиться на чемодан, переводить дыхание и ждать, когда перестанет кружиться голова.

На этот раз, хотя встретила меня Анастасия Николаевна очень радостно, чувствовалось, что в семье неполадки. Сергея не было – он дома почти не бывает, всё рвётся «в командировки», объяснила Анастасия Николаевна, и я подумала, что не только не бывает дома, но наверно ещё и изменяет. Сашка вырос, уже бегал, стал некрасивым хилым мальчиком, очень похожим на мать, что не было ему на пользу. Валерик тоже повзрослел и при виде меня даже сперва застеснялся, но потом с криком: «Тётечка вернулась!» – бросился ко мне и обхватил мои колени.

На этот раз в доме не было никаких запасов. Ни мяса, ни картошки, ни капусты. Идя с работы, Анастасия Николаевна что-нибудь покупала по карточкам, хлеб и бакалею, и мы не голодали, хотя питались очень скудно. Главная беда состояла в том, что почти совсем не было дров. Мы распилили и сожгли в две-три недели те брёвнышки, которые лежали в запасе. Потом, заслышав, как на дороге появлялся трактор с санями, гружёнными долготьём, выбегали и, останавливаясь перед трактористом – обычно это была я, – умоляли его, ради детей, сбросить одну-две палки, что они обычно, если не было свидетелей, и делали.

Слова – «вот Сергей приедет и привезёт дров» – говорились всё реже, а потом он и вовсе перестал упоминаться. Я подумывала, уж не бросил ли он вообще семью, но это было неправдой. Изредка он приезжал, всегда не один, с каким-нибудь приятелем, обычно навеселе и с какой-то едой, ни о чём жене не говорил. Все вповалку заваливались спать, а наутро он снова уезжал, оставив немного

денег. Устроить ему допрос при посторонних Анастасия Николаевна не могла. Оставшись вдвоём со мной, она иногда заводила разговоры: «А вот как у вас, у интеллигентных, любят – наверно, не так, как у нас? Вот вы, например, Ада Александровна, любили своего мужа?» И по её наивным и даже детским вопросам я понимала, что эта женщина, мать двух детей и беременная третьим, смутно сознавала, что есть ещё многое, чего она никогда не испытывала за чертой элементарной близости. Меня эти вопросы стесняли и ворошили в памяти то, о чём страшилась думать, но Анастасия Николаевна в своём провинциальном простодушии была не слишком деликатной, и поэтому я старалась не оставаться с ней вдвоём, что было очень естественно, если принять во внимание уйму домашних дел, лежавших на мне.

Хуже стало, когда она начала меня сватать ко всем приходящим к нам «самостоятельным» мужчинам среднего возраста. Некоторые даже принимали её намёки на мою холостую жизнь всерьёз, и помню, пришлось как-то ночью мне схватиться с каким-то женихом и даже пригрозить, что я не только криком подыму весь дом (Сергей этот раз ночевал), но и выбегу на улицу и подыму соседей. Жених струсил и отступился.

И настал, наконец, день, когда дров не осталось ни полена. Мы занавесили все три окна брезентом, тюфяками и снаружи завалили снегом. Все перешли жить в одну комнату. Занавесили двери одеялами, готовили тут же на керосинке. Была середина зимы, и в комнате, где мы все ели и спали не раздеваясь, была не всегда плюсовая температура. Электричество давала станция с перебоями, и были случаи, что мы сидели в темноте или при свечке. Керосин тоже доставался с трудом, и я стала серьёзно опасаться за здоровье детей. Вода на кухне замёрзла, бочку распёрло, и мы перестали мыться. Воду тратили на еду и на мытьё посуды. Вот в эти дни я заметила, как к райкому завезли дрова и выбросили их перед домом.

– Ну, Анастасия Николаевна, – сказала я решительно, – больше ждать нечего! Ведь не замерзать же всем с детьми! Ночью пойдём воровать дрова.

– Но ведь, – испуганно пролепетала Анастасия Николаевна, – меня скоро должны в райкоме в партию принимать!

– Ничего, примут! – вдруг убеждённо возразила я. – Главное – не попасться, райком без дров не останется!

Ночью, на беду, светила яркая луна, и вблизи отчаянно лаяла собака. Мы не знали, есть ли в райкоме сторож и не следит ли кто-нибудь за нами. Но был такой азарт отчаянья, и я даже не думала, что будет со мной, только что освобождённой, если я попадусь на краже дров?! Мы приседали при каждом звуке, прятались за редкие деревья, забывали дышать и глотали воздух только тогда, когда казалось, что сердце пульсирует уже около шеи. Потом хватали бревно за два конца и несли его в тень, а там, напряжённо вглядываясь в темноту, тащили дальше за наш домишко. И так раз за разом, пока не затащили два-три толстых бревна и немного мелочи. Обошлось...

У меня от напряжения болела голова и дрожали колени. Анастасия Николаевна не показывала вида, но, конечно, тоже трусила. Теперь оставалось только ветками замести наши следы там, где они были видны и вели к дому, и всё затащить на кухню. Остаток ночи мы с ней пилили бревна на чурки и прятали их по всему дому на случай, если всё-таки заглянут. Потом тщательно подобрали и сожгли опилки и щепу. Дрова были, конечно, сырые, но мы всё же сразу вытопили голландку в комнате, и стало сыро, как в бане, но тепло. Согрели воду, вымыли детей, а сами так и не ложились, всё ждали, что придут искать дрова. Всё обошлось. Никто не пришёл, но мы топили с оглядкой и всё караулили дом.

С неделю было тепло, и мы не отходили от печки. Когда появился Сергей, мы с Анастасией Николаевной устроили ему такую сцену, что он даже обмер. Я кричала, что на Севере даже животные заботятся об обогреве своих детёнышей, а что он бросил своих на произвол судьбы, и т. д., и т. д. Потом его упрекала Анастасия Николаевна, в воздухе промелькнули какие-то женские имена, были угрозы, слёзы, потом всё стихло. На следующий день

Сергей ушёл с утра и пропадал весь день. К вечеру нам привезли воз дров.

Ходил в то время к Анастасии Николаевне и Шкодин. Многих тянуло к семейной обстановке, гостеприимству этой доброй, хотя очень безалаберной семьи. Шкодин был высокий, крупный, слегка седеющий человек с очень привлекательной внешностью, всегда готовый помочь в беде. Обладал мужественным, прямодушным характером, но не был умён и был малокультурен. Попал он простым деревенским мальчиком в школу в тот период, когда в школе проводились всякие новшества и нововведения, вроде Дальтон-плана, при которых бригадно один отвечал урок, а члены бригады сидели и поддакивали. При таком положении дети пребывали в полном невежестве и полной безграмотности. Потом – комсомольцем – он без конца выполнял партийные поручения, был активистом и так и не одолел грамоты. Всё это рассказал мне Шкодин, бродя со мной в рощице у дома Анастасии Николаевны. Мы уже познакомились и даже сдружились. Что-то было очень прямодушное и притягательное в этом человеке. А далее было вот что. С грехом пополам по комсомольской путёвке определился Шкодин в институт, но учиться не пришлось, так как всё время попадал в комсомольские рейды, учёбу совсем забросил и был отчислен. В дальнейшем, несмотря на отсутствие инженерного образования, был назначен на работу на молочный завод, где, очень хорошо освоив производство, стал мастером, а потом был назначен и. о. инженера.

К началу войны жил он с женой и двумя детьми в своём доме в Демидове Смоленской области и работал поблизости на сыроваренном заводе. Фашисты нагрянули так внезапно, что все члены партии оставили город и ушли в лес в партизаны, а семьи остались, их не успели эвакуировать, к тому же тогда ещё не знали о фашистских зверствах, об уничтожении женщин и детей. Попал Шкодин в десантники, был разведчиком, выполнял функции командира. Всегда был отважным и преданным человеком и неоднократно награждался медалями и орденами.

Однажды, выполняя очередное задание, Шкодин пробрался в занятую фашистами деревню и постучал в окно учительнице, которая его хорошо знала, чтобы получить нужные сведения. Учительница впустила его в дом, накормила, чем могла, и начала рассказывать о происходящем в деревне. Кто-то зашёл из своих за каким-то хозяйским делом и ушёл. Жаль было учительнице отпускать замученного голодного человека на ночь в лес, и она уговорила его остаться и хоть немного поспать. Спать ему долго не пришлось, так как она его разбудила и в ужасе рассказала, что вечером его видели и донесли местному подлецу, работавшему у фашистов полицаем, что прибегала соседка, почуяв недоброе, предупредить о вероятном приходе немцев. Спал Шкодин одетым и тут же вылез из заднего окна избы, выходящего на огород, обращённый к лесу.

Так он спасся, а фашисты, не найдя его и узнав от полицая, где его семья, нагрянули к жене, допрашивали о муже, о котором она ничего, к счастью, не знала, и на глазах у соседей расстреляли на задах её, восьмилетнюю дочь и трёхлетнего Юрку. Всё это произошло на глазах соседей, но мальчик упал до выстрела, остался жив и только получил лёгкое ранение в ступню ноги. Он спрятался в грядке и дополз до соседей. За фашистами кто-то прибежал, что-то крикнул, и они быстро ретировались, оставив убитых на месте. Вскоре пришли советские, похоронили жертвы и эвакуировали оставшихся женщин и детей. Так Юра отбыл неизвестно куда вместе с подобравшей его соседкой.

Всё это Шкодин тогда не знал, но твёрдо знал и даже был знаком со своим предателем. А воевал Шкодин главным образом на Украине, был, как я уже писала, десантником, партизанил, замещал убитого командира – генерала (может быть, прихвастнул и наврал?), был тяжело ранен и контужен. Рассказывал, что был момент, когда он со своим связным прятал в земле, уже не помню где, жестяную банку с пишущей машинкой (печатали листовки) и мешок отобранных у фашистов советских денег. Власти так быстро менялись, иногда просыпались среди ночи

от взрывов и не знали что это – свои отвоёвывают захваченное или новое продвижение фашистов. Ночевали в сараях, огородах, лесу, и конечно, сдавать куда-либо деньги было невозможно.

Война кончилась, вернулся Шкодин в свой родной Демидов Смоленской области к разгромленному дому и узнал подробности расправы фашистов. Оставаться тут было тяжело, и он согласился на пост директора крупного конного завода на Украине. Хозяин он был хороший и умел работать с людьми. Всей головой ушёл в порученное дело, завёл себе новую жену, начал розыски сына. Пользовался авторитетом, уважением, и по поводу предлагаемой им реорганизации был вызван на совещание к секретарю обкома (а может быть, ещё какого-то начальника, какого – не помню). Была у Шкодина машина, но вследствие контузии водить машину ему не разрешалось, и возил его всегда один и тот же преданный ему молодой парень. Всегда имел при себе оружие.

Приехали они в назначенное время к небольшому особняку, у входа которого стоял солдат с винтовкой (время на Украине всё ещё было тревожное). Проверили документы и пропустили в здание. Здание было старинное, с толстыми стенами, длинным коридором, затянутым ковром, и массивными дверями, ведущими в кабинет. На предложение войти открыл дверь, отбросил тяжёлую портьеру и... очутился лицом к лицу со своим врагом – предателем. Оба мгновенно узнали друг друга, начальник встал. Оба, ни минуты не раздумывая, схватились за оружие. Шкодин выстрелил первый, и тот – другой – медленно осел в кресло. Всё в доме было тихо, спокойно. Где-то вдали стучали машинки. Портьеры, ковры, мягкая мебель поглотили звук выстрела. Потрясённый случившимся, Шкодин вышел на улицу – солдат отдал честь, подкатила машина.

И только сев рядом со своим водителем:

– Я только что убил предателя, – сказал Шкодин.

Парень был в курсе дела. Взмолился, не понимая до конца, что говорит:

– Дмитрий Осипович, машина новая, хорошо заправленная, бежим, пока никто не хватился. Я с вами – пробьёмся!

– Езжай в МВД, – приказал Шкодин. – Поеду объявить.

Парень подчинился. Отговаривать было бесполезно.

В МВД долго ничему не верили, усадили в кресло, послали за врачом – знали, что была контузия, – и послали проверить. Нашли всё в том же положении, хотя прошло, наверно, около двадцати-тридцати минут. Снаружи вышагивал часовой, внутри, за закрытой дверью, привалившись головой к столу, полулежал мёртвый человек. Домой Шкодин уже не вернулся. Отобрали все ордена, документы и экстренным заседанием Военного трибунала вынесли смертный приговор. Вскоре была всесоюзная амнистия, смертный приговор заменили десятью годами дальних лагерей, и попал Шкодин на Колыму. Оттуда он посылал прокурору заявление с просьбой о помиловании, изложив все подробности дела. Всё долго проверяли, но помилования не было, а через год прислали сокращение срока – пять лет.

Все эти запросы и переписка велись месяцы и месяцы, и когда Шкодин получил последнее решение, пятилетний срок приговора уже истёк, о сыне он делал всякие запросы, но ничего ещё не узнал.

Познакомились мы с ним в то время, когда я получила освобождение, а он окончил срок и ждал присылки своих отобранных документов и орденов*.

– Вот, погоди, – говорил он мне, – получу свои ордена и документы, выеду с Колымы за вот этот табак – хватит на дорогу, а там, на Украине начну искать свой мешок денег, чтобы сдать его куда надо.

Табак этот, как оказалось впоследствии, грозил ему большой бедой, а что касается денег, то мне это казалось сплошной наивностью. Закопали они со связным эти деньги наспех и вряд ли очень глубоко, могли они при таянии снега или просто дождевом ливне вылезти наружу,

* Знакомство автора с Д. О. Шкодиным состоялось в 1946. Если его арестовали после войны, пятилетний срок не мог закончиться к этому времени. Видимо, это ошибка памяти автора в изложении перипетий жизни Шкодина.

да и купюры были наверно уже аннулированными. Там, где проходила война, земля обычно была искромсана и перерыта до неузнаваемости, и не верю я, чтобы он смог найти место.

А с табаком было вот что. Работал он последнее время в качестве сельхозбригадира, а может быть агронома, где-то недалеко от Мылги. Нашёл запущенный необработанный клочок земли, попросил у администрации разрешения его использовать для себя и, получив его, всё лето ухаживал и растил себе табак. К осени получил хороший урожай, сушил его, вялил и нарубил на самосад. Поделился этим самосадом с товарищем, который ему во всём помогал, и получилось у каждого стаканов по десять приличной крепкой махорки – богатство! И тут администрация схватилась за голову, что прозевала такую выгодную аферу, и дала ход доносу подозрительных лиц, имевших зуб против Шкодина и просто из зависти, что по лени и глупости упустили такое дело. Тут упоминалось, что и земля была колхозная, и руки «государственные», и потому о «личном урожае» не могло быть и речи. Шкодин отнёсся очень иронически и не придал всей этой истории никакого значения. Но Анастасия Николаевна, будучи секретарём суда, нам сказала, что на Шкодина затевается дело, которое она по возможности затянет на один-два месяца, но что по истечении этого срока, вернее весной, с первой же навигацией, она очень советует уехать, так как не уверена чью сторону примет судья – ограниченный человек из местных якутов, легко поддающийся на подкуп.

Вот тут-то и пришёл пакет на имя Шкодина в райком партии со всеми военными (отличными!) характеристиками, орденами, медалями. Секретарь райкома поздравлял, тряс руку и советовал подать заявление о восстановлении в партии, а пока что скорее получить в Эльгене паспорт вместо наших справок. И отправились мы со Шкодиным, теперь уже пешком, за тридцать километров в Эльген, в чудный зимний солнечный день по хорошо утрамбованной белоснежной колымской трассе... Тут он мне рассказывал о своей жизни, о том, как относились

на войне к вождю, о своих планах и о том, что хочет на мне жениться. Я же рассказала, что считаю себя мужней женой, что рвусь на материк любой ценой, чтобы увидеться с мужем, а там всё решит судьба, и что дружить я могу, а выйти замуж – нет. Шкодин меня уверял, что нет на земле мужчины, который восемь лет ждал бы жену и остался ей верен.

Не хотелось говорить об этом. Что я сама знала о Серёже?! Жив ли он?! И вот шли мы и шли...

Иногда становилось так холодно, что, взявшись за руки, бежали, а потом валились на снег отдохнуть немного. Шкодин даже приплясывал и выделывал всякие кренделя ногами. Дошли в сумерки до Волчка, где были уже новенькие и совсем чужие. Оставались только каким-то чудом сестры Сухацкие, которые обрадовались мне, как родной, обнимали, угощали кипятком с сухарями, советовали пожениться и обязательно ехать устраиваться жить к ним, в Ананьев, маленький городок Одесской области между Балтой и Котовском.

К вечеру пришли в Эльген, устроились не помню как на ночёвку. Утром пошла сняться к фотографу, а затем разыскивать уцелевших знакомых. Многие уже уехали, повыходили замуж, но с Колымы не уехал никто – не выпускали. Шкодин большинству не нравился. Не умел он держаться героем, к тому же был явно некультурен, так и не научился говорить правильно по-русски и употреблял «ложить», «куплять» и всякие жаргонные словечки.

Как только были готовы фотографии, получили наши первые паспорта – увы, со статьёй 38 положения о паспортах на месте особых пометок. Статья эта означала, что по такому паспорту нельзя жить ни в Москве, ни в Ленинграде, ни в столицах республик, ни в областных городах. К Москве можно было приблизиться лишь до города Александрова. Жить надлежало в деревнях, сёлах или районных городах. Всё-таки это был паспорт, с которым можно выехать на материк, а в остальное просто не верилось.

С этими паспортами вернулись мы на случайных машинах снова на окраину Мылги. Я – к Анастасии Николаевне, где меня встретили поздравлениями

и выпивкой, а Шкодин куда-то ещё. На следующий день нас вызывал исполком на вольное «трудоустройство». Грустно было расставаться с моим мальчуганом, с его беспутной и безалаберной семьёй, где я всё же имела кров и тёплое душевное отношение. Что меня ждало завтра?

Утром мы встретились с Дмитрием в исполкоме. Его сразу увели в райзо, и он был оформлен каким-то заведующим, а я попала в отдел образования и культуры, где меня расспросили про моё образование, а потом говорили всякие высокие слова, что вот, они имеют хорошие характеристики обо мне и моей лагерной работе, что мне готовы доверять и что я могу гордиться своим новым назначением – быть заведующей детским домом. Что-то мне тогда не понравилось в словах председателя, что-то шестым чувством чуяла, что не всё так просто, но выбора не было: работа мне давала продуктовую карточку, а может быть, и жилье. К тому же я решительно ничего не знала о жизни вольных, была неопытна, и надо было пытаться жить заново.

Шкодин в это время заявил, что он женат, и нам дали – фактически неженатым – маленькую комнату в центре, в общежитии с длинным коридором посередине и четырьмя комнатами по бокам. Печи топились из коридора, дров почти никогда не было, а если и были мокрые и промёрзшие осиновые поленья, то их воровали соседи тех, кто уходил на работу. В комнате была одна узкая кровать, один стул, тумбочка и подобие гардероба без вешалки и со сломанной дверцей. Окна не промазаны, в дверях щели в палец, а поскольку комната оказалась крайней угловой (поэтому свободной), было так холодно и так дуло, что я ложилась только одетой и закутанной в одеяло.

В общежитии была даже уборщица-якутка – неопрятная апатичная женщина, изредка подметавшая коридор и выбрасывавшая мусор прямо наружу у входной двери и подбиравшая пустые винные бутылки. Больше она ничего не делала, если не считать того, что часть дров воровала и относила к себе.

Как мы выдерживали эту жизнь в общежитии – я себе сейчас плохо представляю! Было хуже, чем в лагере,

но верилось, что худшее позади: в кармане паспорт, неплохое здоровье и вера в будущее.

В детском доме меня встретили настороженно и неприветливо. После передачи имущества в мой подотчёт (я даже не понимала – какой катастрофой это может обернуться!) я осталась полной хозяйкой положения. Бывшая заведующая, уже уехавшая на материк, оставила в исполкоме материальную ведомость детдома, по которой сотрудница исполкома мне зачитывала и передавала, а я считала, проверяла и подписывалась в приёме. Официально, но не фактически, как я скоро убедилась. Всё то бельё, одеяла и прочие вещи действительно были в доме, когда я расписалась в их наличии.

Детский дом находился в хорошем, новом здании дачного типа, с большими окнами, высокими потолками, передним и задним крыльцом. Позади дома был сарай, подсобные помещения, вокруг – новый, с несколькими хилыми деревьями и кустарниками палисадник, обнесённый новым крашеным забором. В доме было светло, но, как всегда бывает в таких домах, казённо и неуютно, а главное – холодно. Чувствовалось, что никому ни до чего нет дела. Окна и двери не утеплены, отовсюду дуло, голландские печи плохо сложены и еле нагревались при топке. Запаса сухих дров не было, а из исполкома привозились промёрзшие осиновые, с небольшим процентом берёзовых для кухни. Они чадили и текли при растопке и не нагревали как следует печей.

Дети были в возрасте от двух до шести лет, столько же русских, сколько якутят. Русские – в большинстве случаев дети бывших заключённых, которые временно остались жить и работать на Мылге. Были и случайные дети, от случайных связей у вольнонаёмных, приехавших на Север за «длинным рублем». Якутята же появлялись со своими матерями, которые устраивались работать няньками, а за это имели право приводить с собой на государственное обеспечение одного-двух детей.

Были и никому не нужные, лишние внебрачные дети-якуты, родившиеся от охотников. Происходило это обычно так: поздней осенью в Мылгу стягивались бригады

и группы охотников для отлова промышленного пушного зверя. Били белок, колонков, соболей, лисиц. Иногда попадались росомахи, медведи. Волков не было. Приезжали якуты на нартах из ближайших станков и табором располагались перед исполкомом. Им выдавали крупу, муку, сахар, плиточный чай, консервы, солёную рыбу и спирт. Снабжали котелками, чайниками и маленькими охотничьими печурками. На следующий день гуляла вся Мылга. Охотники пели, плясали и пили. Пьяные разбредались по домам на ночёвку, где спали с кем попало. Через день-два все снова приходили в исполком и требовали новую порцию спирта. «Однако, без спирта в тайгу не пойдём», – твердили упрямо и спокойно усаживались на корточки в коридоре здания. Знали свои права и законы снабжения на Крайнем Севере. Сидели, мирно попыхивая трубками, и день, и два, пока не сдавалась администрация и, боясь срыва плана по пушнине, не выдавала новую порцию спирта. Тогда всё начиналось сначала, и пьянствовали ещё один-два дня.

Последнее время администрация, наученная горьким опытом, переправляла охотников через протоку к началу леса. Там они усаживались на нартах со всей поклажей и ждали спирта. По одну сторону протоки, ещё не вполне замёрзшей, ходили и присаживались на корточки местные, с любопытством и надеждой следя за происходящим, на другой устраивались охотники в ожидании спирта. Если спирт выдавался за протокой, за пределами Мылги, возвращаться не полагалось – плохая примета. Тут, получив ещё свои бутылки, охотники на глазах у зрителей упаковывались, кормили собак, помахав на прощанье, кричали: «Однако, ждите весной!» – и гуськом исчезали в лесу. Жители, покидая свои наблюдательные посты, с грустью расходились по домам, администрация облегчённо вздыхала – спровадили-таки! Охотники уходили на шесть месяцев, и спокойная рутина жизни вновь восстанавливалась.

Якуты, которых я видела, были почти все малорослые, с большими головами, узкоплечие, с короткими кривоватыми ногами. Пили и курили все – даже девочки-школь-

ницы. И вот в апреле, когда я уже работала в детдоме, пришла к нам якутка-школьница со свёртком. Потребовала заведующую, а потом со спокойным, ничего не выражающим лицом развернула свёрток, в котором оказался красный сморщенный новорождённый младенец, совершенно голый, завёрнутый в шкурку молодого оленя. Ребёнок морщился и жалобно попискивал по-щенячьи.

– Вот, возьмите, – сказала школьница, – однако, он мне не нужен, и назовите, как хотите.

И ушла, оставив всех нас онемевшими от неожиданности. Оказалось, таких детей в детдоме не один и не два. Их просто «оприходовали», выдавали метрику на имя, предложенное детским домом, фамилию проставляли материнскую, и становился ребёнок собственностью государства. Женщин прав материнства не лишали, и бывали случаи, но редкие, когда детей забирали обратно в семью.

Как только окончилась официальная часть моего вступления в должность, созвала я всех работников дома на общее собрание. Пришли все, неприветливо глядя на меня, настороженные и отчуждённые. Я представилась, со всеми перезнакомилась и сказала, что всем нам надо вкладывать в нашу работу как можно больше старания, тепла и доброты, не забывать, что у нас много детей-сирот и надо, чтобы они чувствовали себя у нас, как в родной семье.

Няньки были якутки, воспитательницы – русские, повариха тоже русская, кладовщик-рабочий – татарин. Все молча меня выслушали и разошлись.

Уже на следующий день я обнаружила, что у детей вонючие полугнилые сенники (многие из детей от холода по ночам мочились); что дети, за исключением тех, которых одевали родители, не гуляют на воздухе, потому что все валенки худые, а новых не привезли; что маленькие сидят на полу голыми задами, так как, хотя есть в кладовой байка, её некому шить – даром не хотят, а оплата не предусмотрена сметой; что детей плохо кормят, вернее, не следят, как они едят. Повариха приносит и ставит еду на стол, няньки разливают, вылавливая лучшее для своих родных детей, и даже не смотрят, как едят

остальные. Через полчаса повариха приходит с большим ведром, куда сливает все остатки и уносит кастрюли. Выяснилось, что она кормит двух свиней.

Дети – их было около тридцати – кажется, были одного возраста, но совершенно разного развития. Одна из воспитательниц, бывшая, как и я, прежде заключённой, имела связь с одним довольно интеллигентного вида человеком средних лет – Жемчужным. Имела от него ребёнка, девочку, и вот с этой своей дочкой и ради неё пошла она в воспитательницы. Была Жемчужная высокой сухощавой женщиной средних лет, очень корректной, молчаливой и сдержанной. Казалось, мысль – «как бы чего не случилось!» – руководила всеми её действиями и поступками. На всякий случай сторонилась меня и ни в чём не поддерживала. Очень трусила перед начальством. Но работала она с душой. Заставляла детей рисовать, клеить, пела с ними песенки, рассказывала им сказки. Войдёшь иногда в детскую и видишь: сидят по одну сторону русские дети, перед которыми развёрнутые тетрадки с какими-то рисунками, самодельные вырезанные куколки, а напротив сидят якутята – один в ногах ковыряет, другой кулаком исчерчивает тетрадь и ломает карандаши, третий сидит – спит. А Жемчужная рассказывает сказку, русские не спускают с неё глаз, когда она останавливается, хором требуют: «Ну, а дальше что было – дальше?» Подошла к детям, спрашивала о сказке – якуты на всё кивали и говорили «ага», а одна девочка спросила: «А скоро будет обедать?» Лица равнодушные, ничего не выражающие. Только один якутёнок трёх лет был прелестным! Всегда плутовские щёлки глаз, улыбка и жажда деятельности. Он, казалось, мог быть и в раковине, и под столом, и в шкафу одновременно. Мы этого Алёшу все очень любили. Был он полукровкой и тоже подброшенным ребёнком.

Скоро я поняла, что вялость якутят ещё вызывалась их хилостью и предрасположением к туберкулёзу, к тому же отсутствие обуви их держало без воздуха.

Двое больных наших детей лежали в больнице. Когда я собрала старших (уже обутых мною) и пошла их проведать, оказалось, что ни одна из нянек никогда этого

не делала. Детей просто отдали в больницу и о них забыли. Принесла им черносливу из компота и плиточку гематогена, и малыши (жалкие, хилые, неразвитые) были очень довольны, хотя встретили меня испуганно и равнодушно. Не знаю, выжили ли они...

Ходила со своим рабочим-татарином за продуктами. Это был нагловатый, сильный, высокий человек среднего возраста, производивший неприятное впечатление. Наверно, в прошлом был уголовником. Держался настороженно, на грани вежливости. Когда зашла в его каморку – он жил в боковом крыле дома, за кладовой, – удивилась, что все стены и выходная дверь затянуты сукном от холода. Когда пригляделась, поняла, что всё это были детские одеяла. Пока что смолчала, но мысленно отметила.

На кухне всё выглядело нормально: чисто, повариха неплохо готовила и всё успевала. Выдавала ей по накладной, в которой она расписывалась, нужное количество продуктов. При мне сыпала крупу в котёл, чистила картошку, варила кисель или компот. Потом, когда пробовала детский обед, убеждалась, что в супе почти нет консервов (хотя при мне спускали), каша почти без масла, хотя выдала большой кусок, а компот кислый и дети пьют неохотно.

Не раз ловила нянек якуток, что они совали «своим» в рот чернослив или куски сахара. На прогулках хорошие шарфы и рукавички, присланные каким-то благотворительным американским обществом, появлялись на детях, у которых были родители, а потом и вовсе исчезали. Всё шло по весу, счету, по распискам, и всё таяло, исчезало и пропадало. Короче говоря, крали все – всё что могли и привыкли оставаться безнаказанными.

Посоветоваться мне было не с кем и, промучившись день-два, взвесив своё положение «материально ответственной», я решила начать борьбу с воровством и пошла обрисовать положение вещей к председателю исполкома. Председатель – русский – меня принял вежливо, усадил на стул и выслушал.

– Понимаете, – говорила я, – если не принять мер – разворуют всё! А меры принять просто. С милиционером

обойти все квартиры работников, и всё найдётся, тем более что всякая вещь, за исключением, конечно, американских подарков, имела клеймо, штамп или бляху с номером.

Криво ухмыльнулся председатель и сказал, что советская политика уделяет много внимания национальному вопросу, что нам надо воспитывать и дружить с националами (то есть спускать им всё с рук – поняла я). Мы живём на Мылге, где бо́льшая часть – якуты, и нельзя их против нас восстанавливать.

Ушла я, убитая этой речью, поняв только одно, что якуты тащат председателю мясо, рыбу, шкуры; что он живёт среди них маленьким царьком; что ему и выгодно и спокойно, а до морали дела нет. Что делать дальше – я сама не знала. Всё-таки решила начать с того, что отпустить на два дня выходных повариху и убедиться, каким окажется обед без кражи продуктов. Повариха не хотела брать выходных.

– Как дети голодные будут? – хитрила Архиповна.

– Не будут, – говорила я, – сама буду им всё готовить.

И не уходила из кухни, пока не ушла Архиповна, обнаружив за шкафом большой кусок масла, который она при мне постеснялась взять. Убедили меня во всём сами дети.

– Какая каса холосая, дай ещё, – протягивали они мне миски, а во время раздачи компота был такой восторг – «он сладкий, он совсем сладкий!» – что сомнений не осталось.

Когда повариха вернулась, масла в каше стало больше, и стали сладкими чай и компот. Слов между нами серьёзных сказано не было, но что-то она поняла и решила быть осторожней, да и действовать без неё я не могла. А решила я сделать следующее: свой плиточный чай, высоко ценимый якутами, обменять на воз свежего хорошего сена и на старые валенки. Из сена я набила тюфяки, все их предварительно перестирав, а из старых валенок сделали подшивки для наших детских. Вот тут-то мне и была нужна подпись Архиповны, что две плитки чая были израсходованы через котловку на детей. Я же им настаивала чай на сухих фруктах, которые у нас были.

Сама сшила всем детям тёплые байковые штаны и торжественно повела гулять в первый солнечный день в тёплых, толсто подшитых валенках. Няньки всё молча приняли, не выражая никаких одобрений, и тотчас выбрали из кучи валенок, а затем штанишек, получше для своих. А тюфяки с воркотнёй стирали, а затем шили и чинили все. Приходила потом ночью проверять, как спят дети. Воздух был впервые чист, не пахло гнилью и мочой. Разбудила дежурную няньку, велела около двенадцати часов ночи, на всякий случай, пересажать всех самых маленьких на ночные горшки, чтобы возможно дольше сохранить постели чистыми.

Повариха, поняв, что я слежу за утечкой продуктов, начала всячески меня обделять. Хотя я имела право столоваться вместе со всеми, это нигде не было зафиксировано, и я стеснялась на этом настаивать. Когда я «снимала пробу» на кухне, Архиповна мне черпала суп большой ложкой и, подставляя блюдечко, протягивала её мне, кашу накладывала чайной ложкой на то же блюдце. Запасов у нас дома никаких не было, я получала по карточке один хлеб, а за остальным надо было ходить в определённое время. Я была занята с утра до вечера и по вечерам была так голодна, что не могла часто заснуть. Трудное, голодное это было время!

Перед Новым годом моя Архиповна неожиданно заявила, что надо сократить расход муки и масла и припрятать изюм. Оказывается, полагалось урвать всё это из скромного рациона детей, чтобы испечь начальству торты. Один торт – председателю исполкома, второй торт – секретарю райкома партии, третий – бухгалтеру. Яблоки и шоколад, полученные как гостинец на ёлку, надо было разделить так, чтобы дети председателя и секретаря получили по плитке и по нескольку яблок. Я восстала, говоря, что это преступление – обделять доверенных нам детей-сирот; что же касается детей начальства, то они и так получали сладости по специальным выдачам!

Архиповна поджала губы: «Вот что, Лександровна, так было и завсегда будеть, а не будешь угождать начальству, тут тебе не работать, уси тебе врагами будуть!»

Я всё это выслушала, пошла в кладовую и разделила шоколад, конфеты, печенье и яблоки на тридцать равных кучек, с карандашом высчитала, какая возможна экономия муки и масла, и отложила их на новогодний сдобный пирог детям. Будь что будет!

Внешне всё прошло благополучно. Начальство пришло нас проведать, когда дети пили чай со сдобой, и у каждого на блюдечке лежал шоколад и конфетки. Не задержались и скоро ушли. Я неотлучно ходила с ними, так что никто не мог наябедничать за моей спиной, но никакого торжества и удовлетворения не чувствовала. Знала, что настанет день, когда всё это мне отрыгнётся.

После Нового года после усиленных хлопот Шкодина, нам выделили отдельную квартиру. Это был приземистый сырой и полутёмный дом, и состояло наше жилье из довольно светлой большой кухни с деревянным, изрубленным у печки полом; из кухни дверь вела в небольшую комнату с маленьким оконцем и кладовушкой в виде стенного шкафа, а из этой комнаты дверь вела в третью, уже совсем маленькую и без окна. В кухне стояли стол и скамья, с потолка спускалась лампочка на проводе; в следующей комнате – кровать и несколько табуреток, и снова свисала на проводе лампочка. Третья комната была без мебели и без лампочки. Холод и сырость стояли ужасающие, дров не было совсем. Потом Дмитрий достал с кубометр дров и взял у кого-то на день ржавую пилу и тупой, с зазубринами топор. Мы скоро узнали, почему так расщедрились и дали нам почти три комнаты! Оказалось, совсем недавно в этой квартире жил портной. К нему ночью влезли воры, дочиста ограбили, а его убили и спрятали труп в кладовой. Об этом знали все, кроме нас, новеньких, и потому категорически отказывались от квартиры и она пустовала.

Много у нас было горьких дум и разговоров за этим кухонным столом под мигающей, часто меркнувшей лампой. Всё-таки дали ход доносам на Шкодина по поводу табака, и нам намекнули, что судья хотел бы иметь белые бурки... Моя Анастасия Николаевна сообщила, что судья уезжает на два месяца, а потом, по возвращении,

даст ход делу. За два месяца нам надо было уехать с Мылги. Дело ещё усложнялось тем, что я была материально ответственная и что мы не были зарегистрированы. Об этом браке Шкодин говорил ежедневно, уговаривал, убеждал, что порознь нам уехать на материк не удастся, единственная надежда – выехать регистрированной парой. К тому же в райкоме Дмитрия всё время уговаривали бросить меня: «И фамилия-то у неё нерусская, да ещё интеллигентка – найдёшь себе хорошую простую бабу! Дело тебе говорят, бросай её, а сам уезжай!»

Что было так – я не сомневалась, и что моя нерусская фамилия может служить поводом не выпускать с Колымы – было тоже правдой. И вот я согласилась регистрироваться на джентльменских условиях. Брак будет фиктивный, и Дмитрий обязуется мне всячески помочь вернуться на Большую землю к моему настоящему мужу, о котором я ему всё рассказала, и по первому моему требованию развестись и вернуть мне свободу. Я же дала слово, если вырвусь раньше него с Колымы, сейчас же начать поиски его сына и всеми силами помочь им соединиться. На том и решили, и оба отправились регистрироваться, а потом подали заявления об увольнении. Шкодину удалось уйти раньше, а меня обязали работать ещё с месяц, пока не вызовут на моё место по путёвке комсомолку с материка.

Уже наступил март, и начало немного пригревать солнце, и замерещилась надежда вырваться.

Поразмыслив о своей сдаче дел, я пришла к выводу, что мне будет очень трудно это осуществить без своего человека, которому можно во всем доверять. К счастью, у меня в штате была вакансия няньки, а из лагеря освобождалась одна хорошая, честная женщина. Маруся не была существом лёгким и приятным; знала я, что она может быть грубой и резкой, но знала я также, что она, продавщица крупного гастроном, попала в лагерь из-за своей непоколебимой честности и отказа участвовать в воровстве и махинациях администрации магазина. При первой же ревизии она дала правдивые показания, и администрация и товарищи продавцы при следующей

проверке дали все показания против Маруси. Ошибку в оформлении накладной на товары свалили на неё же, и она отсидела восемь лет по бытовой статье за государственное хищение. Характер у неё от всего этого совершенно испортился, она озлобилась, никому не верила больше и громила комсомол, чьим членом она когда-то состояла. Но было в Марусе и хорошее человеческое начало, и, если добраться до него, была она преданным и хорошим товарищем. Вот её-то я привела работать к нам, умолила пробыть хотя бы до навигации и обо всём ей поведала.

Достала я вторые замки, и начали мы с ней всё вывешивать и сверять в кладовой и заносить в свой акт передачи, который должен был лечь в основу официального. Новенькая уже прилетела на самолёте и устраивалась с жильём. Была это молодая комсомолка довольно стандартного вида, однако не вызвавшая во мне никакой неприязни. Она прилетела на Север, не имея решительно никакого представления, чем является Колыма на самом деле, явно не имела в своей семье репрессированных и впервые получила небольшое политическое «разъяснение» в райкоме. Поэтому наша первая, вполне приветливая встреча уже на следующий раз выглядела немного иначе: новенькую насторожили, что с «политическими» надо держать ухо востро и сохрани бог – якшаться! Я старалась быть только деловой и ни в коем случае не отклоняться от голой сути дела.

Вновь и вновь мы пересчитали с Марусей всё наличие моего хозяйства и на всякий случай припрятали неожиданные излишки – несколько больших солёных рыбин, почему-то не числившихся при моём приёме. Всё как будто сходилось, кроме одеял (я их видела на стене у рабочего, да были они, наверно, кое у кого из нянек), большого куска толстой байки, из которой я сшила детям бельё сама, не считая, что обошла закон, и двух плиток чая, которыми я заплатила частным образом за сено и за валенки. На это тоже документов у меня не было.

В день сдачи я сидела над своим актом приёма и ломала себе голову – откуда я достану штуки три-четыре

простыней и, главное, штук шесть одеял. Купить их было негде, да и денег у меня еле хватало на самую скромную еду. Шкодин мне помочь ни в чем не мог, он шумно негодовал и собирался «разносить райком и исполком», если что-нибудь стрясётся. Он уже получил свои ордена и партийные документы, его хлопали по плечу, и начальство говорило ему «ты». А у меня было на душе муторно, и чувствовала я себя очень неуверенно – надеялась на гуманное начало в человеке. Ведь увидят же, что я всё истратила на благо детей, – но вот простыни и одеяла?..

Соломоново решение появилось внезапно и оказалось, как обычно, чрезвычайно простым. В моем акте приёмки упоминалось тридцать одеял без указания их длины и ширины, было ещё и несколько больших взрослых простыней, которые были указаны поштучно. Я побежала к Марусе, ей всё рассказала и назначила её дежурной, которая в шесть часов утра приходит сменить ночную. Пришли мы с ней обе в шесть, отпустили постороннюю няньку и остались вдвоём во всём доме. Повариха приходила к семи утра. Заперли все двери, занавесили окна и, вооружившись ножницами, разрезали большие суконные одеяла пополам – дети были маленькие, и их с лихвой можно было закрывать и такими. То же сделали с простынёй и, когда начался трудовой день, мирно наводили порядок.

Когда пришла к десяти часам новенькая, а с ней комиссия по приёму и передаче, я всё пересчитала, всё проверили, и мы с новенькой расписались в акте передачи и приёма. У меня отлегло от сердца. Я думала, что главное пройдено, не зная, что всё это идёт теперь к бухгалтеру, который должен всё завизировать и может опротестовать и не согласиться с актом. Теперь я одна отвечала за последующее и пошла с актами в бухгалтерию исполкома. С актом мягкого инвентаря, которого я так боялась, всё обошлось, и главный бухгалтер утвердил – подписал он и передачу мебели, посуды и т. д. А потом произошло следующее:

– Скажите, товарищ Шкодина, у меня тут есть сведения, что вы достали воз сена и набили им тюфяки. А где

разрешение председателя колхоза, что он вам это сено отпустил – и по какому расчёту?

– Это было сделано частным образом, возчика я не помню, и я ему заплатила чаем.

– А понимаете ли вы, что купили ворованное у государства сено и заплатили за него украденным у детей чаем?

Я (уже осипшим от ужаса голосом):

– Но ведь чай не продукт питательности, и дети от этого не страдали, я его заменила компотом!

– Понимаете ли вы, что ваша оплата сена чаем была спекуляцией?

– Понимаю, и готова уплатить стоимость чая в любом размере!

Далее шли тихие переговоры главбуха с бухгалтером детского дома. Слова до меня не долетали.

– А каким образом вы достали тридцать пар валенок, когда по отчёту числился рваный утиль?

Я (уже теряя почву под ногами):

– Я подшила рваные валенки другими, списанными, и таким образом получила тридцать пар годных.

– А по какому расчёту? Безналичному?

Я (уже в полном отчаянии):

– Заплатила сапожнику второй плиткой чая.

– Шкодина, такие действия обычно караются по советским законам.

Я уже ничего не слышала, оглохла. По спине снова полз холод, с трудом стояла. Пересохло во рту, и подгибались колени. Когда я взглянула в сторону нашего бухгалтера, смутно надеясь найти у него поддержку, я увидала, как он, гадко улыбаясь, склонился к столу и незаметно для других переплёл свои пальцы – решётка, тюрьма.

Дома, когда я всё это рассказала Шкодину, он бросился на мою выручку в исполком. Корил, убеждал, стыдил и просто просил не губить меня заново. Уже поздно вечером он пришёл ко мне с разрешением председателя представить документы на списание двух плиток чая, которые я должна буду оплатить, и подписи свидетелей, что дети действительно ходили в новых, сшитых мною штанишках.

Я бросилась к Архиповне просить подписать расход чая – сразу на всё она отказалась. Тогда я собрала все свои накладные и котловки за всё время работы, переписала в двух экземплярах ежедневный расход продуктов для кухни, приписав на каждом примерно по полграмма чая. Снова бросилась к ней. «А мне муж не велит, – вдруг заявила она, – какое твоё дело, говорит, пусть сама отвечает!» Тут я расплакалась, принесла ей запрятанную в кладовой лишнюю солёную рыбу, и она подписалась.

На следующий день Шкодин меня одну к бухгалтеру не пустил. Чуть что – рвался к двери, что он приведёт сюда председателя, который сам так всё решил. За чай меня заставили заплатить в десятикратном размере, помнится, двести пятьдесят рублей, то есть ради этой суммы мы буквально вывернули карманы.

Отчёты были приняты, мне разрешили уволиться и уехать. Дома я проплакала всю ночь, рук не могла поднять, до того я была измучена. Шкодин хлопотал, топил печь, достал где-то картошку и говорил, что любит меня и что никто из «этих мерзавцев» не стоит моего мизинца.

Вскоре, через несколько дней, мы уехали с Мылги.

ТЕТРАДЬ ТРИНАДЦАТАЯ

...Стояли в пору нашего отъезда сильные морозы и ветры. Единственная возможность уехать – это примоститься на верху грузовика, гружённого мороженой капустой. Ждать мы не могли, и потому я сшила себе из одеяла дополнительные длинные брюки, Дмитрию подшила внутрь обрывки старого шерстяного платка, на ноги смастерила род носков из кусочков меха. Примостилось нас человек пять в углу на капусте в непосредственной близости от брезентовой покрышки.

Кроме Дмитрия и ещё двух попутчиков-мужчин, с нами ехала молодая комсомолка, завербовавшаяся на Север, – разбитная самоуверенная девушка, которая, ничего не зная, считала, что она знает всё и безоговорочно считала всё трудным, но «правильным». Держалась она с нами просто, по-товарищески и чуть что звала меня: «Шкодина, пойдёмте, вот тут можно!» – и т. д. Я не оглядывалась и не шла сразу на зов, настолько эта фамилия меня не касалась.

Ехать пришлось бесконечно долго – два или три дня. Промёрзли мы наверху до мучительного состояния. Шофёр гнал машину и останавливался не чаще, чем каждые четыре-пять часов, а остальное время приходилось мучительно сдерживаться. Руки и ноги так немели и от холода, и от неудобного стиснутого положения, что всё время боялась, что приеду обмороженной.

Первая остановка была в Ягодной (Ягодном), там мы сперва бросились в столовую, где был кипяток и какое-то горячее хлёбово. а потом в так называемую гостиницу с железными кроватями. На них были пролёжанные трухлявые сенники, засаленные подушки и солдатские одеяла. Одна кровать, притом односпальная, полагалась на двоих. После целого дня коченения от холода

было животным блаженством сперва напиться кипятку с сухарями, а потом, освободившись от платка, пальто, валенок, расправить члены и чувствовать разливающееся по телу тепло. Там было не только тепло, но жарко и, конечно, клопы. Свалились мы с попутчицей на кровать уже не помню в какой позе и мгновенно заснули. Посреди ночи я проснулась от неудобной позы, где-то впивалась в тело железка, и неимоверно кусали клопы. Печь уже остывала, и жары не было. Но всё было лучше, чем наша мука на капусте, и я засыпала и просыпалась с мыслью, что худшее всё-таки позади.

Так ехали по трассе через тайгу ещё день, снова ночевали, если не ошибаюсь, в Атке, и на следующий день прибыли в Магадан. Совершенно не помню это наше прибытие, но только знаю, что сразу же Шкодин получил назначение в дом инвалидов в качестве директора. На следующий же день мы туда приехали на местном рабочем маленьком поезде.

От дома инвалидов до Магадана было всего восемь километров по шоссе, и в дальнейшем я проходила это расстояние обычно пешком.

Поселили нас сперва в какой-то комнате, где было очень светло, очень чисто и почти не было мебели. Пришла какая-то партийная дама, в чьём непосредственном ведении был дом инвалидов, с ней кто-то из исполкома, познакомиться с нами и ввести Шкодина в курс его обязанностей. Дама меня удивила своей приятной и вполне интеллигентной манерой разговаривать; она очень заинтересовалась моим прошлым в смысле моей специальности, места работы и жительства, наговорила мне приятных вещей, одарила улыбкой и пожатием руки и заверила, что она будет нам всячески помогать, пока мы как следует не устроимся. Сказала, что предыдущим директором все были недовольны и она надеется, что нам понравится, к тому же работа давала большие творческие возможности показать себя и была добрым делом.

Прожили мы в этой комнате, где состоялась встреча с начальством, очень недолго, так как нас скоро перевели в чистенький новый домик в стороне от помещений,

где находились инвалиды. Мы оказались обладателями маленькой отдельной квартирки, состоявшей из прихожей, маленькой кухоньки и жилой комнаты. По другую сторону дома, с отдельным выходом, жил завхоз. Домик был расположен на пологом склоне сопки, и куда ни простирался глаз, были всё те же склоны, покрытые ослепительным снегом, за которыми шла гряда самих сопок, составлявших гирлянду по всему горизонту. Деревья были редкие, зато из снега торчали целые заросли низких кустарников.

В домике было три больших окна, побелённые стены, и всё вместе, с постоянным солнечным освещением, поскольку все три окна выходили на юг, а день становился всё длиннее, создавало лёгкое радостное впечатление. Казалось, домик всё понимал и хотел нас поддержать.

С первых же дней Шкодин просто ринулся в работу, на меня легла забота о пропитании. Он обошёл всех инвалидов, со всеми поговорил и выслушал много, хотя и очень осторожных, жалоб. Нашёл всюду грязь, запустение и полное отсутствие каких-либо забот помимо формальных. Были палаты с койками, скудные завтраки, обеды и ужины, библиотека с газетами и небольшим количеством книг и репродуктором, маленькая больница с аптечкой и наконец контора, куда доставляли почту. Большинство инвалидов – поляки и с Западной Украины.

К вечеру первого же дня к нам пришёл пекарь, принёс большой каравай хорошего хлеба и какую-то солёную рыбу. Появилась и выпивка. Пекарь был татарин с неприятным и злым лицом. Когда улыбался, то просто растягивал тонкие губы, показывая щербатые зубы, и щурил глаза, а выражение лица не менялось. Каравай хлеба мы взяли (наконец-то появился хлеб, и можно было хоть раз наесться!), а потом Дмитрий расспросил: какие у них действуют нормы, как он ведёт выпечку и всем ли хватает хлеба? Тут подвыпивший повар поделился опытом: часть получаемой для инвалидов муки он меняет на белую и из неё печёт пироги и торты начальству. Помнится, Шкодин всё слушал и кивал, но помалкивал. Когда повар ушёл, он сказал, что сразу же, как только

наладит минимальное благоустройство – починит прачечную и уборные, позовёт печника прочистить дымоходы и т. д., – займётся пекарем. «Что-то с хлебом, по-моему, не так, – сказал он, – похоже, и тут обкрадывают!»

Работал Шкодин с азартом, по-моему, если и не во всём очень умело, то с хорошими результатами. Во всё вносил инициативу и хозяйский глаз. Не прошло и месяца, как он засыпал свалку всяких отбросов землёй, обнёс невысокой бревенчатой стеной, а над ней из старых рам сделал стеклянную крышу. С двух боков внутри поставил по железной печке (бочки из-под автола); трубы вывел в конёк крыши; сделал из нанесённой земли грядки на подставках, род стеллажей, чтобы тёплый воздух нагревал землю снизу; посадил лук, посеял редис и огурцы. Теплица была его детищем. Он без конца бегал её навещать, проверять температуру, нашёл среди инвалидов любителя-садовода, поставил его истопником и рабочим. Из близко стоявшей прачечной провёл шланг для поливки нагретой водой. Через месяц у нас был урожай зелёного лука и редиски.

Слух о его достижениях дошёл до начальства, и, когда они приехали к нам в одно из воскресений, все инвалиды имели к обеду пучок зелёного лука и несколько редисок. Получило свежий лук и редиску и наше начальство. Всё очень понравилось. Шкодина хвалили, желали удачи и очень советовали подогнать созревание огурцов к 1 мая – дескать, о нём напишут в местной газете. Я тоже начала вникать в жизнь дома. Делала ежедневный обход инвалидов, спрашивала, не могу ли быть полезной? Написать письмо, что-то достать или сделать. Лежачим приносила книги, читала вслух, что-нибудь рассказывала. Было их всего человек тридцать-сорок, а из них двенадцать человек готовили к отправке с первым же пароходом на материк (или, во всяком случае, в Находку), во владивостокскую больницу. Это были больные хроники с туберкулёзом, цингой и в своём большинстве плохо владевшие ногами.

Итак, Дмитрий был увлечён своей работой, всё время ремонтировал, подстраивал и всячески улучшал бытовые

условия инвалидов. Уже вскоре начал он получать жалобы на хлеб. С черным, непропечённым куском хлеба направился к пекарю и сказал, что, если хлеб не улучшится, он будет вынужден искать ему замену. Потребовал нормы выпечки с учётом припёка, высчитал, сколько хлеба приходилось на каждого едока и стал пристально следить за пекарем.

Результаты сказались мгновенно. Раньше он (пекарь) нам давал нашу порцию по хлебным карточкам, которые мы ему сдали, хорошим хлебом, да ещё немного бо́льшим весом. Теперь он «забывал» про наш хлеб, и когда я, устав ждать, приходила за ним в пекарню, он всегда давал какой-нибудь горелый кусок. «Вот, у печи угол отвалился, а ваш муж и не думает прислать рабочего...» или «Меня всё начальство уважает, а вот ваш муж...»

Ходить за хлебом мне было просто неприятно, но ходить надо было, и даже бывали случаи, когда пекарь, не выдав нам хлеба, куда-то уходил и запирал пекарню. Жена пекаря была поварихой, и взяли они нас в голодные тиски...

Когда было очень голодно и горько, надевала я на ноги лыжи и ходила по пологим склонам, любовалась на синее небо, солнце, на первозданную белизну снега. К обеду снег уже начинал оседать, прилипал к лыжам, а иногда целыми пластами ухал под ногами. Воздух был стеклянно чист и так лёгок, что, казалось, можно просто лететь.

К маю у нас действительно поспели маленькие огурчики, и мы, штук пять оставив для начальства, остальные разделили между едоками. К майскому обеду получили по пол-огурчика каждый.

Этот приезд начальства круто изменил наши отношения. Пекарь не передал каждому по торту, а угостил всех одной сдобной булкой, а Шкодин, несмотря на предыдущие намёки, разделил огурцы между больными, когда приезжие рассчитывали получить весь урожай, а не каких-то пять огурцов. Придирчиво походили по помещениям, сухо разговаривали со Шкодиным, ходили к пекарю и там наслушались жалоб. Уходя, «дама»

милостиво пошутила: «Так всё хорошо началось, а потом, видите, Шкодин неожиданно нашкодил...» И отбыла.

Мы начали готовиться к отъезду. Шкодин ходил в Дальстрой со всеми своими документами и подал заявление об увольнении. Сразу уезжать ему не разрешили, надо было ждать замену, то есть начала навигации. Что касается меня, то мне разрешили сопутствовать первой партии инвалидов, отправляющихся на материк, и за это я получала даровой проезд на пароходе до Находки. До этого я должна была привести в порядок библиотеку, проверить запасы мягкого инвентаря.

Себе же я должна была вырвать и вставить зубы, так как не хотелось ехать на материк в неряшливом виде. Нашла я в Магадане свою знакомую по лагерю – Баю Скутельскую, которая вышла замуж за хорошего человека, тоже инженера. Они жили уже своим домом в хорошей комнате. У Баи нашёлся знакомый врач-протезист (тоже из бывших зэка́), который мне всё хорошо сделал. Пока я занималась зубами, приходилось ходить из дома инвалидов восемь километров в Магадан. Там на одном из стендов о высшем образовании в СССР я неожиданно увидала страницу журнала, на которой мой Серёжа – живой, родной Серёжа – что-то вычисляет на доске и вполоборота объясняет студентам. У меня дыхание перехватило от радости. Жив!

И стала я ходить в Магадан, каждый раз подолгу простаивая перед стендом, всматриваясь, узнавая и каждый раз заново унося виденное в своём сердце...

Магадан к тому времени неузнаваемо изменился. В 1938 году стояли в большинстве случаев палатки, сконцентрированные в разных местах. К ним были проложены тротуары из досок, вокруг них было разбито подобие палисадников с редкими кустиками и довольно жалкими посадками цветов – ромашки, ноготки и низкорослые мальвы. Почва вокруг посадок утрамбована и кое-где посыпана песком. В самом городе я мало бывала – нас не пускали, но пока мы его проезжали, запомнились два-три трёхэтажных деревянных дома – больница, гостиница и какие-то конторы, где помещалось главное

учреждение Магадана и всей Колымы, то есть Дальстрой, бывший в полном подчинении и фактически являвшийся филиалом НКВД. Кажется, были ещё одно- и двухэтажные бараки для вольнонаёмных.

Теперь, в 1947 году, это был хорошо спланированный город, весь покрытый сеткой строек. Правда, кранов и современных строительных машин было маловато, но всюду строились кирпичные двух- и трёхэтажные дома, обычно руками военнопленных японцев.

Японцы занимали бараки на окраине города, их приводили под конвоем – они расходились по объектам, где многие работы производились вручную. Усаживались отдыхать на перекуре, заговаривали на разных языках с прохожими и чувствовали себя довольно непринуждённо. Одеты были по-рабочему в разномастные телогрейки и брюки, но выглядели аккуратно, истощённых и изнурённых лиц не помню. Режим был не строгий, и настроение у всех было приподнятое, так как в то время уже велись переговоры о передаче японцев на их Родину, и японцы ждали своей отправки. Работали они аккуратно, спокойно, без видимого напряжения, но и без простоев.

В городе уже были построены каменные и кирпичные дома не выше четырёх этажей. Появились школы, заводы, учреждения и даже маленький ладный театр с полукруглым портиком и колоннами. Бая с Мишей жили на третьем этаже такого нового дома, у них была уже ванна, паровое отопление, кухня с газом и некоторое благоустройство. Правда, всё имело недоделки и производило впечатление некоторой небрежности и непродуманности. Всюду недостаточно плотно закрывались двери, плохо настланы полы; для магаданской зимы были недостаточно толстые и глухие рамы на окнах; внизу лестницы обычно не закрывалась дверь, и по лестнице гулял ветер. Часто портились колонки, отказывало отопление, вода и газ подавались с перебоями. Дома строились наспех, нужда была в них большая, а даровые руки, то есть японцы, вот-вот должны были уехать восвояси. Здания внешне производили лучшее впечатление, чем оказывались внутри.

Разбили цветники и даже городской сад под традиционной аркой, приглашавшей «пожаловать». Как-то он громко назывался, не то чьим-то именем, не то наименовался «парком культуры», но был он пока что большим ровным очищенным пространством с дорожками, небольшими лужайками, засеянными газоном и только что высаженными тощенькими саженцами деревьев. Не помню, были ли автобусы, кажется, нет, весь город можно было пройти пешком в тридцать-сорок минут. Улицы, за небольшим исключением, все завершались вырисовывавшимися и казавшимися близкими сопками. В центре города находился первый гастроном по повышенным ценам (коммерческим, какие были и в Москве), куда пускали только чисто и хорошо одетых людей, в телогрейках и лагерных брюках вход запрещался.

Неслись из открытых дверей давно забытые запахи колбас, копчёностей, и был этот магазин олицетворением иной, нам недоступной, сытой, добротной жизни.

А по воскресеньям на огороженном голом пространстве располагался рынок, где продавали караваи чёрного хлеба по сто двадцать пять рублей за буханку, квашеную капусту, солёную рыбу и всевозможные носильные вещи.

Порт отстоял от города на три-четыре километра, и доступ к нему был запрещён, был там пограничный кордон со стрелками и сторожевыми овчарками.

Кроме Баи встретила я в один из своих приходов в город Ниночку Луговскую, младшую из сестёр, которая уже стала взрослой, вышла замуж за начинающего художника и работала декоратором в театре. Пригласили нас с Дмитрием в гости Бая с Мишей. Там у них я встретила Перновскую, которая мне стоила столько крови. Встретились мы довольно сухо, и не похоже было, чтобы она помнила, как я её спасала от дистрофии и ночью по тайге носила сухари и манку. Была, кажется, и Вильма, с которой мы когда-то чистили в холодную осень турнепс и репу и вели бесконечные разговоры о книгах. Было в гостях всё уже по-настоящему. Чем-то домашним кормили, были хлеб, масло и даже какая-то выпивка. Так от всего

этого отвыкла, что даже чувствовала себя неуверенно, к тому же не хотелось показывать, что мы, собственно, всё ещё голодали. Дмитрий всем не понравился, и общее мнение сложилось, что он мне не пара.

В ответ на наш визит приехали к нам в гости на «7-й километр» и Бая с Мишей. Единственное, чем мы могли их развлечь, – это приехать за ними в город в директорских санках и немного покатать. Угощать их было почти нечем, хотя я очень старалась.

Теперь Бая с Мишей живут в Риге, я у них гостила, они бывали у меня тоже. Встречаемся мы очень сердечно, и я всегда бываю очень рада чем-нибудь их побаловать. Увы, они очень больные люди, хотя и моложе меня. Север съел их силы, у Баи тяжёлая форма астмы, Миша перенёс тяжелейшую операцию – вырезали ему половину желудка. Постоянно болеют и попадают в больницы.

Как только выяснилось, что мы оба можем уехать, я как сопровождающая инвалидов, а Дмитрий после сдачи дел заместителю, мы начали собираться в дорогу. Привезли мы с Мылги, где осенью успели нашинковать, целую бочку капусты. Это был наш капитал, если не считать ещё по небольшому мешочку табака-самосада у каждого. Весной в Магадане не было никаких овощей. Шкодин, появившись на рынке со своей бочкой, вызвал заметное оживление. Начал продавать капусту мисками. Пока он был один, торговля шла очень успешно, но потом появились с капустой ещё две-три женщины, и стали у него меньше брать. Быстро посоветовавшись друг с другом, мы решили сбавить цену и продавать капусту дешевле вновь пришедших. Те, кляня нас, сбавили тоже, но мы сократили ещё, и к нам стали бойко подходить. Последнему покупателю мы даже продали за полцены самую бочку. Конечно, мы выручили много меньше, чем надо было, и ушли домой очень довольные, под потоком ругани и угроз остающихся продавщиц. Продали мы и табак и, придя домой, разделили наш капитал поровну.

Теперь можно было ехать домой, не боясь умереть по дороге с голоду, так как государство освобождённым да-

вало паёк хлеба и селёдку из расчёта нормального поездного расписания Владивосток – Москва – шесть дней. Но ехали мы эшелонами, а не пассажирскими поездами, на которые обычно не было денег, и вообще не было посадок, настолько они были перегружены. Эшелон же шёл от Владивостока до Москвы не менее месяца.

Одета я была для поездки прилично. Были у меня американские военные сапожки (по ноге, коричневые), ещё перештопанное своё бельё, кем-то подаренное шерстяное платье, своя, ещё московская зелёная юбка, джемпер и многострадальная и всё выдержавшая шуба из цигейки. Уцелела ещё меховая шапка. Вещей у меня собралось по мелочи целый деревянный сундучок, в крышке которого была моя гордость – подробная карта Сибири и моего пути домой.

Забыла написать, почему мы были в таком трудном положении в доме инвалидов. Дело в том, что Шкодин как директор получил продуктовую карточку, которую сдал поварихе, так как в городе всё равно по ней не мог ничего получить, я же просто не имела ничего. Когда я отправилась в отдел по выдаче карточек, чтобы получить хоть какую-нибудь, меня послали в Дальстрой к начальнику кадров. Учреждение это помещалось в хорошем доме, были обтянутые дорожками коридоры, приёмные с фикусами на окнах, кабинеты с мягкой мебелью. Выдали пропуск, потом долго промучили ожиданием. Когда наконец попала на приём, вежливо встретили, усадили в кресло, выслушали и сказали, что карточку продуктовую не выдадут, так как по своему возрасту и образованию я должна работать, а выезда из Колымы нет.

Начальник вышел в соседний кабинет, а потом вернулся, неся в руках целый список незанятых вакансий по Колыме и типографски отпечатанный договор. Мне предлагали быть директором школы с договором на три года, после чего ставка повышалась; мне предлагали быть заведующей учебной частью какого-то производственно-учебного комбината; предлагали ещё что-то, и на всё надо было сразу подписать договор, после чего выдавали аванс и продуктовую карточку.

Пришла я домой, обо всём рассказала Шкодину, и тот поддержал меня в моем решении – голодать, но не работать и добиваться отправки с инвалидами на материк.

Вот потому-то, да ещё из-за козней пекаря и поварихи, мы так голодали. У нас ничего не было, мы ничего не получали, а выменивали на рынке последнее на хлеб. К счастью, никто не рвался сопровождать, да ещё даром, инвалидов, и потому сравнительно легко меня оформили сопровождающей. Последний шок я получила при оформлении билетов на пароход.

Мне сказали, что с моим паспортом мне запрещено ехать в Москву, Ленинград, областные столицы и т. д., о чём я писала, но худшее было впереди. Сверившись с моим делом, сотрудник вытащил какой-то перечень городов и сказал, что, если я хочу ехать в европейскую часть страны, то мне выдадут проездной документ до села Алексеевка Куйбышевской области, «где вы можете, – добавил он, – совершенно свободно устраиваться на дальнейшую жизнь».

Ну, тут у меня хватило ума промолчать, взять паспорт, проездной литер и впервые за все эти годы подумать: «Поеду только в Москву, а если не пустят – покончу с собой...»

Шкодин оформлял инвалидов, и я его не видела.

ТЕТРАДЬ ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Когда все собрались и началась посадка на уже стоящий у пирса пароход, поднялся настоящий буран с ветром и хлопьями снега. Трудно было что-то увидеть вдали. Оказалось, что при посадке людей по одному пропускают через контроль энкавэдэшников с конвоирами и собаками на поводках. Осматривали документы, сверяли фотографии, что-то отмечали у себя. Поскольку мы уже простились дома со Шкодиным, обо всём, кроме Алексеевки, которая была совершенной неожиданностью, переговорили, я уже при таких строгостях не надеялась на новую встречу. После проверки пошли мы по пирсу до длинного трапа на пароход, впереди ковыляющие инвалиды, а за ними я. В начале трапа снова стояли конвоиры с собаками и снова всех считали, сверяли, отмечали. Пурга немного стихла, и я увидела позади парохода небольшой кусок свинцовой тёмной холодной воды с плавающими на ней мелкими льдинами. Было начало мая, и море ещё не очистилось ото льда.

Провели нас сразу в трюм и усадили на вторых нарах. Не помню, был ли кто-нибудь на первых.

Я устроилась с краю, загородившись от соседа, поскольку нары были сплошные, своим деревянным чемоданом. Дверь в трюм не закрыли, и поэтому было светло. Скоро я услышала крики «Стой!», какой-то шум и выстрел в воздух. Затем послышалась какая-то толкотня при входе, появился красный, запыхавшийся Дмитрий и бросился ко мне. Оказывается, его не пропустили на пароход, заставили бегать получать разрешение в Дальстрой (три километра в город!), потом бежать обратно. Поскольку посадка уже кончалась и дали первый гудок, он просто прорвался мимо конвоиров с собаками на пароход, невзирая на крики и выстрелы в воздух.

Тут-то я ему рассказала про Алексеевку, и он, обнимая меня, говорил, что приедет ко мне в любое место Союза, что он – хороший хозяин, что можно жить и в Алексеевке, лишь бы найти Юру. Говорил, что я сама увижу в дальнейшем, что нет у меня больше мужа, и он через месяц приедет за мной. Говорил всё это так, глядя в глаза и с такой убеждённой страстностью, что я подумала, что вот такой, действительно, может, пожалуй, поехать куда угодно.

Выйти на палубу и ещё раз помахать Шкодину я уже не решилась: трудно было вылезать, да и оставлять чемодан без всякого присмотра, памятуя о том, сколько раз меня обкрадывали. Нервы были так натянуты, что при новом прощании неминуемо пустилась бы в слёзы.

Когда я вышла через некоторое время осмотреть пароход, Магадан уже был узенькой полоской на горизонте, а кругом расстилалось свинцовое, тяжёлое, мрачное море. Начиналось волнение, которое я всегда плохо переношу.

Забегу немного вперёд. По приезде в Москву, приблизительно через две-три недели, я поехала на поиски Юры. Мать Шкодина и сестра жили в колхозе. Брат Шкодина отбывал наказание в Норильске. У меня был адрес тётки Дмитрия, где-то около Вереи, и с неё надо было начинать. По дошедшим до Дмитрия смутным сведениям, чужой женщине, соседке, пригревшей мальчика, надоело с ним возиться, и она отвезла его к бабушке. Мать и сестра Шкодина были малограмотны и сами никакой переписки не вели.

В 1947 году не было регулярного, хорошо налаженного транспорта, и я после поезда, прождав долгое время, попала в разбитый, ободранный местный автобус.

Верея – прелестный провинциальный город со старинной церковью, несколькими мощёными улицами и маленькими каменными домами в центре и деревянными по окраинам. Место было чрезвычайно живописным, с лесом, рощами, старыми липовыми аллеями. Вдоль шоссе то появлялась из-за кустов, а то вновь исчезала

небольшая речка. Были на ней маленькие перекаты и бочажки, а также деревянные мостики.

Осматривать и насладиться природой я не могла, предстояло ещё много ходить и искать, в ночлеге я была совершенно не уверена, и потому обязательно хотела к ночи вернуться в Москву.

Тётка с семьёй жила довольно близко. Дом был добротный, с занавесочками, фикусами, дорожкой, с фотографиями на стенах и горкой подушек на постели под вязаным покрывалом. Идеал мещанского уюта! Книг не было нигде.

Тётка приняла меня довольно подозрительно. У меня тогда не было ничего своего, я ходила в платье и пальто моей племянницы и ничем не выделялась. Узнав, что я от Шкодина и ищу его сына, просто набросилась на меня с целым потоком обвинений по адресу Дмитрия: что он такой-сякой, бросил сына, не содержит голодающую мать и т. д. Когда я ухитрилась в первую же паузу втиснуть, что он ведь был в заключении, далеко на севере и сам голодал, то получила в ответ новой поток неприятных слов, сводившихся к одному – так ему и надо! Ничего слушать и узнавать тётка не хотела, и я, спросив адрес матери, решила пойти туда пешком, так как было, кажется, не больше восьми–десяти километров.

Мне надо было обрести спокойствие после такого ушата неприязни и – кто знает – приготовиться к новому, возможно, худшему...

Просёлочная дорога, на которую меня направили прохожие, была обсажена старыми вязами, и в просветах между ними вырисовывались на горизонте небольшие деревушки, церковки, купы деревьев, лес и луга. Ни фабрик, ни заводов я не видела, и от всего веяло патриархальным старым бытом, если не считать того, что церкви были с покосившимися крестами и поломанной оградой. Попадались полуразрушенные здания, земля ещё носила на себе следы войны. В заросших крапивой и бурьяном канавах угадывались траншеи.

Но всё, казалось, настраивалось на мирную жизнь, а безлюдье и тишина навевали покой. Уже на подступах к небольшой, неказистой деревушке я обратила

внимание на двух босоногих мальчишек, которые быстро шли по дороге и о чем-то разговаривали. Один из них – сероглазый, с белобрысым, выгоревшим от солнца чубчиком – привлёк моё внимание.

– А ну, подойди-ка сюда! – крикнула ему я.

– Это кто? Я-то? – спросил он и в недоумении подошёл ко мне.

– Вот, кто это? – спросила я, протягивая ему маленькую карточку Дмитрия, которую захватила с собой. – Узнаешь?

Он весь просиял.

– Папка-а! – вырвал у меня карточку и бросился сперва к товарищу. – Это мой папка, живой! – а затем в ближайшую избу.

Спрашивать что-либо уже не имело смысла, и я пошла за ним в дом. Хата была очень бедная, почти пустая, если не считать двух кроватей, покрытых ситцевыми штукованными одеялами за занавеской, да небольшого стенного шкафчика. Из-за занавески вышла старуха, опираясь на голову внука, и подошла ко мне, пристально меня разглядывая.

– Вы от Дмитрия?

Я кивнула.

– А вы кто ему будете? Женой?

Я снова кивнула.

И тут Юрка с воплем: «Папка сейчас приедет!» – ринулся на улицу, а я тоже разглядела старуху. Копия Дмитрия, только старее и хуже, но глаза те же.

Тем временем Юрка привёл с работы, взбудоражив весь колхоз, свою тётку, сестру Дмитрия. Он мне рассказывал: «Ещё есть у меня младшая сестра, простая, совсем дурочка, и не захотела после четвёртого класса учиться».

Ну, тут меня сразу посадили за стол, скоро появилась яичница, хлеб, молоко. Мать и сестра ни до чего не дотронулись, сели напротив разглядывать и спрашивать. В окна тем временем стали нырять одна за другой ребячьи головы. «Это к Юрке, городская, прямо из Москвы», – и подробности возбуждённым шёпотом уже за пределами окна.

Всё, что можно было, рассказала, мать немного всплакнула, а сестра не выказывала ничего, кроме любопытства.

– Вы уж возьмите его, – просила старуха, – парня учить надобно, а мне уж не под силу!

Я обещала взять как только устроюсь, а до этого времени просила подержать его в деревне. Сестре я объяснила, что пришлю тогда телеграмму, она соберёт Юрины вещи и привезёт его в Москву. Уже начало смеркаться, и оставаться ночевать в этой избе (где? на скамейке?) мне не хотелось. Получив десяток яиц и немного творогу как гостинец, я пошагала обратно. Меня никто не провожал. В избу в это время уже набилось много любопытствующих, и я спокойно ушла по уже знакомой дороге.

На последний автобус в Верее я опоздала и, проголосовав, поехала на попутном грузовике, вспоминая и осмысливая всё виденное.

Внешне мальчик был очень привлекателен – такой сероглазый крепенький грибок. Но потом оказалось, что он малоспособный к ученью, враль и привычный воришка. Бабушка подучивала его тихонько всё воровать с колхозных полей, да и вообще – что плохо лежит, так как жили они впроголодь.

Сестра привезла Юру по моему вызову в квартиру к моей сестре, откуда я его взяла к себе в Рязань, где получила работу по специальности. Оглядев квартиру, эта Юрина тётка быстро начала себе просить полушалок на голову, ботинки и т. д., решив, что, вот, появилась новая жена Дмитрия, богатая учёная москвичка, и что не стоит упускать случая. Помнится, даже заявила, что не найдёт дорогу обратно и категорически просила меня проводить до вокзала. Я, почуяв недоброе, дала денег на дорогу, сказала, что квартира не моя, а сестры, что я пока без работы, ничего покупать не могу, а там видно будет. «А обратно уедешь так же, как приехала – не потеряешься!» – посадила на автобус и ушла домой.

Беды я с Юрой хлебнула предостаточно. Учился он плохо, обманывал, жулил. Оставлять его одного после школы в нашем преподавательском общежитии было

просто опасно. Пробовала запирать – он выбрасывал из окна пайковый горох и крупу – кормил ворон. Оставлять на свободе – он рисовал на стенах углем свастику, по поводу которой меня вызывали в спецчасть или партком. Тогда я отвела его к одной милейшей полуслепой учительнице, прося её делать с ним уроки, читать ему вслух и объяснять. Сама я была занята с утра до вечера в институте, на мне было всё хозяйство, а по вечерам я ходила на занятия в институт марксизма-ленинизма.

У этой доброй, хорошей старушки Юра стащил кошелёк с небольшим количеством денег. Когда я, отнеся кошелёк обратно с тысячью извинений, начала ему объяснять, как это гадко и стыдно, Юра, спокойно всё выслушав, сказал: «Мама, так ведь она ничего не видит!» Этим он, очевидно, вполне себя оправдывал. Тут уж я просто не знала, как быть...

Пока ещё не очень качало, улеглась я рядом со своим чемоданом, огляделась. За мной устроились все мои инвалиды, из которых один очень плохо себя чувствовал. Надеялась на то, что они все отлежатся и придут в себя. В душе и в мыслях был сплошной сумбур, и очень хотелось многое продумать и на многое найти ответ.

Об Алексеевке я просто не думала – ехала в Москву, а там будет виднее. Не могла без слёз думать о нашем прощании с Дмитрием. Что он за человек? Первый порыв – помочь другому в беде; щедрый и не ленивый, когда надо чего-то добиться, сделать своими руками. Всегда на страже слабых – не давать их обкрадывать, угнетать. Чутьём разбиравшийся в политике и сложных ситуациях – никогда ничего, кроме газет, не читая и оставаясь полным невеждой. Но... как мог человек взять с собой казённые занавески из клуба и не особенно смутиться, когда это было обнаружено? Забрать чужие оленьи шкуры? Где правда в его словах, где ложь?

Почему (как потом оказалось в Рязани) десантник боится вылезти на подоконник третьего этажа, чтобы вымыть стекла? Когда я, боящаяся высоты, всегда это делала? Не странно ли, что при всех присланных орденах

и медалях и разных бумагах никогда не упоминались те командные посты, о которых он с жаром рассказывал? Как он мог быть студентом сельскохозяйственного института, если на запрос Воронежский институт вернул заявление, написав, что вряд ли человек, лишённый элементарной грамотности, мог когда-либо числиться студентом? А ведь работал потом на молочном заводе, был мастером в производстве сыров и имел похвальные грамоты!

В дальнейшем, в Рязани я писала всё за него, так как он не только был безграмотен, но не всегда умел делить речь на слова и часто писал предлоги, наречия и местоимения в одно слово!

Как мог человек скрупулёзной честности в отношении инвалидных пайков с лёгкостью брать государственное? В последнем я воочию убедилась в Рязани, где мы жили вместе около года и где Шкодин, устроившись снова на молзавод, привозил из командировок целые сыры, бидоны со сметаной и т. д., утверждая, чему я вначале верила, что он это покупает в районе «по себестоимости». Время было очень голодное, и я этим творогом и сметаной очень многих поддерживала.

Верила до той поры, пока в одной из таких командировок он, взяв мой чемодан, где-то наполнил его сыром, маслом, творогом, а потом, узнав, что он на подозрении, спрятал этот чемодан в дровах на задах деревни и вышел на станцию железной дороги, где его поджидали. Вышел с пустым портфелем и благополучно добрался до меня. С людьми он всюду делился, и его никто не выдал, а могли бы.

Тут уж у меня открылись глаза, и я категорически ему запретила что-то брать, пригрозив, что я молчать не буду и приму меры.

Чемодан так и остался где-то в дровах – воображаю, как были поражены его нашедшие! И больше Шкодин такого не делал, так как перепугался.

Как, беря с такой лёгкостью чужое, он так избил Юрку, когда узнал о краже кошелька у слепой учительницы, что я образумила его только тем, что, укрыв собой Юрку,

подставила свою спину?! Он был готов его просто убить, а потом, повредив ему ногу, беспрекословно тащил мальчика на руках в детскую больницу и урезывал себя в самом необходимом, чтобы носить ему передачи.

Конечно, всего этого тогда, лёжа на нарах качающегося парохода, я ещё не знала, но верить ни в Шкодина, ни Шкодину полностью не могла. Всё это ещё было впереди.

А сейчас было свинцовое море, ветер, шквалы дождя и снега такой силы, что выйти из трюма и не слететь при этом с трапа было невозможно. Не знаю, как я ходила в туалет, помню только, что уже на вторые сутки мы все перестали есть, от всего мутило. В трюме был спёртый воздух, и всё время гасли лампочки. Шторм уже был настоящий – восемь-десять баллов, и нары то вздымались кверху, и мы, уже не сопротивляясь, скатывались друг на друга, ушибаясь о летящие вслед за нами самодельные ящики и чемоданы с пожитками. Как только пароход немного выправлялся, мы скатывались обратно. Всё пространство нар почти не имело горизонтальных подпорок или столбиков, все они были под нами и служили зарубками для ног, так что можно было или слезть с нар вообще и где-нибудь примоститься на грязном полу, или вот так мотаться наверху.

На четвёртые сутки уже никто не вставал и только изредка просил пить. Все были измучены, истерзаны и избиты. Всё время мутило, и страстно, почти бредово хотелось только одного – чтобы остановилось это скольжение, тряска, это мерное поскрипывание каких-то частей и приглушённый шум катающихся предметов. Что происходило снаружи – я не знала, нас задраили, и выйти было нельзя, да и интереса не было ни к чему. Спать было нельзя, и в таком полузабытьи мы катались и скользили, отупевшие, полуживые...

И вдруг всё затихло! Мы ещё лежали, безучастные и обессиленные, как кто-то открыл люк, и потянуло чудным, свежим воздухом. Первое, что сделали все, – это блаженно заснули, торопясь урвать хоть сколько-нибудь сна на тот случай, если качка возобновится. Но качки не было, и, немного проспав и чуть оживившись,

я взглянула на палубу. Контраст в окружающем мире с тем, откуда мы выехали, был поразительный! Снега не было и в помине. Было солнце и яркое голубое небо. Море тихо плескалось о борта парохода, на горизонте под розовато-белой дымкой угадывался берег.

Пароход драили, мыли чисто одетые матросы – у многих на ногах были японские тростниковые шлёпанцы с ремешком и отдельной ячейкой для большого пальца. Охотское море кончилось, мы вошли в Татарский пролив.

Робко и неуверенно я прошлась по всему пароходу – меня никто не останавливал. На мне не было ничего лагерного, и потому, немного осмелев, я прошла ещё выше и – о счастье! – наткнулась на пустую женскую умывальню, да ещё с действующим краном, да ещё с мылом и зеркалом! Заперлась и вымылась хоть частями, но вся, боясь только одного, что начнут барабанить в дверь пассажирки! Но всё прошло хорошо, пассажиров было вообще очень мало. Май – период штормов на Охотском, и в это время старались не ездить.

Вымывшись и причесавшись, я себя почувствовала совершенно новым человеком. Нашла в салоне подробную карту и с жадностью её изучала, прошлась по коридорчику, заглянула в библиотеку, музыкальный салон. Повсюду никого не было. Тогда я вошла на солнечную сторону палубы, где и оказались почти все пассажира I и II классов, нашла свободный шезлонг и очень неуверенно в нём уселась. Через минуту я уже блаженно вытянула ноги, подставляя лицо чудному, почти забытому солнцу!

Пролив начал сужаться. Над нами с криком носились чайки, с берега веял мягкий, нежный ветерок, ласково перебиравший волосы. На самом берегу, вдоль воды, целыми вереницами тянулись, как в хороводе, окутанные нежно-розовой пеленой деревья. Цвели вишни. Всё было таким невероятным счастьем, я испытывала такую радость, что не могла убрать с лица глупую блаженную улыбку...

И вдруг – нас догоняют на маленьком морском катере; крики, шум, беготня на палубе и... стрельба. В первый момент меня обуял ужас. Что это? Япония рядом,

стрельба, может быть, снова война? Но когда с капитанского мостика догонявшего нас катера понеслась солёная, морская, чисто русская речь, я пошла узнавать – в чём дело. Оказывается, мы были в пограничной зоне, чуть-чуть отклонились от курса, и нас проверяли. Катер подъехал, ему спустили трап, по которому деловито и очень ловко поднялся на палубу, а потом на капитанский мостик, какой-то чин. Мы затормозили и мирно поплескались с катером бок о бок. Если не ошибаюсь, то после выяснения дела на мостике тоже заплескался... коньяк.

Потом катерок отбыл, а мы пошли своим курсом. В туманной дымке совсем близко проплывала загадочная Япония. Показывали – где в ясную погоду хорошо видна Фудзияма.

В своём новом состоянии я как-то забыла, что я – «сопровождающая» (хотя все документы всё время были при мне), и с отвращением заглянула в свой трюм. Многие из моих инвалидов тоже помылись и приободрились, но не особенно разгуливали по палубе. Они все, бедные, были в лагерных телогрейках, и доступ им в I и II классы был запрещён. Кое с кем я разговорилась, узнала кто они, куда едут. Многие должны были пересечь всю страну и ехать на запад Украины. Один из инвалидов всё лежал, почти не отвечая, и когда оказалось, что качка позади, а впереди чудный весенний солнечный день и можно подышать на палубе воздухом, – о нём как-то забыли. Так было хорошо, чисто, так радостно дышалось, что совсем незаметно прошли мимо Сахалина, потом мелькнула неясным очертанием Япония, и когда стали подходить к Находке, все очнулись от своей радостной передышки, начали собирать пожитки, снова волноваться, бояться будущего.

Что мы пристанем просто к крутому берегу, а не к причалу – мне и в голову не приходило. Когда с борта спустили на землю прогибающийся и пружинистый трап, и я взглянула вниз – мне стало плохо. На берегу уже ждала санитарная машина, и нас выстроили у трапа. Я совсем не могла по нему пойти, подкашивались ноги,

и всё вертелось перед глазами. Меня схватил поперёк туловища какой-то матрос, передал следующему, и так понемногу, с чужой помощью, меня доставили на землю. Когда я сошла с трапа, я встала на колени, трясущейся рукой щупала под собой милую, тёплую, родную землю. Расплакалась. «Боже мой, жива – и на Родине!»

К моему глубокому сожалению, наш трудный переезд не прошёл гладко. Двенадцать моих инвалидов кое-как спустили по трапу, а тринадцатого вынесли, уже закрытого простыней. Бедняга не перенёс шторма, а возможно, его и отправили как безнадёжного, почти умирающего, чтобы не возиться с последствиями. Те, которые держались на ногах, были в таком плачевном состоянии, что их тотчас забрала санитарная машина, чтобы отвезти в больницу. У меня проверили и забрали документы инвалидов, спросили, не нужна ли мне медицинская помощь, а услышав отрицательный ответ, сказали, что моя функция сопровождающей (добровольно) инвалидов на этом кончается и я могу считать себя свободной. Направили в контору, занимавшуюся делами освобождённых, где мне предстояло получить документ – литер на право бесплатного проезда – и немного продуктов на дорогу.

Как я уже писала, получила я большой каравай чёрного хлеба, несколько селёдок и горсточку подушечек вместо сахара. Совершенно не помню – где и как я ночевала. Немного жалела, что нас не доставили во Владивосток, по слухам, чудный город, да ещё на океанском заливе, по которому я бы обязательно побродила. Находка была перевалочной базой для людей и снабжения, плохо организованным, грязным, небрежно застроенным портом.

Что со своим литером я не могу ехать в пассажирском поезде – я скоро узнала; поезда ходили редко и были переполнены. Для нас формировался специальный поезд, в шутку прозванный «500-веселый», состоящий из длинной вереницы теплушек, идущий вне всякого расписания. Он мог часто останавливаться или далеко от станции, или просто в поле, ожидая, когда диспетчер даст зелёный путь. Отходить от него было опасно, а отстать – означало рисковать жизнью.

Так мы все ходили по нескольку раз в день на запасные пути узнавать – не сформирован ли поезд и когда будет посадка. Помню, была где-то столовая, куда мы ходили есть полусуп-полукашу без хлеба, так как нам его уже выдали на дорогу, и пить подкрашенный фруктовым чаем кипяток. Хлеб, конечно, таял, а нового не предвиделось. Меня это не очень пугало, так как я имела при себе немного махорки и какую-то сумму денег. Сейчас не помню – сколько это было, но я рассчитала, что должно хватить на месяц с покупкой еды по рыночным ценам. В расчёте я не ошиблась, ехали мы действительно около месяца, и я не голодала.

Когда, наконец, подали поезд и была объявлена посадка, нам разрешили: «Садитесь кто куда хочет, как поезд наполнится, мы и поедем». Эта конкретность часа отправки меня заставила улыбнуться, да и вообще всё стало каким-то новым, дружелюбным, как будто мы все стали персонажами хорошей детской книжки с позиции коммунизма. Я впервые в жизни была свидетельницей того, как все помогали друг другу, делились и морально поддерживали. Залезть самой в вагон было невозможно. Нижняя – и единственная – ступенька товарного вагона высилась над насыпью на высоте груди. У меня приняли чемодан и сумку, потом чьи-то руки протянули наверх меня самоё. Ранее устроившийся на верхних нарах у маленького оконца человек отодвинулся и дал мне место у самого окна, за что я ему была благодарна всё время пути.

Когда расселись и огляделись, я увидела человек шесть моих инвалидов на нижних нарах (остальных как очень слабых оставили в больнице). Напротив, в углу, ехали отбывшие наказание несколько уголовников, за ними у окна примостилась пожилая проститутка. Не помню, кто был на нашей стороне, кроме моего непосредственного соседа, оказавшегося то ли водителем, то ли механиком с дальнего строительства на Чукотке и возвращавшегося (очевидно, с деньгами) домой. С ним мы вели бесконечные разговоры «за жизнь вообще», и он много рассказывал о Чукотке.

Вагон не был переполнен, все ехали в разных направлениях уже после Сибири, а пока что расспрашивали друг друга, откуда прибыли, и очень интересовались семейным положением – есть ли мать, муж, где дети. О сроках, наказаниях и лагерях упоминалось очень вскользь, никто не проявлял бестактного любопытства. В дальнейшем вагон наполнялся новыми людьми, я уже перестала ими интересоваться. Кто-то на всех остановках дубасил кулаком в дверь и просил: «Пустите, братцы!» Пришлось добыть где-то на стоянке досок и сделать из них и ящиков скамейки. Когда и на них сели пассажиры, мой сосед предложил выбрать из нашей среды старосту вагона, чтобы следить за порядком и впускать в вагон только по строгому выбору.

Наконец мы поехали. Мелькнули дома Владивостока, потом кусок дивного солнечного песчаного пляжа с неправдоподобными чистыми, сытыми, загорелыми людьми – ещё не купались! Проехали ещё несколько предместий и встали. Так, собственно, мы и стали продвигаться: ехать довольно быстро, но неизвестно сколько времени, а потом стоять. Стоянки могли быть по нескольку минут, а могли быть и часовыми, так что по молчаливой договорённости люди выпрыгивали из вагона, тут же рядом, не глядя друг на друга, совершали свои дела, иногда ухитрялись в чём-то помыть руки, а потом мужчины втягивали женщин обратно. Я не помню по этому поводу никаких вульгарных грубых шуток, всё было по-товарищески и очень просто.

Конечно, были и курьёзы. Поднимали обратно в вагон людей со спущенными штанами – смеялись, а однажды один из наших пассажиров, выскочивший по экстренной нужде, чуть не отстал вообще, так как он выскочил не на стоянке, а в тот момент, когда поезд затормозил на стыках и, не останавливаясь, пошёл дальше. Мы все в ужасе смотрели, как несчастный, держа в руках штаны, что-то отчаянно кричал, бежал за поездом. А поезд тем временем всё ускорял ход, и тогда наш староста вылез из вагона и, цепляясь за наружные стены и поручни, долез до площадки, где был запасной тормоз,

дёрнул рукоятку и остановил поезд. Все замерли – что будет дальше? А дальше было то, что кто-то из поездной бригады добежал до нас узнать, в чем дело. Староста немного изменил ситуацию, сказав, что человек нечаянно сорвался и грозил попасть под поезд. Наслушались мы сочной нецензурной ругани, и на том всё и кончилось. Поезд вздрогнул, заскрипел тормозом и мирно побрёл дальше.

Я лежала у самого окошка, наслаждалась воздухом и природой. Была весна, всюду проглядывала новая травка, деревья стояли с набухшими почками и даже попадались заросли цветущей черёмухи. Мы ведь пересекали всю страну! Уже ближе к Уралу проезжали около Барабинска по целым залитым пространствам, с бесчисленным количеством озёр и озерков, где в кустах что-то крякало, возилось, пищало. А однажды поезд шёл почти целый день, как по плотине – слева и справа были бескрайние пространства воды, ивы стояли по уши в воде, то есть по самые макушки, кругом не было ничего сухого, ни одного местечка, где мог бы стоять человек. В иных местах этого половодья казалось, что поезд грудью рассекает воду...

Когда было особенно красиво, мы настежь открывали дверь вагона, некоторые садились на пороге и спускали вниз ноги, другие сидели на доске и ящиках или просто на полу. Затягивали длинные жалостливые старинные русские песни или пели блатные. Я не трогалась со своего места – мне было всё видно и слышно. По всей дороге, там, где останавливался наш поезд, если не в поле, можно было купить топлёное молоко, лепёшки, варёную картошку, яйца. Я или слезала за этим сама, или просила кого-нибудь купить, а потом делилась. Денег на еду не жалела, и не прошло и одной недели, как я просто почувствовала, что уже окрепла и набралась новых сил. Была я только всё время грязной, так как мыть лицо в пристанционных лужах я брезговала, а бегать на станцию очень боялась, чтобы не отстать от поезда. Только перед Барабинскими озёрами мы остановились недалеко от Новосибирского вокзала. По радио передали, что эше-

лон будет стоять около часа, и я отважилась вымыться у крана, а затем даже послать в Москву телеграмму (на имя сестры) о моем близком приезде.

Там же, разгуливая по запасным путям вдоль поезда, я неожиданно натолкнулась на Валерика. Бросилась к нему, обняла, расцеловала. Он уже сильно вырос, повзрослел и потерял свою младенческую прелесть. Очень застеснялся моих объятий и побежал рассказывать матери о нашей встрече. Анастасия Николаевна оказалась в ближайшем вагоне, около неё вертелся уже ходячий и разговаривающий Сашка, а сама она была очень осунувшейся, тоже грязноватой и, к моему удивлению, сильно беременной. Вокруг стояли чемоданы, ящики, корзины. Оказывается, они тоже решили ехать куда-нибудь южнее, и теперь ехали до какого-то города, откуда шла ветка в Барнаул или ещё куда-то, откуда кто-то из них был родом. Удивила меня в этой встрече равнодушная приветливость Анастасии Николаевны; не было у неё желания поддерживать со мной связь, чтобы не потерять друг друга, не могла она – или не хотела – дать мне какой-нибудь свой адрес. Пожаловалась на мужа – беспечен, пьёт, изменяет, и вот «опять потолстела», сказала она, смущённо похлопав себя по животу. Чувствовалось, что она на всё махнула рукой и поплыла по течению – как река вынесет! Моя радость встречи с Валериком всё таяла и таяла. Подивилась, как легко люди всё забывают, и дала адрес сестры просто из-за какой-то учтивости. Адрес был записан на первом попавшемся клочке и наверно тут же потерян. Сергея не было. Он пошёл узнавать, где надо пересаживаться и на какой поезд, а она его ждала, не смея отойти и оставить без призора все вещи.

Потопталась немного около неё, и мне пришло в голову, что, возможно, она чувствует, что мы уже на равной ноге, а может быть, она даже позавидовала, что вот я еду в столицу, где у меня кто-то есть (об Алексеевке я никогда никому не говорила). А она снова едет в захолустье, где снова будет трудно налаживать новую жизнь, да ещё с тремя детьми, при беззаботном, непутёвом муже.

Когда объявили посадку, я побежала отыскивать свой вагон, в последний раз любовно оглядев Валерика, зная, что больше мы никогда не увидимся. Лагерь выработал у меня иммунитет к разлукам.

Наши пассажиры начали понемногу сходить – появлялись новые. До Москвы ехали мои инвалиды, ещё человека три-четыре с противоположных нар и я с моим чукотским соседом. Помню, что уже за Омском, на какой-то стоянке к нам в вагон снова забарабанили, и молодые мужские голоса запросились в вагон. Староста открыл дверь. На насыпи стояли три молодых солдата в обтрёпанных шинелях, небритые, с маленькими чемоданами в руках. «Пустите нас, демобилизованные, – на родину пробираемся!» Общее мнение было, конечно, пустить. Снова потеснились и с жадностью бросились расспрашивать.

Были эти солдатики в чём-то сродни Василию Тёркину, которого я тогда, конечно, не знала. Прошли они всю боевую дорогу до Берлина и не скупились на впечатления. Рассказывали и о немцах, и об их блиндажах, и о том, как их встречали, и какие между ними были скареды, что спички давали только взаймы, и пр. Мы слушали, ахали, сочувствовали, возмущались, и не прошло и суток, как староста попросил себя сменить и выбрать одного из солдатиков. Предложение было принято единогласно, и тут наши солдатики показали всё бескорыстие и щедрость русской души. Не знаю, где они добыли чистое ведро и как им удалось у одной из наших пассажирок вымолить бидон, заставив все вещи переложить в узел! Теперь, как только останавливался поезд, они брали ведро, бидон и бежали в военную комендатуру отоваривать свои военные продуктовые карточки. Один бежал с карточками к коменданту, второй – на военную кухню, третий держал связь. Делали они это так легко и весело, так ловко всегда умудрялись подать иногда уже в двигающийся вагон горячие щи и кашу, с такой сноровкой карабкались по поручням сами, причём иногда один карабкался, а другие висели, раскачиваясь, чтобы потом в освободившееся пространство двери закинуть свои

тела, – так были счастливы своей молодостью, концом войны и тем, что остались живы, и вот, едут домой, – что эта радость и полнота жизни передавалась и нам. Затем солдатики наливали щи во что могли тем, кто не мог подняться, накладывали кашу в кружки, на куски фанеры, просто в ладони. «Ты чего, мамаша, стесняешься? Давай, давай, налетай! А ты, браток, что солдатскими щами брезгуешь? А ты, девушка, чего ждёшь? Не во что? Давай сюда косынку, жених новую купит!..»

Так легко и весело делился солдатский паек на всех, а когда не хватало, солдаты соблюдали справедливость: «Ну, теперь, папаша, с тебя начнём, другие подождут – с Омска ведь суп не ел!»

Не прошло и нескольких дней, как мы все полюбили наших отвоевавшихся героев. А однажды, уже где-то под Петропавловском, попросилась к нам мать с тремя детьми. Фашисты сожгли и уничтожили их деревню, муж женщины пропал без вести, и она, отчаявшись, поехала по белу свету искать пристанища. Поехала искать приюта у родственников мужа где-то в Казахстане, а там никого не оказалось – кто был убит, а кто умер. Тогда она, уже в тупом отчаянии, прося подаяние, где ехала, где шла и дошла до нашей магистрали. На женщину было страшно смотреть, дети были в каких-то лохмотьях. На лицах застыла жалкая просящая улыбка.

Наши демобилизованные мигом втянули всех трёх детей, помогли вскарабкаться матери. Принесли в котелке воду из ближайшей канавы, вымыли детские лица, утерев их своими грязными платками. Усадили на скамейке в центре и даже нашли пёстрые коробочки детям. Теперь добывание пайкового обеда и выпрашивание на кухнях добавки – «Уж очень отощали, ведь с Берлина едем!» – стало занимать их помыслы уже с утра. Сверялись с моей картой и высчитывали, где, по их расчётам, может быть военная кухня и остановится ли там наш «весёлый».

За те несколько дней, что семья ехала с нами, дети заметно отъелись и окрепли. Повеселела и женщина, без конца возвращаясь в своих воспоминаниях, как ворвались фашисты и сожгли всю деревню и как их

прятали партизаны. И хотя с тех пор прошли уже годы, ей всё это казалось только что случившимся, во сне она кричала и вскакивала. Когда, наконец, мы подъехали к какому-то городу, где семье надо было пересесть на другой поезд, женщина со слезами на глазах со всеми простилась, всем желала счастливого возвращения. Потом помогли ей слезть, высадили детей, а она их всех подобрала, поставила на колени возле насыпи, встала на колени рядом и, кланяясь и крестясь, говорила:

– Кланяйтесь все, смотрите, вот наши спасители, на всю жизнь запомните, что эти вот трое нас от голода спасли, снова верить в хороших людей заставили! Спаси вас Христос, сынки мои дорогие, спасибо вам всем, спасибо!

Когда поезд тронулся, мы долго смотрели назад. Женщина не вставала с колен, всё кланялась и крестилась, а к ней притулились три детские фигурки. Все в вагоне молчали. Кто откровенно плакал, утирая слёзы, кто крепился, сморкался...

Чем ближе мы подвигались к Москве, тем больше я волновалась, думала, боялась, надеялась. Возле Урала послала вторую телеграмму (оказалось: видя, что мы с эшелона и очень торопимся, квитанции не «успевали» выписать и просто брали деньги себе). Какой сейчас Серёжа? Встретит ли? Что будет дальше? Всё это так волновало, что я перестала спать, нервничала ужасно. Конечно, как я могла знать, что Серёжа, дождавшись моего освобождения, считая, что всякое тяжёлое сообщение легче перенести на свободе, а не в заключении, написал мне в Магадан длинное, подробное письмо о своей не менее трудной судьбе, о том, что он женат и имеет маленького ребёнка, – но другом будет пожизненно. Письмо это получил Шкодин и ринулся за мной в Москву. А пока я ехала, перебирала в уме все его скупые, сдержанные слова редких писем, стараясь прочитать ответ на все мои мысли. Предполагала, конечно, что у него кто-то есть, а дальше запрещала себе думать.

Видя моё мученье, пассажиры вагона, конечно, без труда выведали его причину. Мои переживания стали

тревожить всех. Мнения разделились. «Не может молодой мужчина свою жену девять лет ждать!» – категорически говорили одни. «Конечно, может, что и было, но дождётся хороший человек свою жёнку после того, что она невинная выстрадала», – утверждали другие. Сквозь дремоту слышала, как то один то другой снова касался темы верности и любви: «...а вот был у нас такой случай...» и т. д. А страх всё возрастал, я уже перестала не только спать, но и есть. Спасал только чудный чистый весенний воздух, который лился из окошечка прямо на мою голову, да ещё радостно возрождающаяся природа...

Удалось мне на какой-то станции сбегать вымыться. В вагоне вытащила из своего чемоданчика чудом уцелевшую ещё московскую юбку, свитер. Переоделась, причесалась. Внимательно изучила себя в зеркальце. Очень поправилась, даже помолодела. Месяц свежего воздуха, лежание и литры выпитого молока сделали своё дело. Волосы отросли до плеч, вились, седых волос не было.

Начиная с Александрова, уже не отрывалась от окна; чем ближе, тем более знакомые станции. В самой Москве все пути были заняты. Нас остановили на запасных путях Лосиноостровской.

Выглянула из окна, окинула взглядом платформу, и вдруг тут, рядом, под вагоном – Серёжа!

Захватило дыхание, всю пронзило острой волной радости и страха. Наконец вырвалось:

– Серёжа, я тут!

Все в вагоне повскакивали с мест, кто-то жал руку, кто-то обнимал, стащили сверху мой чемодан, налаживали лесенку – всё это я просто не понимала, не видела.

Серёжа помог вылезти, поставил чемодан у своих ног и повернулся ко мне. Какое-то мгновенье стояли друг перед другом, такие безумно близкие и вместе с тем новые и незнакомые. Неловко обнялись под восторженными взглядами всех из вагона.

– Что я говорил! – кричал мой чукотский. – Эх, – обратился к Серёже, – правильный ты, браток, человек, золотой парень...

– Дай вам Бог счастья! – кричали другие.

– Держитесь теперь вместе! – третьи, а четвёртые просто плакали и твердили: – Встретил, не забыл, как хорошо, как хорошо-то!

Всем помахала рукой и пошла рядом с ним на электропоезд, боясь взглянуть и слушая, как он с утра караулил продвижение нашего эшелона и, узнав, что пути забиты и нас задержали на Лосиноостровской, бросился сюда, а вагон узнал по моим волосам, свесившимся из окна...[*]

<1960-е – начало 1970-х>

* Воспоминания «Рядом с Алей» начинаются с истории возвращения автора с Колымы, и в описании деталей имеются некоторые расхождения с настоящим текстом.

Краткие сведения о некоторых упомянутых лицах

Артоболевский Иван Алексеевич – о. Иоанн Артоболевский (1872–1938), протоиерей, священномученик. Арестовывался несколько раз (1928, 1933, 1938). Расстрелян 17.02.1938 на Бутовском полигоне.

Артоболевский Сергей Иванович (1903–1961) – доктор технических наук, профессор, известный учёный в области теории машин и автоматов, заведующий кафедрой основ конструирования машин энергомашиностроительного факультета Московского энергетического института (1939–1958). Сын И.А. Артоболевского.

Бассехес Каролла Иосифовна (1899–?), домохозяйка из Москвы. Арестована (повторно?) 18.10.1948, приговорена к ссылке. (Книга памяти Владимирской обл.) – возможно, упомянута она.

Беленький Александр Григорьевич (1915, Кирсанов – ?) зубной техник, житель АССР Немцев Поволжья, г. Бальцер. Арестован 22.03.1937. Осуждён 27.08.1937 Особым совещанием при НКВД СССР на 5 лет. Реабилитирован в 1956. (Материалы к Книге памяти Саратовской обл.) – вероятно, упомянут он.

Братковский – один из псевдонимов Ежи Чешейко-Сохацкого (1892–1933). В 1930–1932 представитель польской компартии в Коминтерне. В СССР жил под фамилией Братковский. 13.08.1933 был арестован. Не подписал никаких протоколов. 4 сентября во внутренней тюрьме на Лубянке покончил самоубийством, в кармане его пиджака нашли написанную кровью предсмертную записку, в которой он отвергал предъявленные ему обвинения.

Гинзбург Евгения Семеновна (1904–1977), журналистка, мемуаристка, автор книги «Крутой маршрут». Арестована в 1937, провела 10 лет в тюрьмах и колымских лагерях и 8 лет в ссылке. Её сын, писатель Василий Аксёнов (1932–2009), после 1980 проживал за границей.

Годзелик Яков Иванович (1910, Луганская обл. – ?). Обвинён по национальному признаку. Реабилитирован 06.17.1992. (Сведения УВД Магаданской обл.)

Жуковская Ольга Тихоновна (1910–?). Родилась в Польше, с. Дерман Волынской губ., украинка, беспартийная, образование высшее, из священнослужителей. Проживала в Челябинске, работала в поликлинике ЮУЖД, диспансер ЧТЗ, врач. Арестована 08.10.1937, осуждена 28.04.1938 по ст. 58-12 Особым совещанием при УНКВД СССР по Челябинской области на 10 лет ИТЛ. Реабилитирована 10.10.1955. (Данные Книги памяти Челябинский обл.) – возможно, упомянута она.

Иммерман Генриетта Германовна (1906–1982). Японовед-филолог, переводчик. Родилась в Херсоне. В 1937 был арестован её муж, работавший на Ленфильме. Арестована 11.03.1938; обвинена по ст. 58-1а УК РСФСР (якобы вместе с японцем, при котором состояла переводчиком, намеревалась взорвать Кировский мост). Особым совещанием при НКВД СССР осуждена 8.05.1938 на 10 лет ИТЛ. Отбывала срок под Магаданом, работала на лесоповале, нянечкой в детском саду при лагере. Мать и дочь были расстреляны в Харькове немцами; известие об этом лагерное начальство скрывало от неё в течение 2 лет. Освобождена из Магаданского ИТЛ на Колыме 11.03.1948. До 16.04.1955 оставалась на спецпоселении в пос. Адыгалах Хабаровского края. По освобождении жила в Ленинграде, занималась переводами с японского. (Биобиблиографический словарь востоковедов – жертв политического террора в советский период.)

Иоффе Ирина Львовна (псевд. И. Львова; 1915–1989) – японовед-филолог, переводчик. Родилась в Екатеринославе. На 5-м курсе филфака ЛГУ 11.03.1938 была арестована и обвинена по ст. 58-1а УК. (Высказывание в аудитории или донос.) Приговорена Особым совещанием при НКВД 8.05.1938 к 10 годам ИТЛ, отбывала срок на Колыме. По ходатайству дяди, акад. А. Ф. Иоффе, 23.01.1942 была освобождена. Жила в Москве. (Биобиблиографический словарь востоковедов – жертв политического террора в советский период.)

Коккинаки Григорий Георгиевич (1888–1938). Родился в Одессе в семье греков, уроженцев о. Хиос. Адвокат, член коллегии адвокатов. Арестован 31.12.1937. «В 1925 году он влюбился в замужнюю женщину, муж которой был сотрудником английского посольства. Ради встреч с любимой Григорий организовал у себя на квартире кружок по изучению западных танцев, куда приглашал друзей. Через полгода, в 1926 году, англичанин уехал вместе с женой на родину, а чекисты допросили всех участников кружка о связях с иностранцем. Допросили – и отпустили. Но через 11 лет, в новогоднюю ночь 31 декабря 1937 года, Григория Георгиевича арестовали. При аресте присутствовали мать, жена, дети и родственник Григория – Владимир Коккинаки, лётчик, будущий дважды Герой СССР. <...> На первых допросах Григорий категорически отверг предъявленное обвинение в шпионаже в пользу Англии, но после избиений подписал протокол, в котором было записано, что он передавал «какие-то» сведения англичанину» (из «Слова о Г. Г. Коккинаки» А. Сорокина на открытии памятных табличек на д. 29 по Гоголевскому бульвару). Расстрелян 08.03.1938 на Бутовском полигоне. Реабилитирован в 1957. (Данные сайта Греческого культурного центра.)

Луговская Нина Сергеевна (1918–1993) – живописец, театральный художник. Отец, С. Ф. Рыбин, вместе с женой решил взять общую фамилию Луговские в честь Луговской слободы в Тульской губернии; арестовывался несколько раз. Его жена Любовь Васильевна и три дочери, близнецы Евгения и Ольга (р. 1915) и Нина в марте-апреле 1937 были арестованы и 20.06.1937 приговорены к 5 годам лагерей.

Основанием для обвинения Нины послужил дневник, который она вела в 1932–1937. (Публикации: Хочу жить... Из дневника школьницы: 1932–1937. М., 2003, 2004, 2010.)

Сухацкие Матрёна Тимофеевна (1896–?) и *Марфа Тимофеевна* (1904–?). Родились в г. Ананьеве Херсонской губ. Осуждены 15.09.1937 на 10 лет ИТЛ. (Сведения Одесского академического центра. Украина.)

Тоцкий Николай Максимович (1891–1938) – уроженец г. Лебедина Харьковской губ. Русский, беспартийный. Академия наук, научный работник. Арестован 15.02.1938, обвинялся в шпионаже в пользу Англии. Расстрелян 4.06.1938 на Бутовском полигоне. Реабилитирован. (Москва. Расстрельные списки. Бутовский полигон.)

Федерольф Владимир Александрович (1893, Польша, Калиш – 1938) – немец, образование высшее, беспартийный, преподаватель кафедры тактики Академии механизации и моторизации РККА, полковник. Арестован 24.01.1938, осужден 20.06.1938 Военной коллегией Верховного суда СССР. Обвинялся в участии в военно-фашистском заговоре. Расстрелян в тот же день. Реабилитирован в декабре 1956. (Москва. Расстрельные списки. Коммунарка.)

Цимхес Эсфирь Моисеевна. Вторая жена Сергея Корнильевича Судьина (1894–1938, расстрелян), замнаркома внешней торговли. Они жили в Доме правительства (ул. Серафимовича, 2). Работала в Наркомпросе. Была арестована в декабре 1937 и провела в лагерях на Колыме в общей сложности 15 лет – с 1938 по 1953. Двоих детей – дочь Наташу и сына Игоря – удалось забрать родственникам, и они не попали в детский дом. В 1941 семилетний Игорь с детским садом был эвакуирован в Краснодарский край, и там по доносу воспитательницы его как сына еврейки и коммуниста забрали немцы. Известно, что жизнь его закончилась в душегубке. (Данные сайта Последний адрес.)

Черевкова Лидия Гервасиевна (1897–?). Чтец художественной литературы, Библиотека им. К.Маркса. Проживала: ул. Усачева, 19-а, кв. 39. (Газета «Московская правда».) По данным Книги памяти Владимирской обл.: родилась в 1897, г. Бендин, Польша, артистка. Проживала: г. Александров. Арестована 8.03.1951. Приговор: 10 лет ссылки. Очевидно, что после ареста в Москве отбывала срок на Колыме, по возвращении жила в Александрове и была повторно арестована.

Чунчул Нина Александровна (1907–?). Уроженка и жительница г. Красноярска. Из служащих. Бухгалтер на Красноярском ПВРЗ. Арестована 27.02.1938. Обвинение в антисоветской агитации. Осуждена 15.05.1938 Комиссией НКВД и прокурором СССР на 10 лет ИТЛ. Реабилитирована 28.11.1958. (Книга памяти жертв политических репрессий Красноярского края. Т. 9.) – возможно, упомянута она.

Оглавление

В оформлении обложки
использован рисунок Г. К. Вагнера
«Феликс Дзержинский» в Охотском море»
из собрания Международного Мемориала

Федерольф Ада Александровна
КОЛЫМА. ПЕРВЫЙ РЕЙС. 1938–1947

Подготовка текста *А. Г. Мордвинцева* и *М. М. Уразовой*
Редактор *М. М. Уразова*
Художник *Р. М. Сайфулин*
Верстка *А. Г. Мордвинцева*

Подписано в печать 05.04. 2018
Формат 60х90/16. Усл. печ. л. 19,5. Заказ 3205

Издательство «Возвращение»
123060 Москва, ул. Маршала Бирюзова, 34, кв. 58
E-mail: vozvrashchenie@bk.ru

Отпечатано в типографии: Чеховский печатный двор
Московская обл., Чехов, ул. Полиграфистов, д. 1
Телефон: +7(495) 9886341. Сайт: www.chpd.ru

